

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Себе Толстому

4

4



Л.Н. ТОЛСТОЙ

Брюссель. Фотография И. Жерюзе
1861 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«НАУКА»
2001

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Том четвертый

1853 – 1863

МОСКВА
«НАУКА»
2001

УДК 82
ББК 84
Т 53

Редакционная коллегия:

Г.Я. ГАЛАГАН,
Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ (главный редактор),
Ф.Ф. КУЗНЕЦОВ, К.Н. ЛОМУНОВ, П.В. ПАЛИЕВСКИЙ,
А.М. ПАНЧЕНКО, С.М. ТОЛСТАЯ, В.И. ТОЛСТОЙ

Тексты и комментарии подготовили:

И.П. ВИДУЭЦКАЯ, Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ,
Т.Ю. ПЛАСТОВА, М.А. СОКОЛОВА

Редактор тома

Г.Я. ГАЛАГАН

Четвертый том выпускается при финансовой поддержке
ректора Университета Сёва-Дзёси
(председатель Японского толстовского общества)

КУСУО ХИТОМИ

Подписное

ISBN 5-02-011823-0
ISBN 5-02-022631-9 (т. 4)

- © Российская академия наук,
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького, составление,
подготовка текстов, комментарии,
2001
- © Российская академия наук
и издательство “Наука”, Полное
(академическое) собрание сочинений
Л.Н. Толстого в 100 томах,
оформление, 2001

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1853—1863

КАЗАКИ

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ

1852 года

I

Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церковей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съжившись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней.— И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы вы-

разить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любитя. Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидел, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. — Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не

бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да, — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйте, свечи тушить приказано, — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. — Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной, — сказал высокий. — Сколько?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновенье, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. — Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо, — сказал высокий, надевая перчатки. — Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедем», — и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжамы. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин, — сказал один из провожавших. — Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащила из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез...

II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» — твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю», — и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* — когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его

душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чувствовать приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке,— на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность,— не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишённые этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то,— что все

прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наврное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Олениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустил на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» — думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я еще не любил в самом деле? — представился ему вопрос.— Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: *не то, не то*, и точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит? не вяжет меня по рукам и по ногам? — думал он.— Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне, и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» — приходит ему в голову. Но кто это они? — он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублями, которые он остался должен портному,— и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, Боже мой, Боже мой!» — повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную

мысль. «Однако она меня, несмотря на то, любила,— думает он о девушке, про которую шла речь при прощанье.— Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье»,— вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б***, флигель-адъютант, и князь Д***, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа,— подумал он,— и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что несколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей-управляющий очень был бы озадачен, что я на ты с таким господином, как Сашка Б***, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек»,— думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится,— где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка,— и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось $\frac{7}{11}$ всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на $\frac{1}{8}$ всего состояния,— и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростью и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчислен-

ное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б*** тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повториться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длиною косою и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога она, дожидаящаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris»¹, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» — говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезть из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет, — говорит он сам себе. — Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня как, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое — те же станции, те же чай, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

¹ «Собор Парижской богородицы» (фр.)

III

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество,— приходило ему иногда в голову.— А эти люди, которых я здесь вижу,— *не люди*; никто из них меня не знает и никто, никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжего,— больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых»,— и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и сверх того красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческого, который был весь бесознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна — неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавнее случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» — говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которой ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил,— и он перестал дожидаться гор. Но

на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы,— отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю,— сказал Ванюша,— вот хорошо-то ! Дома не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось»,— как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекон виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...

IV

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подростка. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды,

на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину ббльшая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков¹, зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженной в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, степи, идущей далеко на север и сливающейся Бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Терек — Большая Чечня, Кочкальковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Терек, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляют главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Луч-

¹ волков (Прим. Л. Н. Толстого.)

шее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила — праздник, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чукьяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы истари славилась своею красотой по всему Кавказу. Средства

жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, — река; с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьями. Все ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородами, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором

до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник, шутя, кричит: «Выше подними, срамница»,— и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в *сапетке*¹ еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча, проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка,— кричит мать,— чувяки-то² все истоптала». Марьяна несколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти

¹ наметке (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Чувяки — обувь. (Прим. Л. Н. Толстого.)

слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаша и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клетки ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку*¹ и обе несут два большие горшка молока — подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда слышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

— Что, бабука, убрались? — говорит она.

— Девка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет,— говорит хорунжиха.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают,— говорит пришедшая, несмотря на то что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

— Ну и слава Богу,— говорит хорунжиха.— Урван — одно слово.

¹ Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю Бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют,— говорит Лукашкина мать,— только бы женил его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станице? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много,— замечает Лукашкина мать и качает головой,— твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет,— говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем,— говорит Лукашкина мать.— Илье Васильевичу кланяться придем.

— Что Иляс! — гордо говорит хорунжиха,— со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: — Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо,— прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Крала девка, работница девка,— думает она, глядя на красавицу.— Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка *Урван*, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он, щурясь, поглядывал то на даль за Терекком, то вниз на товарищей-каза-

ков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливой отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издалика видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*¹ с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал*² от полкового командира казак с *цидулкой*³, в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность,— на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете, сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватою черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубаше, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразно бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы,

¹ Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Прибегал — значит на казачьем наречье — приезжал верхом. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. Л. Н. Толстого.)

часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был *сбран* в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою шеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращая ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть,— сказал Лукашка, посмеиваясь,— то-то бы переполошились!

— Не донесет.

— Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу! ¹пить,—сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбежал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подо-

¹ Татарское пиво из пшена. (Прим. Л. Н. Толстого.)

ткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи *поршни*¹ и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо *кобылку*² и мешок с курочкой и кобчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким залившимся басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинттой*, приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

— Что видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб во тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется,— сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

— Ну ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*³,— подтвердил Назарка, посмеиваясь. Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть*. *Посижу*,— отозвался старик, к великому удовольствию всех казаков.— А свиной видали?

— Легко ли! Свиной смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину.— Тут абреков ловить, а не свиной, надо. Ты ничего не слышал, дядя, а? — прибавил он, без причины шурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик.— Не, не слышал. А что, чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси,— прибавил он.

¹ Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Посидеть — значит караулить зверя. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Ты что ж, *посидеть*, что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел ночью *посидеть*, — отвечал дядя Ерошка, — може, к празднику и даст Бог, *замордую* что; тогда и тебе дам, право!

— Дядя! Ау! Дядя! — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. — Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намедни наш казак одного стрелил. Правду говорю, — прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка Урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху. — Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький, видно, — сказал Лукашка. — У самой у канавы, дядя, — прибавил он серьезно, встряхивая головой. — Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет*...¹ Да я тебе покажу, дядя, кое место; недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, — пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказа, стал сходить с вышки.

— Сходи! — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. — Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то ловок стал Лукашка твой, — прибавил урядник, обращаясь к старику. — Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу кобчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

— Гей, Лука! — послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки. — Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

— О! — сказал Лукашка, замолкая. — Где петуха-то взял? Должно, мой пружок...²

¹ Лопнет — выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Силки, которые ставят для ловли фазанов. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

— Не знаю чей. Должно, твоя.

— За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

— Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

— Что ж, сами съедим али уряднику отдать?

— Будет с него.

— Боюсь я их резать,— сказал Назарка.

— Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

— Вот так-то делай! — проговорил Лукашка, бросая петуха.— Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

— А слышь, Лука, опять нас в *секрет* пошлет черт-то,— прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника.— Фомушкина за чихирем уснул, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел к кордону.

— Захвати бечевку-то! — крикнул он.

Назарка повиновался.

— Я ему нынче скажу, право, скажу,— продолжал Назарка.— Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

— Во нашел о чем толковать! — сказал Лукашка, видимо думая о другом,— дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты!..

— А в станицу придешь?

— На праздник пойду.

— Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет,— вдруг сказал Назарка.

— А черт с ней! — отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь.— Разве я другой не найду.

— Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел под окно; слышит, она и говорит: «Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «Славно».

— Врешь!

— Право, ей-богу.

Лукашка помолчал.

— А другого нашла, черт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

— Вот ты черт какой! — сказал Назарка.— Ты бы к Марьянке хорунжиной подьехал. Что она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

— Что Марьянка! все одно! — сказал он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.— То-то шомпол будет,— сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о чередѣ в *секрет*.

— Кому ж нынче идти? — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

— Да кому идти? — отозвался урядник.— Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил,— сказал он не совсем уверенно.— Идите вы, что ли? Ты да Назар,— обратился он к Луке,— да Ергушов пойдет; авось проспался.

— Ты-то не просыпаешься, так ему как же! — сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

— Да скорей идите; поужинайте и идите,— сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков.— Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

— Что ж, идти надо,— говорил Ергушов,— порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

— Ну, ребята,— загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса,— вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиной сидеть буду.

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

— Здесь, что ль, сидеть? — сказал Назарка.

— А то чего ж! — сказал Лукашка, — садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

— Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно, — сказал Ергушов, — тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

— Вот тут недалече, дядя, — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика, — я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

— Укажь; ты молодец, Урван, — также шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.

— Вот где пить прошли, видишь, что ль? — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

— Спаси тебя Христос, — отвечал старик, — *карга* за канавой, в *котлубани*¹ будет, — прибавил он. — Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево — на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», — подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глянцевиной поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить: кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее, — сказал он. — Проводил?

— Указал, — отвечал Лукашка, расстилая бурку. — А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

¹ Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул,— сказал Ергушов, завертываясь в бурку.— Я теперь засну,— прибавил он,— ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу; так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу,— ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и ббольшая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями деревьев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевиная движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча — все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки шуршанья камышин, храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую голову казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла ббольшая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его

душенька, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить»,— подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убую!» — подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану»,— думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» — подумал он, и вот, при слабом свете месяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек»,— подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: «Отцу и Сыну»,— пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, черт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука.— Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка,— кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей карчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не сказываешь? — повторяли казаки.

— Абреки! сказывают тебе, — повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?..

— Абрека убил! Вот что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. — Человек плыл... — сказал он, указывая на отмель. — Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то, — повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот, гляди! Гляди сюда, — сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменял тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю, — сказал он тихо и стал осматривать ружье. — Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов, — сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! Ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи: убьют, верно говорю.

— Так я один и пошел! Ступай сам, — сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

— Не лаяй, говорят, — проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. — Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар; эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лука, а Лука! — говорил Назарка, — да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

— Я говорю, уйдут, — сказал Ергушов, поднимаясь, — ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лука, не шелохнись, — проговорил Ергушов, — а то може здесь срежут тебя. Ты смотри не зевай, я говорю.

— Иди, знаю, — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слышать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с уби-

тым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

IX

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг не-вдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и Сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

— Гей, казаки! Дядю не убей,— послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

— Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! — сказал Лукашка.

— Что стрелил? — спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

— Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя,— сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белев-шуюся спину, около которой рябил Терек.

— С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ка сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? — говорил Лука.

— Чего не видать! — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика.— Джигита убил,— сказал он как будто с сожалением.

— Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под ней голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услышал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. «Отцу и Сыну и Святому Духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава Тебе, Господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик.— Далече, брат, теперь... — И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные

казаки с громким говором и треском сучьев слышались по берегу.

— Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука.

— Молодец, Лука! Тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведет, — кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, — прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытасченное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

— Да и желтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкой должно, вперед всех выискался. Самый, видно, джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. — Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, — сказал кто-то.

— Слышь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. — Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три монета дам. Вишь, оно и с свещом, — прибавил он, пуская дух в дуло, — так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, черт какой! — сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун, — хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

— Годится за дровами ходить, — сказал другой казак.

— Мосев! я домой схожу, — сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята,— обратился урядник к казакам, все осматривая ружье.— Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може, из гор выкупать будут.

— Еще не жарко,— сказал кто-то.

— А чакалка изорвет! Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли повет.

— Ну, Лукашка, как хочешь: ведро ребятам поставишь,— прибавил урядник весело.

— Уж как водится,— подхватили казаки.— Вишь, счастье Бог дал: ничего не видавши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой,— говорил Лука.— Мне не налезут: поджарый черт был.

Один казак купил зипун за *монет*. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю,— сказал Лука,— сам из станицы привезу.

— А портки девкам на платки изрежь,— сказал Назарка.

Казаки загрохотали.

— Будет вам смеяться,— повторил урядник,— оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

— Что стали? Тащи его сюда, ребята! — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протасив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого.

— Вишь, заметку какую сделал! в самые мозги! — проговорил он,— не пропадет, хозяйева узнают.

Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку; в проснувшемся лесу, встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело, в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежесбрита круглая голова с запекшеюся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклообразно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх — казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в края и выставляв-

шихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался, он был мокрым, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

— Тоже человек был! — проговорил он, видимо любясь мертвецом.

— Да, попался бы ему, спуска бы не дал, — отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не сказывай смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.

— А я к Ямке зайду — погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не нынче, — отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

Х

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фронт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут был и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие эти казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площади и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по двое, по трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с тру-

бочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело, после пятичасового перехода, въезжал на двор отведенной квартиры.

— А что, Иван Васильич? — спросил он, поддабривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и борода. Вместо истасканного ночью жизнью желтоватого лица — на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канаусового бешмета стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно, — сказал Ванюша, — а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься. — Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. — Не русские какие-то.

— Да ты бы станичного начальника спросил.

— Да ведь я их местоположения не знаю, — обиженно отвечал Ванюша.

— Кто ж тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Черт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то кригу¹, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси Господи!

¹ Кригой называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— отвечал Ванюша, хватаясь за голову.— Как тут жить будем, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. «На кригу пошел!» Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что, не так, как у нас на дворе? — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте,— сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? А, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно! — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильич,— отвечал Оленин, продолжая улыбаться.— Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри — все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищулив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубаше, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидал в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначавшиеся под тонкою ситцевою рубашкой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она!» — подумал Оленин. «Да еще много таких будет»,— вслед за тем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубаше, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел... — начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

— Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру; но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленное твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!..— пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин.— Татарин благороднее»,— и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время как он выходил, Марьяна, как была, в одной розовой рубашке, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть, она»,— подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая,— сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся,— ровно кобылка табунная! *Лафам!*¹ — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

XI

Вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три *монета* в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходящего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не пригоняли, и народ еще не возвращался с работ.

¹ Женщина! (от фр. la femme)

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Тереком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы,— в Чечне или на кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были Бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! Дядя Ерошка сучку поцеловал! — закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку.— Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы.— Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему.— Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек,— сказал он, приподнимая над коротко обстриженной головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек,— отвечал Оленин.— Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну.

— А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей,— сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди.— Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал,— отвечал старик, поворачивая к окну свою ширококую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки.— Али ты не видывал? — спросил он.— Коли хочешь, возьми себе парочку. На! — И он подал в окно двух фазанов.— А что, ты охотник? — спросил он.

— Охотник. Я в походе сам убил четырех.

— Четырех? Много! — насмешливо сказал старик.— А пьяница ты? Чихирь пьешь?

— Отчего ж? и выпить люблю.

— Э, да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем,— сказал дядя Ерощка.

— Заходи,— сказал Оленин.— Вот и чихирю выпьем.

— И то зайти,— сказал старик.— Фазанов-то возьми.

По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерощки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистой бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топя, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерощка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

— *Кошкильды!* — сказал он.— Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

— *Кошкильды!* Я знаю,— отвечал Оленин, подавая ему руку.

— Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерощка, укоризненно качая головой.— Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи *алла рази бо сун*, спаси Бог. Так-то, отец мой, а не *кошкильды*. Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек. Я шутник! — И старик засмеялся.— Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо*, по-грузински. А я так говорю; поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю*. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднести. Солдат, драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик.— Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то Иван. Ванюша! Возьми, пожалуйста, у хозяев чихиря и принеси сюда.

— Все одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Ивановы? Иван! — повторил старик.— Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху смотри не давай; а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ,— продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел,— они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему, хошь ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

XII

Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезненькие,— сказал он, решившись быть особенно кротким.— Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные,— сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными.— Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше,— прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им,— сказала бабука Улита, обращаясь к дочери.— Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой,— проговорил он и высунулся в окно.— Кхм! Кхм! — закашлял и замычал он.— Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник,— прибавил он шепотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватую, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерощка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина.— Я молодец, я шутник,— прибавил он.— Королева девка? А?

— Красавица,— сказал Оленин.— Позови ее сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик.— Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь,— сказал Оленин,— ведь это грех!

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик.— На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Все Он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и подпернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «*Ла филь ком се тре бье!* для разнообразия,— думал он,— скажу теперь барину».

— Что зазастил-то, черт! — вдруг крикнула девка.— Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

¹ Эта девушка очень хороша (искаж. фр.)

— Мамуке деньги отдай,— сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые,— убедительно отвечал Ванюша.— Мы такие добрые, что, где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

— А что, он женатый, твой пан-то? — спросила она.

— Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут,— поучительно возразил Ванюша.

— Легко ли! Какой буйвол разьелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит — еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала — большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает,— гордо объяснил Ванюша.— Мы не такие, как другие армейские — голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

— Иди, запру,— прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули*¹, и тотчас же с глупым хохотом ушел.

XIII

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы расспрашивали.

¹ девушка очень красивая (искаж. фр.)

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Баят, крест выйдет.

— Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

— То-то подлая душа, Мосев-то!

— Сказывали, пришел Лукашка-то,— сказала одна девка.

— У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

— Эко Урвану счастье! — сказал кто-то.— Прямо, что Урван! Да что! малый хорош! Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла. Вон они идут, никак,— продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице.— Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бок Назарку.

— Что, скурехи, песен не играете! — крикнул он на девок.— Я говорю, играйте на наше гулянье.

— Здорово дневали? Здорово дневали? — послышались приветствия.

— Что играть? разве праздник? — сказала баба.— Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку:

— Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

— Что, красавицы, заснули? — сказал Назарка.— Мы с кордона помолить¹ пришли. Вот Лукашку помолостили.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, шелкая семя, поплевывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

¹ Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья вообще; употребляется в смысле выпить. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра,— степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай Бог тебе интерес хороший,— сказал казак,— я рад, сейчас говорил.

— И я говорю,— подхватил пьяный Ергушов, смеясь.— Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата.— Водка хороша солдатская, люблю!

— Трех дьяволов к нам пригнали,— сказала одна из казачек.— Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка.

— Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чертов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить,— сказал Назарка, отставляя ногу, как Лукашка, и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему.

— Верно, говорю.

— Ну, смола,— запищала девка,— бабе скажу!

— Говори! — закричал он.— И впрямь Назарка правду баит; цидула была, ведь он грамотный. Верно.— И он принялся обнимать другую девку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь, запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

— Ну, смола, черт тебя принес с кордону! — проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху.— Пропал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.

— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завою!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? — говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал девку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

— Да им хорошо, как две хаты есть,— вмешалась за Марьяну старуха,— а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будем делать! — сказала она.— И каку черную немочь они тут работат будут!

— Сказывают, мост на Тереку строить будут,— сказала одна девка.

— А мне сказывали,— промолвил Назарка, подходя к Устеньке,— яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят.— И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку,— сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще,— кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задушит! — кричала она, смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

— Люди стоят, обойди,— проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

— Эки нарядные ребята! — сказал Назарка.— Ровно уставщики длиннополые,— и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

— А начальник у вас где стоит? — спросил он.

Марьяна подумала.

— В новую хату пустили,— сказала она.

— Что он, старый или молодой? — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

— А я разве спрашивала,— отвечала девка.— За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полную привезли.

И она опустила глаза.

— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.

— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

— До утра. Дай семечек,— прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

— Все не бери,— сказала она.

— Право, все о тебе скучился, ей-богу,— сказал сдержанно-спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не приду, сказано,— вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотел,— прошептал Лукашка,— ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А нянюка! Мамука ужинать зовет,— прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас приду,— отвечала девка,— ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет,— сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Ишь, хорунжиха! — думал он про Марьяну,— и не пошутит, черт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостинкой по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой,— сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо.

— Что я тебе сказать хотел... ей-богу!..— Голос его дрожал и прерывался.

— Каки разговоры нашел по ночам,— отвечала Марьяна.— Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к

казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок.

— Ну, что сказать хотел, полуночник? — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А черт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду — что хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай,— вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова,— отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака.— Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься,— сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка,— говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она.— Вон и то, кажись, постоялец наш, черт, по двору ходит.

«Хорунжиха,— думал себе Лукашка,— замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

XIV

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «Постоялец-то, черт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы стари-

ка, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без усталости. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку *Широкого*, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего *няню*¹ Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою *душеньку*, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

— Так-то, отец ты мой,— говорил он,— не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда², к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерошка. Кого девки любят? Все Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник; на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли); сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам, в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка, солдат — солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татаринком не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем скowo-

¹ Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном «няней» называется друг. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Шашки и кинжалы, дорожке всего ценные на Кавказе, называются по мастеру — Гурда. (Прим. Л. Н. Толстого.)

роды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь,— прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленной, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и все. (Старик засмеялся.) Отчаянный был!

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А Бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты еще молодец.

— Что же, благодарю Бога, я здоров, всем здоров; только баба, ведьма, испортила...

— Как?

— Да так испортила...

— Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин.

Ерошка, видимо, не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.

XV

— Так о чем бишь я говорил? — продолжал он, припоминая.— Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где — все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб,— все есть, благодарю Бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду,— уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик¹ сделаю и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагресишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело, на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаясь. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь — звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь — лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И все это я

¹ Лопазик называется место для сиденья на столбах или деревьях. (Прим. Л. Н. Толстого.)

знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его, или так только испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «Может, абрек какого казачонка глупого убил». Все это в голове у тебя ходит. А то раз сидел я на воде; смотрю — зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт: взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Все сидишь, думаешь. Да как слышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе; сидишь не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! Так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и Сыну...» — уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «Беда, мол, детки: человек сидит», — и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

— Как же это свинья поросяткам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь Божия. Эхма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерощка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шепот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской

голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак, в темной черкеске и белом *курпее* на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», — казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватили душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины — все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселую песнею, и изю всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется, дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян, — сказал он, вставая. — Завтра на охоту приходиться?

— Приходи.

— Смотри раньше вставать, а проспешь — штраф.

— Небось раньше тебя встану, — отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» — подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

XVI

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый мо-

лодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. *Простота* Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все *просты* и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной казаков заботливости о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ошипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадучке с грязною, вонючею водой, размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал кобчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

— *Уйде-ма, дядя?* (то есть: дома, дядя?) — послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

— *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! — закричал старик. — Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения. «Что ж? люди достаточные,— говорил он сам

себе.— Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз...»

— Здорово, Марка! Я тебе рад,— весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал *выходку*.— Ловко, что ль? — спросил он, блестя маленькими глазками. Лукашка чуть усмехнулся.— Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос,— проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянулся ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой.— Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

— Будь здоров! Отцу и Сыну! — сказал старик, с торжественностью принимая вино.— Чтобы тебе получить что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорюзлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня все есть, и закуска есть, благодарю Бога,— сказал он гордо.— Ну, что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо желая знать мнение старика.

— За ружьем не стой,— сказал старик,— ружья не дашь — награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку?¹ А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

— Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжии представлю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а, бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

— Эх! мы не тужили,— сказал старик,— когда дядя Ерошка в твои года был, он уж табуны у ногайцев воровал да за Терек перегонял. Бывало, важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

— Что же дешево отдавали? — сказал Лукашка.

¹ Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик. — Нельзя, на то воруюшь, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

— Да что говорить, дядя? — сказал Лукашка. — Не такие мы, видно, люди.

— Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! — отвечал старик, передразнивая молодого казака. — Не тот я был казак в твои годы.

— Да что же? — спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

— Дядя Ерошка *прост* был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, *пешкеш*, свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут да шелуху плюют, — презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

— Это я знаю, — сказал Лукашка. — Это так!

— Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

— Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Всё народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

— А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

— Что пустое говорить? — сказал Лука, — ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудро.

— Гирей-хану верить можно, его весь род — люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть, — молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она черт, черепаха-то.

— Как не знать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-

траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

— Да ты пытал, что ль, дядя?

— Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуйтя», как на коня садиться. Никто не убил.

— Какая такая «здравствуйтя», дядя?

— А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуйтя живучи в Сиони.

Се царь твой.

Мы сядем на кони.

Софоние вопие,

Захарие глаголе.

Отче Мандрыче

Человеко-веко-любче.

Веко-веко-любче,— повторил старик.— Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

— Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Может, так.

— Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав,— и старик сам засмеялся.— А ты в Ногаи, Лука, не ездил, вот что!

— А что?

— Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком, бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

— Совсе светло, дядя,— перебил он его.— Пора, заходи когда.

— Спаси Христос, а я к армейскому пойду, пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

XVII

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

— Что, Лукаша, нагулялся? — сказала мать тихо.— Где был ночь-то?

— В станице был, — неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Повыдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? — сказал он.

— Как же! Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

— Вот только уберусь, и идти надо,— отвечал Лукашка, увязывая порох.— А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки: жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

— Позови,— сказал Лукашка.— Да сало там у меня было, принеси сюда. Шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатках; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошо, хорошо! Молодец, Степка! — отвечал брат, кивая головой.— Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! — И, достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрее стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

— Я Улите говорила намеренно, что сватать пришлю,— сказала мать,— приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.

— Да что, матушка? Вино надо везть. Коня нужно.

— Повезу, когда время будет; бочки справлю,— сказала мать, видимо не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела.— Ты как пойдешь,— сказала старуха сыну,— так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в *саквы*¹ положить?

— Ладно,— отвечал Лукашка.— А коли из-за реки Гирей-хан придет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

— Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки все и гуляли, стало? — сказала старуха.— То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал. Вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка,— сказал он.

Мать до ворот провожала его.

— Ты бочонок с Назаркой пришли,— ребятам обещался; он зайдет,— сказал он матери, припирая за собой ворота.

— Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю,— отвечала старуха, подходя к забору.— Да слушай что,— прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

— Ты здесь погулял, ну, слава Богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и Бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить, и девку высватаю.

— Ладно, ладно! — отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

¹ Саквами называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка, с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе, отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом. — Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик. — Так-то у нас, добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса!

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на собаку. — Ружье-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Штраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?*¹ — говорил Ванюша, ухмыляясь.

— Ты не наш! не по-нашему лопочешь, черт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

— Для первого раза прощается, — шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

— Прощается для первого раза, — отвечал Ерошка, — а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафу. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

— Да хоть и застанешь, так он умней нас, — сказал Оленин, повторя слова старика, сказанные вечером, — его не обманешь.

— Да, ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет, — сказал Ерошка, глядевший в окно. — Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

— *Ларжан?*², — сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед за тем сам хорунжий, в новой черкеске с офицерскими погонами на плечах, в чищенных сапогах — редкость у казаков, — с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом.

¹ Хотите чаю? (*фр.* du thé, voulez-vous?)

² Деньги (*фр.* l'argent)

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак *образованный*, побывавший в России, школьный учитель и, главное, *благородный*. Он хотел казаться *благородным*; но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерощка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

— Здравствуй, батюшка Илья Василич! — сказал Ерощка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

— Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

— Это наш *Нимврод египетский*,— сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика.— *Ловец пред господином*. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерощка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: «*Нимрод гицкий!* Чего не выдумает?»

— Да вот на охоту хотим идти,— сказал Оленин.

— Так-с точно,— заметил хорунжий.— А у меня дельце есть к вам.

— Что прикажете?

— Как вы есть *благородный* человек,— начал хорунжий,— и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все *благородные* люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов, а задаром я всегда, как *благородный* человек, могу удалиться от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами и как житель здешнего края, не то как бабы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

— Чисто говорит,— пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

— По нашему глупому обряду,— сказал он,— мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

— Что ж, прикажете чаю?

— Ежели позволите, я свой стакан принесу, *особливый*,— отвечал хорунжий и вышел на крыльцо.— Стакан подай! — крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в *особливый*, Ерощке в *мирской* стакан.

— Однако не желаю вас задерживать,— сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан.— Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекреации от должности. Также имею желание испытать счастье, не попадутся ли и на мою долю *дары Терека*. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь, испить *родительского*, по нашему станичному обычаю,— прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

— Плут же,— сказал дядя Ерощка, допивавший свой чай из мирского стакана.— Что же, неужли ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь,— сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! — отвечал старик.— Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинной хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

— Мамушка! — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

— Ну, идем, идем! — сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

— Ги! Ги! — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем закрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задрами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

— Да за что же ты так сердисься на него? — спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю, — отвечал старик. — Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит, — сказал Оленин.

— Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье: девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы поклонялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А всё Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера, как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, — сказал Оленин.

— Хвастаешь! — крикнул старик, останавливаясь.

— Ей-богу! — сказал Оленин.

— Баба черт, — раздумывая, сказал Ерошка. — А какой казак?

— Я не видал какой.

— Ну, курпей какой на шапке? Белый?

— Да.

— А зипун красный? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть. — Ерошка захохотал. — Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, *шутю*. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало, с матерью, с невесткой спит *душенька*-то моя, а я все влезу. Бывало — жила она высоко; мать ведьма была, черт, страсть не любила меня, — приду, бывало, с *няней* (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул; так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе и винограду, всего натащит, — прибавил Ерошка, объяснявший все практически. — Да не одна была. Житье бывало.

— А теперь что ж?

— А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу,— сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь? — сказал он.— Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги да молитву прочти: «Отцу и Сыну и Святому Духу»,— и иди с Богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

— Ну, что за вздор! — сказал Оленин.— Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Шш! Теперь молчи,— опять шепотом перервал старик этот разговор,— только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки деревьев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шепотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

ХІХ

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажая дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц — кто на работы, кто на реку, кто на кордоны.

Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, лица и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то чтоб ему было страшно; но

он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил; только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого не пробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шепотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы — все это казалось сном Оленину.

— Фазана посадил,— прошептал старик, оглядываясь и надвигая себе на лицо шапку.— Мурло-то закрой: фазан.— Он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках.— Мурла человеческого не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух *тордокнул* с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидал фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здоровенного ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.

— Молодец! — смеясь, прокричал старик, не умевший стрелять влет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

— Стой! Сюда пойдем,— перебил его старик,— вчера тут олений след видал.

Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж? — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее.— Человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решился спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

— Не, это мой след, а во,— просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чащу к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

— Утром тут был,— вздохнув, сказал старик,— видать, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновение из-за треска, перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

— Рогаль! — проговорил он. И, отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду.— Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! — И он злобно ухватил себя за бороду.— Дурак! Свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду.

Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна-красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

XX

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его,

побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали, что ни шаг, подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазая за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чашу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что «вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, Бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не выдавший человека, и в таком

месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер тепло-окровавленную руку о черкеску. «Чуют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерощка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Все надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастья. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого Божества — все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? — подумал он. — Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что, — сказал он сам себе, — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскопчил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы

любить. «Ведь ничего для себя не нужно,— все думал он,— отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами деревьев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменялось — и погода, и характер леса: небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах деревьев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о Боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя,— думал он,— когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решил пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя; зарывшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лактать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукующий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединился еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться Богу, и одного только боялся — что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить — жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услышал звуки русского говора, услышал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижне-Протоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженной и выкрашенной красною бородой, несмотря на то что был в оборванной черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

— Их пять братьев,— рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке,— вот уж это третьего брата русские бьют, толь-

ко два остались; он джигит, очень джигит,— говорил лазутчик, указывая на чеченца.— Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон в тех горах,— отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье.— Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка, видимо гордясь этим знакомством.— Кунак мне.

— Сосед мне,— отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо очень заинтересованный, заговорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхами сотник и станичный со свитой двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «Здравия желаем, ваше бродие»,— и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука который у вас? — проговорил сотник.

Лукашка снял шапку и подошел.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю, я написал к кресту, в урядники рано. Ты грамотный?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника.— Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник,— отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им,— обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвер-

нувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

— Что он сказал? — спросил Оленин у вертлявого переводчика.

— Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Всё одна хурда-мурда,— сказал лазутчик, видимо обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел не шевелясь и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, переноса весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело; несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

— Что это вы курите? — сказал он, как будто с любопытством.— Разве хорошо?

Он, видимо, сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

— Так, привык,— отвечал Оленин,— а что?

— Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь недалеко горы-то,— сказал Лукашка, указывая в ущелье,— а не доедешь!.. Как же вы домой одни пойдете: темно. Я вас провожу, коли хотите,— сказал Лукашка,— вы попросите у урядника.

«Какой молодец»,— подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он.— Человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат,— сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке.— Слышал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то? — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

— Пускай Бога молит, что сам цел ушел,— сказал Лукашка, смеясь.

— Чему ж ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке.— Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин, для того чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну,— думал себе Оленин,— а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебе в какие ворота? — спросил Оленин.

— В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

— Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один дойду.

— Ничего! А мне что ж делать? Как вам не бояться? И мы боимся,— сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.

— Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

— Разве я места не найду, где ночку ночевать,— засмеялся Лукашка,— да урядник просил прийти.

— Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

— Все люди... — И Лука покачал головой.

— Что, ты женишься — правда? — спросил Оленин.

— Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

— Ты нестройовой?

— Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.

— А сколько конь стоит?

— Торговали намеренно одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.

— Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопочу и

коня тебе подарю,— вдруг сказал Оленин.— Право. У меня два, мне не нужно.

— Как не нужно? — смеясь, сказал Лукашка.— Что вам дарить? Мы разживемся, Бог даст.

— Право! Или не пойдешь в драбанты? — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Лукашка первый прервал молчание.

— Что, у вас в России дом есть свой? — спросил он.

Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.

— Хороший дом? больше наших? — добродушно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз, в три яруса,— рассказывал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь... А все я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь.— Вот вы где заплутались,— прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили,— вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте,— отвечал Оленин,— хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче,— сказал Лука.— Ишь чакалки воют,— прибавил он, прислушиваясь.

— Да что, тебе не страшно, что ты человека убил? — спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход! — повторил Лукашка.— Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?

— Да. Очень хорошо,— сказал Оленин.

Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизняка. Так и чув-

ствовалося Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастье и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клетки купленную им в Грозной — не ту, на которой он всегда ездил, но другую, недурную, хотя и немолодую лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка. — Я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит, — отвечал Оленин, — возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдем.

Лука смутился.

— Ну, что ж это? Разве конь малого стоит, — говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствуй. Вот, не думано, не гадано...

Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдем в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.

— Бог даст, и я вам отслужу, — сказал он, допивая вино. — Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андреич.

— Ну, Митрий Андреич, спаси тебя Бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно, каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намедни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.

— Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездил.

— Как коня запрягать! А вот еще я тебе скажу, — понизив голос, сказал Лукашка, — коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.

— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношения Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на

него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что *ларжан шльньяпа*¹, и потому все это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.

Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был, по его мнению, однако стоил, по крайней мере, сорок *монетов*, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок *монетов*, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! — думал Лукашка. — Конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» — думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброе-желательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделялся уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к *простоте* и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит, — говорил один. — Богач!

— Слыхал, — отвечал другой глубокомысленно. — Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкирей, беда! — говорил третий, — как раз подождет или что.

¹ денег нет (*искаж. фр.*)

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на ученья его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он, с своей стороны, тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.

Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал с собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове,— бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застает себя или казаком, работающим в садах с казачкою-женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.

Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. Назавтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить

ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждений созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ah, mon cher, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами.— Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался... Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?

И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.

— Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру... крест... чин... в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек,— говорил Белецкий не умолкая.— За экспедицию представлен к Анне. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан — знаете, Старцев: доброе, глупое существо... он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видите. Я понимаю, что вам не хочется сблизиться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенъка! Я вам скажу — прелесть!

И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахло от него всюю тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми, и на основании того, что

они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.

Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

XXIV

Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тереке лошадь.) Хозяйка была в своей *избушке*, из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клетке доила буйволу. «Не постоит, проклятая!» — слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин *охлепью* на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клетки и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубашка, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал на двор. «Готов чай, Ванюша?» — крикнул он весело, не глядя на дверь клетки; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогааясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «*Се нре!*»¹ — отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клетки, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуган-

¹ Готово! (*фр.* c'est prêt)

но оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доенья.

Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крыльцо и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень,— он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубашка, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под нестянутой рубашкой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белецкий! — отозвался Оленин, протягивая руку.— Как вы так рано?

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устенке? — обратился он к девке.

Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится,— проговорил ей вслед Белецкий,— вас стыдится,— и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как, бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устенки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на *избушку*, в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.

— Да как же, помилуйте,— сказал он,— живете в одном доме, и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин,— сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.

— Оно, может быть, странно,— отвечал Оленин,— но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерощка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охота.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. *A la guerre, comme à la guerre!*¹

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться,— отвечал Оленин.— Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком близко к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говоря уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ищущу, другое вижу в них, чем вы.

Белецкий недоверчиво поднял брови.

— Все-таки приходите ко мне вечером, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?

— Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белецкий.— Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?

— Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придете?

— Да, приду, может быть,— сказал Оленин.

— Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть. Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет.

¹ На войне, как на войне! (*фр.*)

— Едва ли! Мне говорили, что восьмая рота пойдет,— сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, в набег скоро.

— Не слыхал; а слыхал — Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика,— сказал Белецкий, смеясь.— Вот попался-то. Он в штаб поехал...

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно,— думал он.— Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.

Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли, и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «*Les trois mousquetaires*»¹.

Белецкий вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свиной и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит!

¹ «Три мушкетера» (фр.)

Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белецкий.

— Сейчас! Аль проголодался, дедушка? — И из хаты слышался звонкий хохот.

Устенка, пухленькая, румянькая, хорошенькая, с засученными рукавами, вбежала в хату Белецкого за тарелками.

— Ну ты! Вот тарелки разобью,— завизжала она на Белецкого.— Ты бы шел подсоблять,— прокричала она, смеясь на Оленина.— Да *закусок-то!* девкам припаси.

— А Марьянка пришла? — спросил Белецкий.

— А то как же! Она теста принесла.

— Вы знаете ли,— сказал Белецкий,— что, ежели бы одеть эту Устенку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая *dignité!*² Откуда что взялось...

— Я не видал Борщевой, а по мне лучше этого наряда ничего быть не может.

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! — сказал Белецкий, весело вздыхая.— Пойду посмотрю, что у них.

Он накинул халат и побежал.

— А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?»

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат.— Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все,— сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.

— Выгнали,— сказал он.

Через несколько минут Устенка вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.

Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенка оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В

¹ Закусками называются пряники и конфеты. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² осанка (фр.)

хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

— Просим покорно моего ангела *помолить*,— сказала Устенка, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решил сделать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устенки и пригласил других сделать то же. Устенка объявила, что девки не пьют.

— С медом бы можно,— сказал чей-то голос из толпы девок.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев *гулявших*, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче; но Белецкий прогнал его.

Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устенки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег,— думал он.— Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

XXV

— Как же ты своего постояльца не знаешь? — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал:

— Я твоей матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашел к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянула на него и отвернулась.

Тут в первый раз Оленин увидел все лицо красавицы, а прежде он видал ее обвязанною до глаз платком. Недаром она считалась первою красавицей в станице. Устенъка была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечною улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не *хорошенькая*, но *красавица*. Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи и, главное — ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственною силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, — все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицей казалась между другими.

Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставляя девок подносить чихирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша», *la vôtre*, и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжеле и тяжеле. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенъка должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И черт меня занес на эту отвратительную пирушку!» — сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу, — сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку.

— У меня есть деньги, — сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить, — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. — Неужели я не могу то же делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствия. Надо пить по-казацки», — и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себе стаканов восемь), налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенъка поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими.

— Вот, девки, загуляем, — сказала она, встряхивая на тарелке четыре *монета*, которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем, — сказал Белецкий, схватывая ее за руку.

— Да я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замахиваясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно,— подхватила другая девка.

— Вот умница! — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку.— Нет, ты поднеси,— настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне.— Постояльцу поднеси.

И, взяв ее за руку, он подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным.

— Какова красавица! — сказал он, поворачивая ее голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами.

— Красавица девка,— повторил Белецкий.

«Какова я красавица!» — повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь? — спросил Оленин.

— А так, не хочу, и все,— отвечала она, вздергивая нижнюю губой и бровью.— Он дедушка,— прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее.— Что заперлись, черти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь,— сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился и ему стыдно стало за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее.

— Белецкий, отоприте! Что за глупые шутки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом.

— Ай боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ершкой сидел, так тебя девки за это и любить бы стали.— И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить.

— А если б я к вам ходил?..— сказал он нечаянно.

— Другое бы было,— проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу.

«Все пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав»,— мелькнуло в голове Оленина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рас-

сердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенкина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.

XXVI

«Да,— думал Оленин, возвращаясь домой,— стоило бы мне немного дать себе повода, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что все это пройдет и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения его к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерошкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они расспрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движения, пощелкивание семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него, и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям и снова дожидался ее взгляда. При других она была большею частью весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы: вдруг слышатся ее сильные шаги, и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубаха. Выйдет она на середину хаты, увидит его,— и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостью.

Оленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того

мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он, в своей станице, считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным, и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев,— думал он,— люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке,— только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке,— и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю и с казаками в походы. «Что ж я не делаю этого? Чего ж я жду?» — спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде,— быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье,— его удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастье.

Лукашка, перед уборкой винограда, верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну, что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня вашего променял за рекой! Уж и конь! Кабардинский лов-тавро¹. Я охотник.

Они оглядели нового коня, проджигитовали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош: гнедой, широкий и длинный мерин с глянцевиною шерстью, пушистым хвостом и нежною, тонкою, породистою гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его *только спать ложись*, как выразился Лукашка. Копыты, глаз, оскал — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца.

— А езда-то,— говорил Лукашка, трепля его по шее.— Проезд какой! А умный! Так и бегаёт за хозяином.

— Много ли придачи дал? — спрашивал Оленин.

— Да не считал,— улыбаясь, отвечал Лукашка,— от кунака достал.

— Чудо, красавица лошадь! Что возьмешь за нее? — спросил Оленин.

— Давали полтораста монетов, а вам так отдам,— сказал Лукашка весело.— Только скажите, отдам. Расседлаю, и бери. Мне какого-нибудь давай служить.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам *пешкеш* привез,— и Лукашка распоясался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него на ремне.— За рекой достал.

— Ну, спасибо.

— А виноград матушка обещала сама принести.

— Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать тебе деньги за кинжал.

— Как можно,— кунаки! Меня так-то за рекой Гирей-хан привел в саклю, говорит: выбирай любое. Вот я эту шашку и взял. Такой у нас закон.

Они вошли в хату и выпили.

— Что ж, ты поживешь здесь? — спросил Оленин.

— Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Терек. Нынче еду с Назаром, с товарищем.

— А свадьба когда же?

¹ Тавро завода кабардинских лошадей Лова считается одним из лучших на Кавказе. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Вот скоро приеду, сговор будет, да и опять на службу,— неохотно отвечал Лука.

— Как же так, невесту не увидишь?

— Да так же! Что на нее смотреть-то? Вы как в походе будете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И кабанов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал, джигитую, на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка.— На, веди к ней коня, а коли я долго не приду, ты коню сена дай. К утру все в сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего еще?

— Не! Спасибо отдалил его кинжалом, а то коня было просить стал,— сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая ее Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уж совсем темно. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.

— Это я,— прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно; но оно вдруг ожило, как только она услышала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложи,— проговорил Лукашка.— Пусты меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял ее голову и поцеловал.

— Право, отложи.

— Что говоришь пустое! Сказано, не пушу. Что ж, надолго?

Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше.

— Вишь, и обнять-то в окно не достанешь хорошенько,— сказал Лукашка.

— Марьянушка! — слышался голос старухи.— С кем ты?

Лукашка скинул шапку, чтобы по ней не заметили его, и присел под окно.

— Иди скорей,— прошептала Марьяна.

— Лукашка заходил,— отвечала она матери,— батяку спрашивал.

— Что ж, пошли его сюда.

— Ушел, говорит, некогда.

Действительно, Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к Ямке; только один Оленин и видел его. Выпив чапуры две чихиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, толь-

ко слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке.

— Ведь не пустила,— сказал он.

— О! — отозвался Назарка,— я знал, что не пустит. Что мне Ямка сказывала: юнкирь к ним ходить стал. Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкиря флинтку за Марьянку взял.

— Брешет он, черт! — сердито сказал Лукашка,— не такая девка. А то я ему, старому черту, бока-то отомну.— И он запел свою любимую песню:

Из села было Измайлова,
Из любимого садочка сударева,
Там ясен сокол из садичка вылетывал,
За ним скоро выезживал млад охотничек,
Манил он ясного сокола на праву руку:
«Поди, поди, сокол, на праву руку,
За тебя меня хочет православный царь
Казнить-вешать».

Ответ держит ясен сокол:

«Не умел ты меня держать в золотой клетке
И на правой руке не умел держать,
Теперь я полечу на сине море;
Убью я себе белого лебедя,
Наклююся я мяса сладкого, лебединог».

XXVIII

У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению хорунжего. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукашка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменился в это последнее время,— писал Оленин,— и дошел до того, что написано в азбучке. Для того чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и все, раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадетя, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка.

Ерошка был в самом веселом расположении духа. На днях, зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он, с счастливым и гордым лицом, ловко снимал маленьким ножичком. Собаки, и между ними любимец Лям, лежали

около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и уже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему — кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клети весь в крови и отпускал по фунтам свежину — кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «Бог дал счастье, убил зверя; теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы,пил уже четвертый день. Кроме того, онпил на сговоре.

Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой,— сказал он шепотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерошка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерошке было скучно пить одному; ему хотелось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, свиньи! Не хочу! Пришел к тебе.

— А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленин и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал,— сказал он так же тихо.— Я мастер играть: татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь.

Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика.

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно.— Ну, обидели тебя — брось их, плюнь! Ну, что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, кроме как о вредной кляузе.

Оленин расхохотался. Ерошка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню, с припляскою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?
На базаре в лавке,
Продает булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель:

В понедельник я влюбился,
Весь овторник прострадал,
В среду в любви открылся,
В четверток ответу ждал.
В пятницу пришла решенья,
Чтоб не ждать мне утешенья,
А во светлую субботу
Жисть окончить предпринял;
Но, храня души спасенье,
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,
А где его видели?

Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,
Алой лентой перевью,
Надеженькой назову.
Надеженька ты моя,
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские*, он спел только для Оленина; но потом, выпив еще стакана три чихиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая брэнчать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказал он.

Оленин оглянулся на странный звук его голоса: старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.

— Прошло ты, мое времечко, не воротишься,— всхлипывая, проговорил он и замолк.— Пей, что не пьешь! — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.

Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! дай! далалай!» Ерошка перевел слова песни: «Молодец погнал баранту из аула в горы. Русские пришли, сожгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома

нет; одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: ай, дай! далалай!» И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз.

Допевая последний припев, Ерошка схватил вдруг со стены ружье, горюливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел: «Ай! дай! далалай а-а!» — и замолк.

Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон и перебегали из *избушки* в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелам дяди Ерошки.

— Что ж ты не на сговоре? — спросил Оленин.

— Бог с ними, Бог с ними! — проговорил старик, которого, видимо, чем-нибудь там обидели. — Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдем в хату! Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.

Оленин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебе девку подвожу, — сказал старик шепотом. — А что девка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше — и наша! Я тебе сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой, сироты! — вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал.

Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот, теперь Лукашка мой счастлив», — думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат и, отплевываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.

XXIX

Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревьях были покрыты пылью; дороги и солончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Тереке и быстро сбегала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девчонок и мальчишек. В степи уже засыхали бурьяны и камыши, и скотина, мыча, днем убегала с поля. Зверь отко-

чевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Комары и мошки тучами стояли над низами и станицами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. Абреки, слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по сую сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных бахчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющеюся зеленью, и в прохладной густой тени везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, вёрхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту, бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками мамуки вели быков, запряженных в высоко наложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу взлезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши *избушек* были сплошь уложены черными и янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды годовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселые женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, в тени персикового дерева, и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разостланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыносимо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил пролады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Хорунжий, еще

раз помолвившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Хорунжий был в одной рубахе, расстегнутой на шею и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, хитрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за *лапазом* край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберемся,— отвечала старуха,— только бы погода не задержала. Демкины еще половины не убрали,— прибавила она.— Одна Устенка работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— Н^а, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке.— Вот, Бог даст, будет чем свадьбу сыграть,— сказала старуха.

— Дело впереди,— сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говорить? — сказала старуха.— Дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай,— опять сказал хорунжий.— Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила старуха.— Что Митрий-то Андреич подарил, того уж нет: он выменял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче,— сказал хорунжий,— говорит, опять получил тысячу рублей.

— Богач, одно слово,— подтвердила старуха.

Все семейство было весело и довольно.

Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали.

Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная *сорочка*, то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаха; но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко.

Рабочая пора уже началась две недели тому назад, и тяжелая, непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодною водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и не усталая, таща быков за веревку и погоняя их длинною хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря,

она уже шла в хату и, поужинав в темной *избушке* с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видала с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.

XXX

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенка, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! спать! — говорила Устенка, укладываясь под арбой. — Стой, — сказала она, вскакивая, — так не ладно.

Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накинув бешметом.

— Ты пусти, — закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу, — разве казакам место с девками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенка вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею.

— Миленький! братец! — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчетливым смехом.

— Видишь, у *дедушки* научилась, — отвечала Марьяна, отбиваясь. — Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шепотом сказала Устенка.

— Что врешь! Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенка не унималась:

— А что я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок.

— Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что знаю.

— Нечего знать, — отвечала Марьяна.

— Ах ты, плут-девка! — сказала Устенка, толкая ее локтем и смеясь. — Ничего не расскажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться, — говорила Устенка, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение. — Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут да работа.

— Что ж? Другим и замужем жить хорошо. Все равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты Расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что было? Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, я чай. А он какой теперь молодец стал! Первый джигит. Все и в сотне гуляет. Намеднись приезжал наш Кирка, говорил: коня какого выменял! А все, чай, по тебе скучает. А еще что он говорил? — спросила Марьяну Устенка.

— Все тебе знать надо,— засмеялась Марьяна.— Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.

— Что ж, не пустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень,— серьезно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит,— гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его!

— Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенка вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха.

— Глупая ты дура! — проговорила она, запыхавшись,— счастья себе не хочешь,— и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось! — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех.— Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись,— послушался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь,— повторила Устенка шепотом и при-вставая.— А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят! Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоём месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка — и тот чего мне не надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопы есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Что он мне раз сказал, постоялец-то,— проговорила она, перекусывая травинку.— Говорит: я бы хотел казаком Лукашкой быть или твоим братишкой Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так, врет, что на ум взбрело,— отвечала Устенька.— Мой чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать прийти; его батюшка звал,— проговорила она, помолчав немного, и заснула.

XXXI

Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который, с ружьем на плече, стоял и разговаривал с ее отцом. Она толкнула Устеньку и молча, улыбнувшись, указала ей на него.

— Вчера я ходил, ни одного не нашел,— говорил Оленин, беспokoйно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.

— А вы вон к тому краю, прямо по циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся,— сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходил бы лучше нам подсобить. С девками поработал бы,— весело сказала старуха.— Ну, девки, вставать! — крикнула она.

Марьяна и Устенька шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят *монетов* Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать,— сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубашку и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок дам,— ответила старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость,— сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи,— в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананазных варений и мочений кушали в свое удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин.— Я схожу,— и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала

распространяться в виноградниках. Еще издалека каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарывшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» — хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь,— сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?

— А тебе что?

— Мне завидно.

— Легко ли!

— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал. Так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал:

— Я не знаю, что готов для тебя сделать...

— Отстань, смола!

Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений;

ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. «И как ей не знать,— думал он,— когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать»,— думал он.

— Ау! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устеньки и ее тонкий смех.— Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взглядывала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из сада.

XXXII

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устеньки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уж сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской *избушке* и видневшуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки*, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать, слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло. Хорунжий переговаривал что-то шепотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату; Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «Чего мне нужно?» — и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно слышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжелого вздоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги,

взмахивала хвостом, и равномерно шлепало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «Что мне делать?» — и решительно собирался идти спать; но опять слышались звуки, и в воображении его возник образ Марьянки, вышедшей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросился к окну, и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно слышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые, осторожные шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахло запахом душицы и тыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновение при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка, ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину.— Я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назарка говорил очень громко, видимо, нарочно.

— Вишь, ловкий *юнкирь* какой!

Оленин дрожал и бледнел.

— Поди сюда, сюда! — Он сильно ухватил его за руку и отвел его к своей хате.— Ведь ничего не было, она меня не пустила, и я ничего... Она честная...

— Ну там, разбирать... — сказал Назарка.

— Да я все равно тебе дам... Вот постой!..

Назарка замолчал. Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей.

— Ведь ничего не было, да все равно, я виноват, вот я и даю! Только, ради Бога, чтобы никто не знал. Да ничего не было...

— Счастливо оставаться,— смеясь, сказал Назарка и вышел.

Назарка приезжал в эту ночь в станицу, по поручению Лукашки приготовить место для краденной лошади, и, проходя домой по улице, слышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять *монетов*. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не захо-

дить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу.

Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое все еще не выходило. Он без okazji проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и незачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соблезнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он закрутит, от всего отстанет, станет пить и еще, чего доброго, женится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругом, либо женится на распутной женщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло бы выпасть великое счастье стать мужем графини Б***, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне вместо моей хаты, моего леса и моей любви эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обаянный быть разговором и не имеющий никаких прав на это,— мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые не-

весты с выражением лица, говорящим: “Ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста”; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. “Еще он, избави Боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света”, — воображаю, говорят они обо мне с искренним состраданием. А я только одного и желаю: совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого, потому что это было бы верх счастья, которого я недостойн.

Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидел казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее? Но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желание супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этою женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? — спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на все и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною

улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь; но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать все, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, пить чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночку, без мысли о том, кто я? и зачем я? Тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, равна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. Восемнадцатого числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и все равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидел ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я все понял. Я люблю эту женщину настоящею любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в

любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором люблюсь на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньше желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир Божий, вся природа вдавливают любовь эту в мою душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого Божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидел новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет о исчезнувшем! Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? Когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнью. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и все скажу ей».

XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна, с непокрытыми волосами, шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка,— сказала мать.

— Не, я простоголовая.— И она вскочила на печь.

Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограда, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным,

простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.

— Да что Бога гневить, батюшка! Все у нас есть, слава Богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба? — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы, — отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. — Я все для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно: Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Вовсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался, — сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.

— Да, я его раза два видел в отряде, он все гуляет. Еще лошадь продал, — сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает, — вдруг сказала Марьяна. — На свои деньги гуляет, — и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате; потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости: старик, брат бабушки Улиты, с дядей Ерешкой, и вслед за ними Марьяна с Устенкой.

— Здорово дневали? — пропищала Устенка. — Все гуляешь? — обратилась Устенка к Оленину.

— Да, гуляю, — отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко.

Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему: он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерешкой. Потом еще с другим казаком. Потом еще с Ерешкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжелее становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукали, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали. Старуха выгоняла их вон и не давала больше чихиря. Девки смеялись над дядей Ерешкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо. Старики

сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенка побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибраться в *избушке*. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.

— Марьяна! — сказал он. — Неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь, вино-то что говорит. Ничего тебе не будет!

— Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе. — «Что же это я говорю? — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. — Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу и теперь повторю», — ответил ему внутренний голос. — Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.

— Марьяна! я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю. — И безумно-нежные слова говорились сами собой.

— Ну, что брешешь, — прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными жесткими пальцами. — Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? Я все...

— А Лукашку куда денем? — сказала она, смеясь.

Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она, как лань, вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но, ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц собирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами,— больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо их, бабы и девки приостанавливались и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаг и, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками, в яркоцветных бешметах и белых платках, обвязывающих голову и лицо, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девчонки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бегали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пищали песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята, в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по двое, по трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостью восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у дома своего знакомца и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплеывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка непраздничный солдат, в старой шинели, торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде, в пыли, под ногами, валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно. Бело-матовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидеть Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалинке с девками, щелкая семя, то с товарками же забежала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговари-

вать с ней шутливо и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погоды, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услышал за собою девичий хохот.

Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услышал голос Белецкого: «Заходите»,— и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерошка, в новом бешмете, и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка,— говорил Белецкий, указывая папироской на пеструю группу на углу и улыбаясь.— И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белецкий, выглядывая из окна.— Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устенке. Надо им бал задать.

— И я приду к Устенке,— сказал Оленин решительно.— Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белецкий, нисколько не удивляясь.— А ведь очень красиво,— прибавил он, указывая на пестрые толпы.

— Да, очень! — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным.— На таких праздниках,— прибавил он,— меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце — все праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да,— сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений.— А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерошке.

Ерошка мигнул Оленину на Белецкого:

— Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белецкий поднял стакан.

— Алла бирды,— сказал он и выпил. (*Алла бирды*, значит: Бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— Сау бул (будь здоров),— сказал Ерошка, улыбаясь, и выпил свой стакан.— Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно.— Это что за праздник! Ты бы посмотрел, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешает. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подыметя. Каждая баба как княгиня была. Бывало, выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то

схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают. Да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка, бывало, придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает, бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут, бывало, казаки али верхом сядут, скажут: пойдем хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! королевны!

XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головою с глянцевитою тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головою.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь, — отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь, — проговорил старик еще мрачнее.

— Вишь, черт, все знает! — проговорил про себя Лукашка, и лицо его приняло озабоченное выражение; но, взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово дневали, девки! — крикнул он сильным, залиvistым голосом, вдруг останавливая лошадь.— Состарелись без меня, ведьмы.— И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка, здорово, батяка! — слышались веселые голоса.— Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видали.

— С Назаркой на ночь погулять прилетели,— отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадей и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем,— пропищала Устенка, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удачью и радостью. Холодный ответ Марьяны, видимо, поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитую между девок. Он нагнулся к Марьяне.— Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретила с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

— Ну тебя совсем! Ноги отдавишь,— сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устенке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшей на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькою ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жертвую,— сказал он, передавая узелок Устенке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и вдруг, припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что душишь парнишку-то? — сказала мать ребенка, отнимая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди.— Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем,— сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорей приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезшему у соседнего двора, и осторожно проводя коня в плетеные ворота своего двора.— Здорово, Степка! — обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха мать отворила ему дверь.

— Вот не ждала, не гадала,— сказала старуха,— а Кирка сказывал, ты не будешь.

— Принеси чихирьку поди, матушка. Ко мне Назарка придет, *праздник помолим*.

— Сейчас, Лукаша, сейчас,— отвечала старуха.— Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И, захватив ключи, она торопливо пошла в *избушку*.

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

XXXVII

— Будь здоров,— говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

— Вишь, дело-то,— сказал Назарка,— дедука Бурлак что сказал: «Много ли коней украл?» Видно, знает.

— Колдун! — коротко ответил Лукашка.— Да это что? — прибавил он, встряхнув головой.— Уж они за рекой. Ищи.

— Все неладно.

— А что неладно! Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! — крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерощка произносил это слово.— На улицу гулять пойдем, к дедкам. Ты сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

— Что ж, долго побудем? — сказал он.

— Дай погуляем! Беги за водкой! На деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерощка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.

— Давай еще полведра! — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

— Ну, сказывай, черт, где украл? — прокричал дядя Ерощка.— Молодец! Люблю!

— То-то люблю! — отвечал, смеясь, Лукашка. — Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

— Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! (Старик расхохотался.) Уж как просил меня черт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, Бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был? — И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

— Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю, — поддакивал он.

— Поехали мы с Гирейкой, — рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) — За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завыли.

— Дураки, — сказал дядя Ерошка. — Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Черт их разберет! Выеду, бывало, на бугор, завою по-бирючиному, вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну что ж, нашли?

— Живо обротали. Назарку было поймали ногоайки-бабы, пра!

— Да, поймали, — обиженно сказал вернувшийся Назарка.

— Выехали; опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажет, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

— А ты по звездам бы смотрел, — сказал дядя Ерошка.

— И я говорю, — подхватил Ергушов.

— Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился! Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю, выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по зemi... Выскакал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней схоронить, Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой.

— Я и говорю: ловко! А много ль?

— Все тут, — сказал Лукашка, хлопая по карману.

Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

— Пей! — прокричал он.

— Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали... — начал Ерошка.

— Ну, тебя не переслушаешь! — сказал Лукашка. — А я пойду.

И, допив вино из чапурки и затянув туже ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб *избушек* шел дым и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизняка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запеваает:

Из-за лесику, лесу темного,
 Ай-да-люли!
 Из-за садику, саду зеленого
 Вот и шли-прошли два молодца,
 Два молодца, да оба холосты.
 Они шли-прошли да становилися,
 Они становилися, разбранилися.
 Выходила к ним красна девица,
 Выходила к ним, говорила им:
 «Вот кому-нибудь из вас достануся».
 Доставалася да парню белому,
 Парню белому, белокурому.
 Он бере, берет за праву руку,
 Он веде, ведет да вдоль по кругу.
 Всем товарищам порасхвастался:
 «Какова, братцы, хозяйюшка!»

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрогивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенякая Устеняка в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенякой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него

отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

— Что вы мне раньше не сказали,— говорил Белецкий,— я бы вам устроил через Устенку. Вы такой странный!

— Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради Бога, устройте, чтоб она пришла к Устенке.

— Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? — сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождавшись ответа, он подошел к Устенке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку. Они пели:

Как за садом, за садом
Ходил, гулял молодец
Вдоль улицы во конец.
Он во первый раз иде,
Машет правою рукой,
Во другой он раз иде,
Машет шляпой пуховой.
А во третий раз иде,
Останавливается,
Останавливается, переправливается.
«Я хотел к тебе пойти,
Тебе, милой, попенять:
Отчего ж, моя милая,
Ты нейдешь во сад гулять?
Али ты, моя милая,
Мною чванишься?
Опосля, моя милая,
Успокоишься.
Зашлю сватать,
Буду сватать,
Беру замуж за себя,
Будешь плакать от меня».
Уж я знала, что сказать,
И не смела отвечать.
Я не смела отвечать,
Выходила в сад гулять.
Прихожу я в зелен сад,
Дружку кланялась.
А я, девица, поклон,
И платочек из рук вон.
«Изволь, милая, принять,
Во белые руки взять.
Во белы руки бери,
Меня, девица, люби.
Я не знаю, как мне быть,

Чем мне милую дарить,
Подарю своей милой
Большой шалевой платок.
Я за этот за платок
Поцелую раз пяток».

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода.

— Что же, выходи какая! — проговорил он.

Девки толкали Марьянку; она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот.

Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

— Митрий Андреич! И ты пришел посмотреть? — сказал он.

— Да,— решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устенке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

— Хорошо, придем.

— И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне.

— Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

— Девки пойдут, и я приду.

— Скажешь мне, что я просил? — спросил он опять, нагибаясь к ней.— Ты нынче весела.

Она уж уходила от него. Он пошел за ней.

— Скажешь?

— Чего сказать?

— Что я третьего дня спрашивал,— сказал Оленин, нагибаясь к ее уху.— Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

— Скажу,— ответила она,— нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: «Приходи же к Устенке»,— отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток»,— говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движение и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок *закусками*.

— На всех жертвую,— говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством.— А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон,— прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устенке.

— *Али ты, моя милая, мною чванишься?* — повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке, — *мною чванишься?* — еще повторил он сердито. — *Пойдешь замуж, будешь плакать от меня,* — прибавил он, обнимая вместе Устенку и Марьяну.

Устенка вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

— Что ж, станете еще водить? — спросил он.

— Как девки хотят, — отвечала Устенка, — а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.

— Не ходи, Машенька, — сказал он, — последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устенке пойду, — сказала Марьяна.

— Ведь все равно женюсь.

— Ладно, — сказала Марьяна, — там видно будет.

— Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет, — укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой. — *Будешь плакать от меня,* — и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: — *Играй, что ль!*

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась.

— Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, за то и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка. — Помни ж! — Он подошел к лавке. — Девки! — крикнул он, — что стали? Еще хоровод играйте. Назарка! беги, чихиря неси.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белецкого.

— Сейчас придут, — отвечал Белецкий. — Пойдемте, надо приготовить бал.

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенкой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освежалось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел; в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удаляющуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному; он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

— Ну тебя! Увидит кто! — сказала Устенка.

— Ничего!

Оленин подбежал к Марьяне и обнял ее. Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались,— сказала Устенка.— Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенка ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шепотом говорил с Марьянкой.

— Пойдешь за меня? — спрашивал он ее.

— Обманешь, не возьмешь,— отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи, ради Бога!

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки.— Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак,— сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст?

— Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась.

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было, потому что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее несколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему и

не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. «Да,— говорил он сам себе,— только тогда мы пойдем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слов, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице...»

Лукашка после двух бессонных ночей так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

XI

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостью вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездил и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали; ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живее,— говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут,— кричал Лукашка,— в средние ворота ехать надо.

— И то, оттуда ближе,— говорил один из казаков, запыленный и на потной лошади.

Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки; папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

— Что такое? Куда? — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного бочонка в деревянную чапуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними

был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые, и хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали, и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу, насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренным следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими, чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песку. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большею частию молча. Оружие на казаке всегда приложено так, чтоб оно не звенело и не брэнчалло. Брэнчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменял всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий — и кабардинец, оскалив зубы и распутив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра *лошадь*, а не *конь*, это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь, — подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой, и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной ложине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо робея, переглядывались между собою.

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес обычное приветствие, и ногайки, видимо, обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— *Ай, ай, коп абрек!* — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков».

Никогда не выдавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собой шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное, потому, что теперь он был очень счастлив.

Вдруг вдалеке послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделитья и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выразалось спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади, и, шурясь, все вглядывался вперед.

— Вон конный едет, — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей на их глаза. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька, никак, — сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. — Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит,— сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидели Гурку, сидевшего за песчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда. Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Еще застрелят тебя, Андреич,— сказал он.— Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он, шагах в двухстах, шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и ознаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

— Надо арбу взять с сеном,— сказал Лука,— а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы,— их было девять человек,— сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на *ай-да-ла-лай* дяди Ерошки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь, как ему показало. Бросив лошадь и не помня себя, он подбежал к казакам. Ужас застал его глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненого чеченца и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый, красный, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороною. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

— Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! *Ана сени!* — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки толпились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно: Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

— Марьяна! — сказал он, — а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

— Марьяна! я пришел...

— Оставь,— сказала она. Лицо ее не изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

— О чем ты? Что ты?

— Что? — повторила она грубым и жестким голосом.— Казаков перебили, вот что.

— Лукашку? — сказал Оленин.

— Уйди, чего тебе надо!

— Марьяна! — сказал Оленин, подходя к ней.

— Никогда ничего тебе от меня не будет.

— Марьяна, не говори,— умолял Оленин.

— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться, что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

XLII

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было *не то*. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

— Ну, прощай, отец мой,— говорил дядя Ерошка.— Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набе-ге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то всё, как ваш брат оробеет, так к народу и жметя: думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и целят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

— А в спине-то у тебя пуля сидит,— сказал Ванюша, убиравшийся в комнате.

— Это казаки баловались,— отвечал Ерошка.

— Как казаки? — спросил Оленин.

— Да так! Пили. Ванька Ситкин казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

— Что ж, больно было? — спросил Оленин.— Ванюша, скоро ли? — прибавил он.

— Эх! Куда спешить! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня

убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то. Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...

— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.

— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно! Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька все тут. Вот пощупай.

И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается,— говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой.— Вот к заду перекатилась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А Бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши отказались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить,— сказал Оленин.— Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик.— Дурак, дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна все фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Ни ест, ни пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет,— ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи,

выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке всё такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он *мирился*, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покайся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю все: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж она, проклятая, говорит, у тебя, ты покажь да ее разбей. А я говорю: у меня и нет ее. А сам ее в *избушке* в сеть запрятал; знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что бишь я говорил,— продолжал он,— ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья всё на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно *холком* бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко с подсошек стреляют чеченцы! Ловчей меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю я, бывало, на солдат на ваших, дивлюся. То-то глупость! Идут, сердечные, все в куче да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой.— Что бы в стороны разойтись да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не уцелит. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся,— сказал Оленин, вставая и направляясь к сеним.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он.— Эхма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:

Мудрено, родимый братец,
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай,— сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел идти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю, прощай!

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь? Хоть подари что на память, отец мой. Flintу-то подари. Куды тебе две,— говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику,— ворчал Ванюша,— все мало! Попрошайка старый. Всё обстоятельный народ,— проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь.— Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клетки, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!*¹ — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай, буду помнить тебя,— кричал Ерошка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

¹ Девушка! (*фр.* la fille).

ПОЛИКУШКА

I

— Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставить, не миновать ихнему идти,— говорил приказчик,— и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «хорошо, хорошо»,— на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были несомненно назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со стороны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно попадавшего в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем, она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то

она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых»,— говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута»,— вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович устался спокойно, даже прислонился незаметно к притолке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своею тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крикнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовую речь отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть, или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

— Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до Покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает; ему все равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, всё в бедности жили. Только-только дождался старик меньшого племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности, как о своей, забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

— Да я и не думала, Егор,— прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

— ...А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится, в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необходимости, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут уже барыня ничего не понимала,— не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «добродетель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить

надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только помнить, что сам хочешь сказать. Так и поступала барыня.

— Как ты не хочешь понять, Егор Михайлов,— сказала она,— я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я все делаю, что могу, для того чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что для того, чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *всем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликее я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне и плакал, и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было положено в стакан воды: апельсинное или лимонное? «Должно быть, с горечью»,— подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что он другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня запила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

— Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

— Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я все готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не Бог. «Ну да все равно, не в том дело»,— подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что ж делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликее нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила,— она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

— Что ты, Дуняша?

— Мужик пришел, велел спросить у Егора Михалыча, прикажут ли дожидаться сходке? — сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик!— подумала она,—

растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

— Так поди, Егор,— сказала барыня,— делай, как лучше.

— Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.) А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

— Петруша разве не приезжал из города?

— Никак нет-с.

— А Николай не может ли съездить?

— Тятенька от поясницы лежит,— сказала Дуняша.

— Не прикажете ли мне самому завтра съездить? — спросил приказчик.

— Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.) Сколько денег?

— Четыреста шестьдесят два рубля-с.

— Поликее пошли,— сказала барыня, решительно взглянув в лицо Егора Михайлова.

Егор Михайлов, не открывая зубов, растянул губы, как будто улыбался, и не изменился в лице.

— Слушаю-с.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с,— и Егор Михайлович пошел в контору.

II

Поликеей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и *угол* у него был самый плохой, даром что он был сам-сём с женой и детьми. *Углы* еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось все домашнее и работал сам Поликеей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи, и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим взлезая на печку, где было до сорока градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла и ткала и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседя-

ми. Месячины доставало не только на детей, но еще и на посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепало. Была полоска огорода. Коровенка отелилась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал кровь лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли, или подороже что,— все у Поликея Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно не хорошо в этих заработках: хотя и дешево и нетрудно все достается и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за все разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему Бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работающая; детей ему нарожала один другого лучше. Поликей все своего промысла не оставлял, и все шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели и стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем все навыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало, начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, говорит, человек, что мне делать? Лопни мои глаза, брошу, не стану». Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадает. «Откудова-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять»,— рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые висячие стенные часы; давно уж не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно, случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про

часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликеея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликеея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно, во всем признался, как его научила жена. Он все исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала, и о Боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебя прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! — говорил Поликеей и трогательно плакал.

Поликеей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала невеселая; народ на него как на вора смотрел, и как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликеей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, ходя по оброку, нанимался в дворники к купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спущать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету; потом под брюхом дворниковой лошади передернул покровку от жениного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликеея и его тонкие, засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию:

«куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом,— мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое. Ланцет и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечуй, спущать кровь, матерю* и т. п., разве не те же *нервы, ревматизмы, организмы* и т. п.? *Wage du zu irren und zu träumen!*¹ — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

III

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, Поликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним давать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряхей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его несомненно первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это,— говорил он,— не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет»,— сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказа; но увидав, что дело до нее не касается, пожала плечами. «Вишь, дошлый! Откуда берется!» — подумала она и опять принялась пряхь. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол. Акулина не пропустила этого.

— Анютка,— крикнула она,— видишь, отец уронил, подними.

¹ Дерзай заблуждаться и мечтать! (нем.)

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок, слезла под стол и достала бумажку.

— Нате, тятенька,— сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

— Сто толкается,— пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

— Я вас! — проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

— Три целковых даст,— проговорил Поликей, затыкая бутылку,— вылечу лошадь. Еще дешево,— прибавил он.— Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок, с сургучом вместо мундштука, и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла, не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховая* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка, так звали девочку, всегда летала, как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались, как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, по три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

— Барыня велела Поликее Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни, о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколовна велела... (опять вздох) сею минутою притить.

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликея, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупку ореха, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обычною быстротой замотались поперек линии ее бега.

Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с печи и подала ему, не глядя на него.

— Ильич, рубаху переменять не станешь?

— Не,— сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко-несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

— Что, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? — раздался голос столярной жены из-за перегородки.

Стоярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней розлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрызнуть словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

— Должно быть, в город за покупками хотят послать,— продолжала она.— Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверочку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, столярной жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, а она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярную жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

— Мамуска, ты меня сплюсила,— проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

— Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! — прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столярной жене, не забывшей еще про утранный щелок.

IV

Прошло полчаса. Ребенок закричал, Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догоравшую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столярной жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

— Ну что? Зачем звала?

— Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело нужно, так кого? Поликушку.

— Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

— К купцу за деньгами велела ехать.

— Деньги везть? — спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

— Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечаньи, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит, вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как Богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу все изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я все могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаблю, что шелковый станет.

— И много денег? — спросила еще Акулина.

— Три полтысячи рублей, — небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

— Когда ехать?

— Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь какую хочешь, зайди в контору и ступай с Богом.

— Слава тебе, Господи! — сказала Акулина, вставая и крестясь. — Помоги тебе Бог, Ильич, — прибавила она шепотом, чтобы не слышали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи. — Ильич, слушай меня, Христом-Богом прошу, как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

— А то пить стану, с такими деньгами ехамши! — фыркнул он. — Уж как там в фортепьян играл кто-то ловко, беда! — прибавил он, помолчав и усмехаясь. — Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там за дверью закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающею хриплой, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Все ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса и случится что-нибудь. «Как будто нельзя все сделать тихо, мирно, без спору, без крику,— думала она,— по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и напал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которою стоял сначала, и, захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре *в коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачили и его бы сравняли с двойниками в общий жеребий, и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова; но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, все время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговаривал погромче, и опять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный; был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходках, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен и со всей высоты своего роста,

всею силой своего звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четвероугольною головою и курчавою бородкою, коренастый Гараська Копылов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой, длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна, один с добродушнойею рожей и окладистою русою бородою, Храпков, все приговаривавший: «друг ты мой любезный», и другой, маленький, с птичьєю рожией, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «выходит, братцы мои», обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, Бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шепотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладывать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянцевиным лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов походил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не метались, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но не годен в рекруты; третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывая на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

— Так-то и мой дед в солдатах был,— говорил Резун,— так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрали, а его дядя еще домой не приходил.

— У тебя ни отец, ни дядя царю не служили,— в одно и то же время говорил Дутлов,— да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделались. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он небось там и помер. Судите по правде, по-Божьему, мир православный, а не так, что пьяный сбредет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

— Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

— То-то господа отдают, кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот те и закон,— сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: «Вот так так!» — и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.

— И точно, мир православный,— говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова,— надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

— Надо по совести судить, друг ты мой любезный,— говорил добродушный Храпков, повторяя слова Копылова и дергая Дутлова за тулуп,— на то господская воля была, а не мирское решение.

— Верно! Вон оно что! — говорили другие.

— Кто пьяный бредет? — возражал Резун.— Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что, братцы, надо решенье сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

— Дутлову идти! Что говорить!

— Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать,— заговорили голоса.

— Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели,— сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро он опять загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбিরали по дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и все мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе и стал спрашивать:

— Кто украл?

— Ты украл,— смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

— Кто украл? не ты ли? — кричал Резун.

— Нет, ты! — кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденной лошади, до мешка с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов-старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят»,— а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделались. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать статью.

— Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить вконец? — слышались голоса деленых, и болтуны пристали к этим голосам.

— А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! — сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков.

— Ты мои деньги сосчитал, видно,— проговорил он злобно.— Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и, по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, понемногу, затихали голоса и наконец совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет

говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командующем над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

— Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей не угодно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему два с половиной, да половина вперед пойдет. Все равно: не нынче, так в другой раз.

— Известно! Это дело! — сказали голоса.

— По моему суждению, — продолжал Егор Михайлович, — Хорюшкину и Митюхиному Васье идти, это уж сам Бог велел.

— Так точно, верно, — сказали голоса.

— Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

— Дутлову, — заговорили голоса, — Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу — начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора веретей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

— Мой, что ль? Покажь сюда, — сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принести к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что все кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходявших. Когда молодежь Дутловы прошли за угол, он подошел к себе старика, который сам остановился, и вошел с ним в контору.

— Жалко мне тебя, старик, — сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом, — на тебе черед. Не купишь за племянника или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

— Не миновать, — ответил Егор Михайлович на его взгляд.

— И ради бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

— Эх, старый, не греши!— сказал он,— а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенки. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

— В губерни? — спросил Дутлов, под *губерней* разумея город.

— Что ж, купишь?

— И рад бы, вот перед Богом, да...

Егор Михайлович строго перервал его:

— Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришлю, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели что, избави Бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

— Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно,— сказал он, помолчав,— как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? — заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

— Ну, ступай, ступай,— сказал Егор Михайлович,— ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.

VII

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигера» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик ездил), запряженная ширококостым гнедым меринном, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другою придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В угле происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время истряпню в печи, и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери,— Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во-первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей на голову,

все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе — той иглою, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку, и сахарцу столяровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальной иглой дыру, хоть сапоги со стельками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана,— кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти все одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и *тухли*, и, убравшись, сел в телегу, запахнул, поправил сено, еще раз запахнул, разобрал вожжи, еще плотнее запахнул, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «плокатили и сто ей тепло и без субли», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своею слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели босиком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них и вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятился.

Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа изредка принимались стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликея. Несмотря на то, Ильич был погружен в приятные мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже, он едет теперь получать *сумму* денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем,

ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всякий знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременной упряжкой ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, съта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошита тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликее, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет холопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, ни от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублей. Но Ильич так не думал, он заблуждался, и приятно заблуждался. Три полтысячи рублей повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда Бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поравнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то, что у него были деньги, данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провел тележку, отпрёг, приставил к сену лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликее, прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, шапками, ситцами и съестным. И постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу все купить, да вот не сделаю. Он прошел на базар купить, что ему велено было, забрал все и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликее, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее и наконец со вздохом снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублей уступил»,— сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напоив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного

дворника прочесть адрес и слова: «Со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич все это осмотрел и заучил и даже потрогал острые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и щупал конверт. И всякий раз, находя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно,— так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

VIII

Около полуночи и купцовы работники, и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи, стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

— Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? — спросил староста.

— Ужинать,— отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке.— Посылай за водкой.

— Будет те водки-то,— отвечал староста мельком и снова обратился к другим:— Так хлебца закусите, ребята. Что народ будить?

— Водки дай,— повторил Илья, ни на кого не глядя, и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебushка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка все повторял: «Водки дай, я говорю, подай». Вдруг он увидел Поликея.

— Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты уекли. Поставь водки.

— Денег нет,— отвечал Поликей.— Еще, Бог даст, затылок,— прибавил Поликей, утешая.

— Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился:

— Нет, Ильич, теперь кончено, и сам не хочу оставаться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко; как убивалась сердешная! Да и хозяйку: так, ни за что погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.

— Да что же вас так рано привезли? — спросил Поликей. — То ничего не слыхать было, а то вдруг...

— Вишь, боятся, чтоб я над собой чего не сделал, — отвечал Илюшка, улыбаясь. — Небось, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили? — говорил он тихо и грустно.

Дверь открылась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

— Афанасий, — сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику, — нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк аккуратно подпоясан; точно он с обозом приехал: так обычно просто, мирно и озабочено хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

— Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

— Какое теперь вино? — отвечал староста, хлебая из чашки. — Видишь, люди поели да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

— Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

— Хоть бы ты его урезонил, — обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса, с соболезнаванием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

— Вина дай, беду наделаю.

— Брось, Илья! — сказал староста кротко, — право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

— Не хотите слушать, вот вам! — и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясался, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, казалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатыми кулаками к Дутлову.

— Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты с своими сыновьями-разбойниками, ты загубил меня. Зачем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; все его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него.

— Братнину кровь пьешь, кровопийца!

Что-то сверкнуло на вечно спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед.

— Не хотел добром,— проговорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки. Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился,— встал сам, потом поднял Илью, с связанными назад руками, и посадил его на лавку в углу.

— Говорил, хуже будет,— сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясок рубахи,— что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк,— прибавил он, обращаясь к дворнику,— а то голова затечет,— и сам взял фонарь, подпоясался веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутой рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекол и утыкал в окно полшубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

— Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшкин, тоже женатый; не миновать, видно.

— От злодея дяди погибаю,— повторил Илья с сухой злобой.— Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?.. Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

— Разе не жалко? Брата родного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним изделали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малого-то!..

— Ох, малый хорош! — сказал староста.

— Да мочи моей с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

— Присылай-ка, ладно,— сказал староста, встал и полез на печку.— Что деньги? Деньги прах.

— Были бы деньги, кто бы пожалел? — проговорил купеческий работник, поднимая голову.

— Эх, деньги, деньги! Много греха от них,— отозвался Дутлов.— Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в Писании сказано.

— Все сказано,— повторил дворник.— Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил, что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собою в гроб положить. Не догадались так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что, должно, в подушке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно что деньги-то делают.

— Известно, греха много,— сказал Дутлов, встал и начал молиться Богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

IX

Как только все затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уж перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запрѣг его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то все почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его да наместо Ильи скрутят ему назад руки и завтра поведут в ставку. Не то от холода, не то от страха мороз пробежал у него по спине, и он все потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога;

Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху? — думал он,— еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху, а вниз из подкладки не выскочит. И сымать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте навынос выскакал в гору, и Поликей, которому так же, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Все было в порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предался мечтаниям о благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радости своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улыбнулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стучаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове; он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигерь», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...», а может и пять, а может и десять целковых, и велит еще чаю поднести ему, а може и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнулся еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрее, еще быстрее, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, шупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

— Батюшки! Да что же это?! Что все это будет! — заревел он, схватив себя за волосы.

Но тут же, вспомнив, что его могут увидеть, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем,— должен был думать Барабан.— Один раз в жизни он накормил и напоил меня вовремя, и лишь для того, чтобы так неприятно обмануть меня. Как я старался

бежать домой! Устал, а тут, только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

— Ну, ты, одер чертовский! — сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом.

Х

Целый этот день никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что, видно, купец задержал или что с лошадей что-нибудь случилось. «Не захромала ли? — говорила она.— Прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя,— но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столярова жена уверяла, как она сама видела: «Человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность хоть поочередно выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома, в одних платьях, делать круги с усиленною быстротой, чем немало стесняли всех жителей *флигера*, входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столяровой жены, несшей воду, и хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «Не приезжал ли Поликей и где он может быть?» — улыбнулся, отвечая: «Не могу знать»,— и видимо был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать»,— сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поликея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «Не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги, подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал,— говорил этот человек,— что пьяный, и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина не спала всю ночь, все прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи и столярова жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлеба вы-

нуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принести и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея все не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издалека было и слышно и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печеньем лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом розовом ситцевом, немытом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и кололо глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком. «Тятенька плиехали»,— завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю!» — и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разоб-
брать.

— Что, Ильич, благополучно? — спросила она от печи.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

— Ась? — крикнула она.— Был у барыни?

Ильич в своем угле сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

— А, Ильич? Что долго? — раздался голос Акулины.

— Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарила! — сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; но тут Акулина, с лепешками на доске, вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

— Что ты, Ильич, как будто не по себе? — сказала Акулина.

— Не спал,— отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновенье, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

— Барыня велела Поликею Ильичу прийти сею минутою,— сказала она.— Сею минутою велела Авдотья Миколавна... сею минутою.

Поликей посмотрел на Акулину, на девочку.

— Сейчас! Чего еще надо? — сказал он так просто, что Акулина успокоилась: может, наградить хочет.— Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, поставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и попробовала воду.

— Иди, Машка, вымою.

Сердитая сюсюкающая девочка заревела.

— Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну, ломайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликей между тем пошел не за верховою девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице.

— Что-то такое значит, что Поликей не приходит,— сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дуняше, которая чесала ей голову,— где Поликей? Отчего он не идет?

Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы и потребовала Ильича к барыне.

— Да он пошел давно,— отвечала Акулина, которая, вымыв Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосики. Мальчик кричал, морщился и старался поймать что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукою его пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку, а другою мыла его.

— Посмотри, не заснул ли он где,— сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесаная, с распахнутою грудью, поддерживая юбки, входила на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом, и скорее кбтом, чем бегом, слетела с лестницы.

— Ильич! — крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

— Удавился! — проревела столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек, перекатился навзничь и, задрвав ножонки, головой окунулся в воду, выбежала в сени.

— На балке... висит,— проговорила столярова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убилась бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее.

XI

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столяр и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столярова жена в двадцатый раз рассказала, «как она, ничего не думавши, пошла за пелеринкой, глянула этаким манером: вижу, человек стоит, посмотрела: шапка подле вывернута лежит. Глядь, а ноги качаются. Так меня холодом и обдало. Легко ли, повесился человек, и я это видеть должна! Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня Бог спас. Истинно, Господь помиловал. Легко ли! И кручь, и высота какая! Так бы до смерти и убилась».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубаше и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывернутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подле. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина пришла в себя и рванулась опять на лестницу; но ее не пустили.

— Мамуска, Семка захлебнулся,— вдруг запищала сюсюкающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребенок, не шевелясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеявшаяся, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валил в угол с воем и плачем. Ребенка вынесли, стали оттирать; но все было напрасно. Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только теперь, увидав эту разнородную толпу женщин, стариков, детей, столпившихся в сенях, можно было понять, какая бездна и какой народ жил в дворовом *флигере*. Все суетились, все говорили, многие плакали, и никто ничего не делал. Столярова жена все еще находила людей, не слыхавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чувства были поражены неожиданным видом и как Бог спас ее от падения с лестницы. Старичок буфетчик, в женской кацавейке, рассказывал, как при покойном барине женщина в пруду утопилась. Приказчик отправил к становому и к священнику послов и назначил караул. Верховая девушка Аксютка с выкаченными глазами все смотрела в дыру на чердак и, хотя ничего там не

видала, не могла оторваться и пойти к барыне. Агафья Михайловна, бывшая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своими практичными, пухлыми и пропитанными деревянным маслом руками укладывала маленького покойника на столик. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взглядывали на мать и принимались реветь, потом замолкали, опять взглядывали и еще пуще жались. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами смотрели в двери и в окна, ничего не видя и не понимая и спрашивая друг у друга, в чем дело. Один говорил, что столяр своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что прачка родила тройню. Третий говорил, что поварова кошка взбесилась и перекусала народ. Но истина понемногу распространялась и наконец достигла ушей барыни. И кажется, даже не сумели приготовить ее: грубый Егор прямо доложил ей и так расстроил нервы барыни, что она долго после не могла оправиться. Толпа уже начала успокоиваться; столярова жена поставила самовар и заварила чай, причем посторонние, не получая приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело, и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «Барыня, барыня!» — и все опять столпились и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хотели видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол. Десятки голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она запищала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выгадала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых все равно что бенгальский огонь в конце представления. Уж значит хорошо, коли бенгальский огонь зажгли, и уж значит хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла ее за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

— Акулина! — сказала барыня. — У тебя дети, пожалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

— У меня дети всё серебряные, всё серебряные... Я бумажек не держу, — забормотала она скороговоркой. — Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вот тебя и подмазали, подмазали дегтем. Дегтем с мылом, сударыня. Какие бы парши ни были, сейчас соскочут. — И опять она захохотала еще пуще.

Барыня обернулась и потребовала фершела с горчицей. «Воды холодной дайте», — и она стала сама искать воды; но увидав мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было все это сделано) прикрыла ребенка кусочком холста,

поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не видала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней сделалась нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было»,— подумали многие и стали расходиться. Акулина все хохотала и говорила вздор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горчичниками, льду приложили к голове; но она все так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухаживали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

XII

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; девки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонию, ни в балалайки и с девушками не играли. Все сидели по углам, и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем все еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завывли собаки, и тут же, на беду, поднялся ветер и завывал в трубы, и такой страх нашел на всех жителей дворни, что у кого были свечи, те зажгли их перед образом; кто был один *в угле*, пошел к соседям проситься ночевать, где полуднее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожалел оставить скотину без корму на эту ночь. И святую воду, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то все ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец видел, как змей летел прямо на чердак. В Поликеевом *угле* никого не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал, да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь, не над младенцем, а так, по случаю всего этого несчастья. Так пожелала барыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застнет кто-то. Прочтут: «Да воскреснет Бог»,— опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запасла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях, на сене, и потом уверяли, что слышали тоже чудеса на чердаке, хотя в самую эту ночь препокорно беседовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чесались и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что столярова жена, проходя мимо их, сплюнула и обругала их мужичьем. Как бы то ни было, удушенный все висел на чердаке, и как

будто сам злой дух осенил в эту ночь *флигеря* огромным крылом, показав свою власть и ближе, чем когда-либо, став к этим людям. По крайней мере, все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знамением, вошел на чердак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столяровой женою пелеринки,— добрался до Ильича, и ежели бы, не поддавшись чувству страха, поднял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худощавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшееся набок, с расстегнутым воротом рубахи, под которою не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, невидящими глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столярова жена, прижавшись в углу своей кровати, с растрепанными волосами и испуганными глазами, рассказывающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верху*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флигере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Дуняша грела желтый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до нездоровья. К Дуняше для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

— Кто же за маслом пойдет? — сказала Дуняша.

— Ни за что, Авдотья Миколавна, не пойду,— решительно отвечала вторая девушка.

— Полно; с Аксюткой вместе поди.

— Я одна сбегаяю, я ничего не боюсь,— сказала Аксютка, но тут же заробела.

— Ну поди, умница, спроси у бабушки Анны, в стакане, и принеси не расплескай,— сказала ей Дуняша.

Аксютка подобрала одною рукой подол, и хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, замахала одною вдвое сильнее, поперек линии своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что, ежели бы она увидала или услышала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой тропинке.

XIII

«Барыня спит али нет?» — спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкий голос. Она открыла глаза, которые прежде были зажмурены, и увидала чью-то фигуру, которая, показалось ей, была выше *флигеря*; она взвизгнула и понеслась назад, так что ее юбка не по-

спевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим в девичьей и с диким воплем бросилась на постель. Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и нерешительные шаги послышались в сенях и у двери. Дуняша бросилась к барыне, уронив спуск; вторая горничная спряталась за юбки, висевшие на стене; тетка, более решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату. Это был Дутлов в своих лодках. Не обращая внимания на страх девушек, он искал глазами иконы и, не найдя маленького образа, висевшего в левом углу, перекрестился на шкафчик с чашками, положил шапку на окно и, засунув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Дуняшина тетка схватила за грудь... Насилу она выговорила:

— Перепугал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

— Можно ли так? — проговорила вторая девушка, высовываясь из-за юбок.

— И барыню даже встревожили, — сказала Дуняша, выходя из двери, — что лезешь на девичье крыльцо не спросимши? Настоящий мужик!

Дутлов, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

— Она нездорова, — сказала Дуняша.

В это время Аксютка фыркнула таким неприлично-громким смехом, что опять должна была спрятать голову в подушки постели, из которых она целый час, несмотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепугались, — и она опять прятала голову и, будто в конвульсиях, елозила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но не разобрав, в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

— Значит, как есть, очень важное дело, — сказал он, — только скажите, что мужик письмо с деньгами нашел.

— Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и расспросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезти из города. Разузнав все подробно и вытолкнув в сени бегунью, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к удивлению Дутлова, барыня все-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

— Ничего не знаю и не хочу знать, — сказала барыня, — какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

— Что же я буду делать? — сказал Дутлов, поворачивая конверт.— Деньги не маленькие. Написано-то что на них? — спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто все что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще. Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

— Видно, становому отдать,— сказал он.

— Постой, я еще попытаюсь, скажу,— остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика.— Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

— Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.

— Да дай сюда.

— Я было думал, так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.

— Да давай же.

— Я и не посмел домой заходить для того...— опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом,— так и доложите.

Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне.

— Ах, Боже мой, Дуняша! — сказала барыня укорительным голосом,— не говори мне про эти деньги. Как я вспомню только этого малюточку...

— Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать,— опять сказала Дуняша.

Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, и задумалась.

— Страшные деньги, сколько зла они делают! — сказала она.

— Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему идти или изволите выйти к нему? Целы ли еще деньги-то? — спросила Дуняша.

— Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Что они наделали! Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет,— сказала вдруг барыня, отталкивая руку Дуняши.— Да, да, да,— повторила барыня удивленной Дуняше,— пускай совсем возьмет себе и делает что хочет.

— Полторы тысячи рублей,— заметила Дуняша, слегка улыбаясь, как с ребенком.

— Пускай возьмет все,— нетерпеливо повторила барыня.— Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!

Дуняша вышла в девичью.

— Все ли? — спросил Дутлов.

— Да уж ты сам сосчитай,— сказала Дуняша, подавая ему конверт,— тебе велено отдать.

Дутлов положил шапку под мышку и, пригнувшись, стал считать.

— Счетов нету?

Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.

— Дома сосчитаешь! Тебе! твои деньги! — сказала Дуняша сердито.— Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.

Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.

Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.

— Матушки родимые! Вот дал Бог счастья! Матушки родные!

Вторая горничная не поверила:

— Что вы, Авдотья Николавна, шутите?

— Вот те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги да и ступай,— сказала Дуняша, не скрывая досады.— Кому горе, а кому счастье.

— Шутка ли, полторы тысячи рублей,— сказала тетка.

— Больше,— подтвердила Дуняша.— Ну, свечку поставишь десятикопеечную Миколу,— говорила Дуняша насмешливо.— Что, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.

Дутлов наконец понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он все взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.

— Вишь, не опомнится — рад,— сказала Дуняша, показывая, что она все-таки презирает и мужика, и деньги.— Дай я тебе уложу.

И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку.

— Рад?

— И не знаю что сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнулся, чуть не заплакал и вышел.

Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

— Что, отдала?

— Отдала.

— Что же, очень рад?

— Совсем как сумасшедший стал.

— Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

Дуняша побежала и застала мужика в сенях. Он, не надевая шапки, вытянул кошель и, перегнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошеле, они не его. Когда Дуняша позвала его, он испугался.

— Что, Авдотья... Авдотья Миколавна. Али назад отобрать хочет? Хоть бы вы заступились, ей-богу, а я медку вам принесу.

— То-то! Приносил.

Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то, как по высокой траве, подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и все представлялось ему в тумане.

— Это ты, Дутлов?

— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал,— сказал он.— Я не рад, как перед Богом! Как лошадь замучил...

— Ну, твое счастье,— сказала она с презрительно-доброю улыбкой.— Возьми, возьми себе.

Он только таращил глаза.

— Я рада, что тебе досталось. Дай Бог, чтобы впрок пошло! Что же, ты рад?

— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Все за вас Богу молить буду. Я уж так рад, что слава Богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

— Как же ты нашел?

— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

— Уж он совсем запутался, сударыня,— сказала Дуняша.

— Возил рекрута-племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

— Ну ступай, ступай, голубчик. Я рада.

— Так рад, матушка!..— говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись, как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насили удерживался, чтобы не побежать рысью. А то все казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут...

XIV

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный, колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.

— А, дядя Семен,— радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, свезли рекрутов, дядюшка?

— Свезли. Ты что?

— Да тут Ильича удушенного караулить поставили.

— А он где?

— Вот, на чердаке, говорят, висит,— отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидел, поморщился, прищурился и покачал головой.

— Становой приехал,— сказал Ефимка,— сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дядюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велют идти наверх. Хоть до смерти убей меня Егор Михалыч, не пойду.

— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов, видимо, для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел идти своею дорогой. Но голос Егора Михайловича остановил его.

— Эй, караульщик, поди сюда,— кричал Егор Михайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

— Да кто еще там с тобой мужик стоял?

— Дутлов.

— И ты, Семен, иди.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фонаря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

— Вот и старик с нами пойдет,— сказал Егор Михайлович, увидав его.

Старика покорило; но делать было нечего.

— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благородию пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах, и был только что жестоко распечен исправником за пьянство, и потому теперь был в припадке усердия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедленно осмотреть удушенника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Егора Михалыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подробностях.

«Ну, пропали деньги»,— подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.

— Вот счастье сиволапому! — сказал он.

— Ему на руку,— сказал Егор Михайлович,— он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.

— А! — сказал становой и пошел вперед.

— Выкупишь, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.

— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь, и не время.

— Как знаешь,— сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.

— Где? — спросил становой.

— Здесь,— шепотом сказал Егор Михайлович.— Ефимка,— прибавил он,— ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он с веселым лицом полез вперед, только оглядываясь и освещая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив уж одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

— Дядя! тебя зовет! — крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частию за балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Поликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

— Поверни-ка его, ребята,— сказал становой.

Никто не тронулся.

— Ефимка, ты малый молодой,— сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через балку и, перевернув Ильича, стал подле, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку, и готовый исполнить все желания зрителей.

— Еще поверни.

Ильич еще повернулся, замахал слегка руками и поволок ногой по песку.

— Берись, снимай.

— Отрубить прикажете, Василий Борисович? — сказал Егор Михайлович.— Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раза два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей тушей. Наконец отрубили веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра приедет лекарь, и отпустил народ.

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но, по мере того как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внуки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грязной, непраздничной рубаше, простоволосая, сидела на лавке и выла. Она не вышла отворить дяде, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то, что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собрала ужинать мужу. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» — сказал он. Аксинья встала и, прилегши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помолившись Богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со старухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами, наконец стукнул крышкой сундука и полез в подполье. Долго возился он в чулане и в подполье. Когда он вошел, в избе уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная, уже завалилась на полати и храпела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полез на печку и лег рядом с мальчиком-внучком. В темноте он покидал сверху лапти и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислушиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, храпенью, чесанью нога об ногу и к звукам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Аксинью и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые он употребил на пагубу Ильича. По крайней мере, Дутлов чувствовал его тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиньи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна. «Что это, или уж староста по-

вещать идет?» — подумал он. «Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях.— Или старуха не заложила, как выходила в сенцы?» Собака завyla на задворке, а он шел по сеням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять он стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был он. Он хотел сотворить крест, но не мог. Он подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик узнал, что он был в Ильичовом образе. Он оскалился, руки болтались. Он взлез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги,— выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду,— хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его всю тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что, ежели он прочтет молитву, он отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и заплакал: дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет Бог»,— проговорил Дутлов. Он отпустил немного. «И расточатся врази...» — шамкал Дутлов. Он сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул он обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал все подряд. Он пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверью, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Все опять затихло. Дед лежал не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. Он слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал прокричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она спрыгнула на мягкие лапки с печки наземь и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что *хозяин* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял его на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят,— сказал он,— в город поеду»,— и, зажегши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел оттуда. Ребята встали и уже сбирались. Бабы входили и выходили с ведрами и с шайками молока. Игнат запрягал телегу. Второй сын мазал другую. Молодайка уже не выла, но, убравшись и повязавшись платком, сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не сказал ни одного слова, надел новый кафтан, подпоясался и со всеми Ильичовыми деньгами за пазухой пошел к Егору Михайловичу.

— Ты у меня копейся! — крикнул он на Игната, вертевшего колеса на поднятой и смазанной оси.— Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик, только что встав, пил чай и сам собирался в город ставить рекрут.

— Что ты? — спросил он.

— Я, Егор Михалыч, малого выкупить хочу. Уж сделайте милость. Вы намедни говорили, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

— Что ж, передумал?

— Передумал, Егор Михалыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, все жалко. Греха от них много, от денег от этих. Уж сделай милость научи,— говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях, глубокомысленно и молча чмокал долго губами и, обсудив дело, написал две записки и рассказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодая уже уехала с Игнатом, и чалая брюхастая кобыла, совсем запряженная, стояла под воротами. Он выломил хворостину из забора; запахнувшись, уселся в ящик и погнал лошадь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало все брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты и чертовы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех походов Дутлова в это утро; скажу только, что ему особенно посчастливилось. У хозяина, которому Егор Михайлович дал записку, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в Палате. Хозяин хотел взять за него четыреста, а покупатель, мещанин, ходивший уже третью неделю, все просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с двух слов. «Триста с четвертною возьмешь?» — сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще надбавить. Хозяин оттягивал руку и продолжал просить четыреста. «Не возьмешь с четвертной?» — повторил Дутлов, схватывая левою рукой правую руку хозяина и угрожая хлопнуть по ней своею правою. «Не возьмешь? Ну, Бог с тобой!» — вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. «Видно, так и быть! Бери с полсотней. Выправляй фитанец. Веди малого-то. А теперь на задатку. Две красненьких будет, что ль?»

И Дутлов распоясывался и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но все еще как будто бы не совсем соглашался и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и угощение охотнику.

— Не грехи,— повторял Дутлов, суя ему деньги,— умирать будем,— повторял он таким кротким, поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

— Нечего делать,— еще раз ударил по руке и стал молиться Богу.— Дай Бог час,— сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был весел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заробел только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик, хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, кого-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубокомысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда окончить дело нынче была оставлена и охотник начинал было опять становиться веселее и развязнее, как Дутлов увидел Егора Михайловича, тотчас же вцепился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общею почему-то веселостью, начиная от сторожей до председателя, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять минут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, простившись с хозяином и охотником, пошел на квартиру к купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодойкой сидели в углу купцовой кухни, и, как только вошел старик, они перестали говорить и устались на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда, старик помолился Богу, распоясался, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшкину мать, которая была на дворе.

— Ты не грехи, Илюха,— сказал он, подходя к племяннику.— Вечер ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалею? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал счастья, я не пожалел. Вот она, бумага-то,— сказал он, кладя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кривыми, неразгибающимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купцовы работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

— Вот она, бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная что сказать. Губы его вздрагивали от волнения; старуха мать подошла было к нему, всхлипывая,

и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее рукою и продолжал говорить.

— Ты мне вчера одно слово сказал,— повторил еще раз старик,— ты меня этим словом как ножом в сердце пырнул. Твой отец мне тебя, умираючи, приказывал, ты мне вместо сына родного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные? — обратился он к стоявшим вокруг мужикам.— Вот и матушка твоя родная тут, и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, с деньгами! А меня простите, Христа ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не прежде как дотронувшись головою до земли, он встал и, отряхнувшись, сел на лавку. Илюшкина мать и молодайка выли от радости; в толпе слышались голоса одобрения. «По правде, по-Божьему, так-то»,— говорил один. «Что деньги? За деньги мало-го не купишь»,— говорил другой. «Радость-то какая,— говорил третий,— справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалою кобылой с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки котелок и калачи. Во второй телеге, которою никто не правил, степенно и счастливо сидели молодайка с свекровью, обвязанные платочками. Молодайка держала под занавеской штофчик. Илюшка, скорчившись, задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трёсся на передке, закусывая калачом и не переставая разговаривать. И голоса, и гром телег по мостовой, и пофыркиванье лошадей — все сливалось в один веселый звук. Лошади, помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балалайку; другой, без шапки, со штофом водки в одной руке, плясал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плясавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, но чувствовал, что дивившаяся на него публика все увеличивается, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрее становить одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал балалаечнику, и тот еще бойчее начинал дребезжать всеми струнами и даже

постукивать по крышке костяшками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он все, казалось, плясал. Вдруг он начинал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг взвивался кверху, с разлету садился на корточки и с диким визгом гускался вприсядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужчины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле пляшущего с видом, говорившим: «Вам это в диковинку, а нам уж все это коротко знакомо». Балалаечник, видимо, устал, лениво оглянулся, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

— Эй! Алеха! — сказал балалаечник плясавшему, указывая на Дутлова.— Вон крестный-то!

— Где? Друг ты мой любезный! — закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падая наперед и подымая над головою штоф водки, подвинулся к телеге.

— Мишка! Стакан! — закричал он.— Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-то, право!..— вскричал он, заваливаясь пьяною головою в телегу, и начал угощать мужиков и баб водкою. Мужики выпили, бабы отказывались.— Родные вы мои, чем мне вас одарить? — восклицал Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидал ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

— Небось, заплачу-у-у, черт! — завопил он плачущим голосом и тут же, вытащив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

— Матушка-то которая? — спросил он.— Ты, что ль? И ей пожертвую.

Он задумался на мгновение и полез в карман, достал новый сложенный платок, полотенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красный платок, скомкал все и сунул в колени старухе.

— На́ тебе, жертвую,— сказал он голосом, который становился все тише и тише.

— Зачем? Спасибо, родный! Вишь, прбстый малый какой,— говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подошедшему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовелый, как будто засыпая, поникал все ниже и ниже головой.

— За вас иду, за вас погибаю! — проговорил он.— За то вас и дарую.

— Я чай, тоже матушка есть,— сказал кто-то из толпы.— Прбстый малый какой! Беда!

Алеха поднял голову.

— Матушка есть,— сказал он.— Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая,— прибавил он, хватая

Илюшкину старуху за руку.— Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Никонову, она самая моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, колодезь новый... скажи ты ей, что Алеха, сын твой... значит... Музыкан! Валяй! — крикнул он.

И он опять стал плясать, приговаривая, и швырнул об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

— Прощай, дай Бог тебе!..— проговорила старуха, запахивая шубу.

Алеха вдруг остановился.

— Поезжайте вы к дьяволу,— закричал он, угрожая стиснутыми кулаками.— Чтоб твоей матери...

— Ох, Господи! — проговорила, крестясь, Илюшкина мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали. Алексей-рекрут стоял посредине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что было мочи.

— Что стали? Пошел! Дьяволы, людоеды! — кричал он.— Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял, со всех ног ударился оземь.

Скоро Дутловы выехали в поле и, оглядываясь, уже не видали толпы рекрут. Проехав верст пять шагом, Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул старик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Вдвоем выпили они штофчик, взятый из города. Немного погодя Илья запел песни, бабы подтянули ему. Игнат весело покрикивал на лошадей в лад песни. Быстро навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко крикнул на лошадей, поравнявшись с двумя веселыми телегами; почтальон оглянулся и подмигнул на красные лица мужиков и баб, с веселою песней трясшихся в телеге.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ДЕКАБРИСТЫ

Роман

Глава I

Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время — время цивилизации, прогресса, *вопросов*, возрождения России и т. д., и т. д. В то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги. Это было в то время, когда Россия в лице дальновидных девственников-политиков оплакивала разрушение мечтаний о молебне в Софийском соборе и чувствительнейшую для отечества потерю двух великих людей, погибших во время войны (одного, увлекшегося желанием как можно скорее отслужить молебен в упомянутом соборе и павшего в полях Валахии, но зато и оставившего в тех же полях два эскадрона гусар, и другого, неоцененного человека, раздававшего чай, чужие деньги и простыни раненым и не кравшего ни того, ни другого); то время, когда со всех сторон, во всех отраслях человеческой деятельности, в России, как грибы, выростали великие люди — полководцы, администраторы, экономисты, писатели, ораторы и просто великие люди, без особого призвания и цели. В то время, когда на юбилее московского актера упроченное тостом явилось общественное мнение, начавшее карать всех преступников; когда грозные комиссии из Петербурга поскакали на юг ловить, обличать и казнить комиссариатских злодеев; когда во всех городах задавали с речами обеды севастопольским героям и им же, с оторванными руками и ногами, подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах. В то время, когда ораторские таланты так быстро развились в народе, что один целовальник везде и при всяком случае писал и печатал и наизусть сказывал на обедах речи, столь сильные, что блюстители порядка должны были вообще принять укро-

тительные меры против красноречия целовальника; когда в самом Аглицком клубе отвели особую комнату для обсуждения общественных дел; когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами: журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерцанием; когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и «Звезда», и «Орел» и много других, и несмотря на то, все являлись еще новые и новые названия; в то время, когда появились плеяды писателей-мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей-художников, описавших рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников; в то время, когда со всех сторон появились *вопросы* (как называли в пятьдесят шестом году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эманципационный и много других. Все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их, писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неопisanном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в двенадцатом году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в пятьдесят шестом году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное время возрождения русского народа!!! Как тот француз, который говорил, что тот не жил вовсе, кто не жил в Великую французскую революцию, так и я смею сказать, что, кто не жил в пятьдесят шестом году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретенное ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и, для того чтоб узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования. Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое, незабвенное время. Но не в том дело.

В это самое время два возка и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы. Молодой человек вбежал в двери узнать о квартире. Старик сидел в возке с двумя дамами и говорил о том, каков был Кузнецкий мост при французе. Это было продолжение разговора, начавшегося при въезде в Москву, и теперь старик с белой бородой, в распахнутой шубе, спокойно продолжал свою беседу в возке так, как будто он намеревался ночевать в нем. Жена и дочь слушали, но поглядывали на дверь не без нетерпения. Молодой человек вышел из двери с швейцаром и нумерным.

— Ну что, Сергей? — спросила мать, выставя на свет фонаря свое изнуренное лицо.

Потому ли, что это была его привычка, или для того, чтоб швейцар не принял его по полушубку за лакея, Сергей ответил по-французски, что есть комнаты, и отворил дверцы. Старик взглянул на мгновение на сына и снова обратился в темную глубь возка, как будто остальное до него не касалось:

— Театра еще не было.

— Пьер! — сказала жена, подбирая салон, но он продолжал:

— Madame Шальме была на Тверской...

В глубине возка раздался молодой, звонкий смех.

— Папа, выходи — ты так заговорился.

Старик как будто теперь только хватился, что они приехали, и оглянулся.

— Выходи же.

Он надвинул шапку и покорно полез из двери. Швейцар принял его под руку, но убедившись, что старик еще очень хорошо ходит, он тотчас же предложил свои услуги даме. Наталья Николаевна, жена, и по собольему салопу, и по тому, как долго вылезала, и по тому, как тяжело легла ему на руку, и по тому, как прямо, не оглядываясь, опершись на руку сына, пошла на крыльцо, показала ему очень значительной. Барышню от девушек, которые повывезли из другого возка, он даже не отличил: так же, как и они, она несла узелок и трубку и шла сзади. Только по смеху и тому, что она назвала старика отцом, он узнал ее.

— Не туда, папа, направо,— сказала она, останавливая его за рукав тулупа.— Направо.

И на лестнице из-за стука шагов, дверей и тяжелого дыхания пожилой дамы раздался тот же смех, который слышался в возке и который, когда кто слышал, непременно думал: вот славно смеется, завидно даже.

Сын Сергей занимался устройством всех матерьяльных условий в дороге, и занимался этим хотя и без знания, но с свойственной двадцати пяти годам энергией и самоудовлетворяющей деятельностью. Раз двадцать, по крайней мере, и, кажется, без особенно важных причин он в одном пальто сбежал вниз к саням и вбежал опять наверх, подрагивая от холода и через две и три ступеньки шагая

своими молодыми длинными ногами. Наталья Николаевна просила его не простудиться, но он уверял, что ничего, и все отдавал приказания, хлопал дверьми, ходил, и когда, казалось, уж дело стояло за одними слугами и мужиками, он несколько раз обошел все комнаты, выходя из гостиной в одну дверь и входя в другую, и все отыскивал, что бы еще сделать.

— Что ж, папа, поедешь в баню? Узнать? — спросил он.

Папа находился в задумчивости, и казалось, вовсе не отдавал себе отчета в том, где он находился. Он не скоро ответил. Он слышал слова и не понимал. Вдруг он понял.

— Да, да, да; узнай, пожалуйста, у Каменного моста.

Глава семейства торопливым, взволнованным шагом обошел комнаты и сел на кресла.

— Ну, теперь надо решить, что делать, устроиться,— сказал он.— Помогайте, дети, живо! молодцами! таскайте, устанавливайте, а завтра пошлем записочку и Сережу к сестре Марье Ивановне, к Никитиным, или сами поедем. Так, Наташа? А теперь устроиться.

— Завтра воскресенье; надеюсь, прежде всего ты поедешь к обедне, Риегге? — сказала жена, на коленях стоя перед сундуком и отпирая его.

— И то, воскресенье! Непременно все поедем в Успенский собор. Этим начнется наше возвращение. Боже мой! Когда я вспомню тот день, когда я в последний раз был в Успенском соборе,— помнишь, Наташа? Но не в том дело.

И глава семейства быстро встал с кресла, на которое только что сел.

— А теперь надо устроиться.

И он, ничего не делая, ходил из одной комнаты в другую.

— Что ж, будем чай пить? или устала, хочешь отдохнуть?

— Да, да,— отвечала жена, доставая что-то из сундука,— ведь ты хотел в баню.

— Да... в мое время были у Каменного моста. Сережа, поди же узнай, есть ли еще бани у Каменного моста. Вот эту комнату займу я с Сережей. Сережа! хорошо тебе тут будет?

Но Сережа пошел узнать о банях.

— Нет, все нехорошо,— продолжал он,— у тебя не будет хода прямо в гостиную. Как ты думаешь, Наташа?

— Ты успокойся, Риегге, все это устроится,— отвечала Наташа из другой комнаты, в которую мужики вносили вещи. Но Риегге находился под влиянием восторженного состояния, произведенного приездом на место.

— Ты смотри Сережины вещи не смешай; вот его лыжи бросили в гостиную...— И он сам поднял их и особенно осторожно, как будто от этого зависел весь будущий порядок помещенья, поставил их к притолке и прижал к ней. Но лыжи не приклеились и, только что Риегге отошел от них, с грохотом упали поперек двери. Наталья

Николаевна поморщилась и вздрогнула, но, увидав причину падения, сказала:

— Соня, подними, мой друг.

— Подними, мой друг,— повторил муж,— а я пойду к хозяину; иначе не устроите; надо с ним обо всем переговорить.

— Лучше за ним послать, Pierre. Зачем ты беспокоишься?

Pierre согласился.

— Соня, позови этого, как бишь, Monsieur Cavalier, пожалуйста; скажи, что мы хотим обо всем переговорить.

— Шевалье, папа,— сказала Соня и приготовилась идти.

Наталья Николаевна, которая тихим голосом приказывала и тихими шагами ходила из комнаты в комнату, то с ящиком, то с трубкой, то с подушкой, незаметно расставляла из горы поклажи все на свое место, успела, проходя мимо Сони, шепнуть:

— Не ходи сама, пошли человека.

Покуда человек ходил за хозяином, Pierre употребил свой досуг на то, чтобы, под предлогом содействия своей супруге, смять ей какую-то одежду, и на то, чтобы спотыкнуться на опорожненный ящик. Удержавшись рукой за стену, декабрист с улыбкой оглянулся. Жена, казалось, была так занята, что не заметила; но Соня глядела на него такими смеющимися глазами, что казалось, ожидала позволения посмеяться. Он охотно дал ей это позволение, рассмеявшись сам таким добродушным смехом, что все бывшие в комнате, от жены до девушки и мужика, рассмеялись. Этот смех еще более воодушевил старца; он нашел, что диван в комнате жены и дочери стоит для них неудобно, несмотря на то, что они утверждали противное, прося его успокоиться. В то самое время, как он собственноручно пытался с мужиком перетащить эту мебель, вошел в комнату хозяин-француз.

— Вы меня спрашивали,— сказал хозяин строго и, в доказательство своего ежели не презрения, то равнодушия, достал медленно свой платок, медленно развернул и медленно высморкался.

— Да, мой любезный друг,— сказал Петр Иванович, наступая на него,— вот видите ли, мы сами не знаем, сколько здесь пробудем, я и жена моя...— И Петр Иваныч, имевший слабость в каждом человеке видеть ближнего, начал рассказывать свои обстоятельства и планы.

Г-н Chevalier не разделял такого взгляда на людей и не интересовался сведениями, сообщенными Петром Иванычем; но хороший французский язык, которым говорил Петр Иваныч (французский язык, как известно, есть нечто вроде чина в России), и барские приемы заставили его повысить несколько мнение о новоприезжих.

— Чем могу я служить вам? — спросил он.

Вопрос этот не затруднил Петра Иваныча. Он выразил желанье иметь комнаты, чай, самовар, ужин, обед, пищу для прислуги — одним словом, те вещи, для которых и существуют гостиницы, и

когда г-н Chevalier, удивленный невинностью старичка, полагавшего, должно быть, что он находится в Трухменской степи, или полагавшего, что все эти вещи ему будут отпущены даром, объявил, что все это можно иметь, Петр Иванович пришел в восторженное состояние.

— Вот это прекрасно! очень хорошо! Так мы и устроим! Ну, так пожалуйста...— Но ему стало совестно все говорить о себе, и он стал расспрашивать г-на Chevalier о его семействе и делах. Сергей Петрович, вернувшись в комнату, казалось, не одобрял обращения своего батюшки; он замечал неудовольствие хозяина и напомнил о бане. Но Петр Иванович был заинтересован вопросом о том, как могла французская гостиница идти в Москве в пятьдесят шестом году и как проводила свое время m-me Chevalier. Наконец сам хозяин поклонился и спросил: не прикажут ли чего?

— Будем пить чай, Наташа. Да? Так чаю, пожалуйста, а мы еще поговорим с вами, мой любезный monsieur. Какой славный человек!

— А в баню, папа?

— Ах да, так не надобно чаю.— Так что единственный результат беседы с новоприезжим был отнят у хозяина. Зато Петр Иванович был теперь горд и счастлив своим устройством. Ямщики, пришедшие просить на водку, расстроили его было тем, что у Сережи не было мелочи, и Петр Иванович хотел было опять посылать за хозяином, но счастливая мысль, что не ему одному надо быть веселым этот вечер, вывела его из затруднения. Он взял две трехрублевых бумажки и, вжав в руку одному ямщику одну бумажку, сказал: «Вот вам» (Петр Иванович имел привычку говорить *вы* всем без исключения, кроме членам своего семейства). «А вот вам»,— сказал он, передавая другому ямщику бумажку из ладони в ладонь, вроде того как это делают, платя докторам за визиты.

Обдела все эти дела, его повезли в баню.

Соня, как сидела на диване, подставила руку под голову и засмеялась.

— Ах, как хорошо, мама! Ах, как хорошо! — Потом она положила ноги на диван, повытянулась, поправилась и так и заснула крепким неслышным сном здоровой восемнадцатилетней девушки, после полутора месяцев дороги. Наталья Николаевна, все еще разбиравшаяся в своей спальне, услышала, верно, своим материнским ухом, что Соня не шевелится, и вышла взглянуть. Она взяла подушку и, подняв своей большой белой рукой раскрасневшуюся спутанную голову девушки, положила ее на подушку. Соня глубоко, глубоко вздохнула, повела плечами и положила свою голову на подушку, не сказав тегсі, как будто это само собой так сделалось.

— Не на ту, не на ту, Гавриловна, Катя,— тотчас же заговорила Наталья Николаевна, обращаясь к девушкам, стелившим постель, и одной рукой, как будто мимоходом, оправляя взбившиеся волосы дочери. Не останавливаясь и не торопясь, Наталья Николаевна уби-

ралась, и к приезду мужа и сына все было готово: сундуков уж не было в комнатах; в спальне Пьера все было так же, как было десяти лет в Иркутске: халат, трубка, табакерка, вода с сахаром, Евангелие, которое он читал на ночь, и даже образок прилип как-то над кроватью на пышных обоях комнат Шевалье, который не употреблял этого украшения, но которое явилось в этот вечер во всех комнатах третьего отделения.

Наталья Николаевна, убравшись, оправила свои, несмотря на дорогу, чистые воротнички и рукавчики, причесалась и села против стола. Ее прекрасные черные глаза устремились куда-то далеко; она смотрела и отдыхала. Она, казалось, отдыхала не от одного раскладыванья, не от одной дороги, не от одних тяжелых годов — она отдыхала, казалось, от целой жизни, и та даль, в которую она смотрела, на которой представлялись ей живые любимые лица, и была тот отдых, которого она желала. Был ли это подвиг любви, который она совершила для своего мужа, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы, была ли это тяжелая потеря, или это была особенность ее характера,— только всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно когда-то положила всю себя в жизнь и что ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважения что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет.

Нельзя было себе представить ее иначе, как окруженную почтением и всеми удобствами жизни. Чтоб она когда-нибудь была голодна и ела бы жадно, или чтобы на ней было грязное белье, или чтобы она спотыкнулась, или забыла бы высморкаться — этого не могло с ней случиться. Это было физически невозможно. Отчего это так было — не знаю, но всякое ее движение было величавость, грация, милость для всех тех, которые могли пользоваться ее видом...

Sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben¹.

Она знала этот стих и любила его, но не руководилась им. Вся натура ее была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным вплетением невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась. Она поехала за мужем в Сибирь только потому, что она его любила; она не думала о том, что она может сделать для него, и невольно делала все: стелила ему постель, укладывала его вещи, готовила обед и чай, а главное, была всегда там, где он был, и больше счастья ни одна женщина не могла бы дать своему мужу.

В гостиной кипел самовар на круглом столе. Перед ним сидела Наталья Николаевна. Соня морщилась и улыбалась под рукой матери, щекотавшей ее, когда отец и сын с сморщенными оконечностями

¹ Они лелеют и вплетают небесные розы в земную жизнь. (нем.)

ми пальцев и лоснящимися щеками и лбами (у отца особенно блестяла лысина), с распушившимися белыми и черными волосами и сияющими лицами вошли в комнату.

— Светлее стало, как вы вошли,— сказала Наталья Николаевна.— Батюшки, как бел!

Она говорила это десятки лет каждую субботу, и каждую субботу Пьер испытывал при этом застенчивость и удовольствие. Они сели за стол, запахло чаем, трубкой, заговорили голоса родителей, детей и слуг, которые в той же комнате получили свои чашки. Вспоминали смешное, случившееся дорогой, восхищались прической Сони, смеялись. Географически все они были перенесены за пять тысяч верст, в совсем другую, чуждую среду, но нравственно они этот вечер еще были дома, теми же самыми, какими сделала их особенная, долгая, уединенная семейная жизнь. Того уж не будет завтра.

Петр Иванович подсел к самовару и закурил свою трубку. Он не весел был.

— Ну, вот мы и приехали,— сказал он,— и я рад, что мы нынче никого не увидим; этот вечер еще последний проведем в семействе,— и он запил эти слова большим глотком чаю.

— Отчего же последний, Пьер?

— Отчего? Оттого, что орлята выучились летать, им самим нужно вить свои гнезда, и отсюда они полетят каждый в свою сторону...

— Вот пустяки,— сказала Соня, принимая у него стакан и улыбаясь, как она всему улыбалась,— старое гнездо отлично.

— Старое гнездо — печальное гнездо, старик не умел свить его — он попал в клетку, в клетке вывел детей, и выпустили его тогда, как уж крылья его плохо носить стали. Нет, орлятам надо свить себе гнездо выше, счастливее, ближе к солнцу; затем они его дети, чтоб пример послужил им, а старый, пока не ослепнет, будет глядеть, а ослепнет, будет слушать... Налей рому... еще... еще... довольноно.

— Посмотрим, кто кого оставит,— отвечала Соня, бегло взглянув на мать, как будто ей совестно было говорить при ней,— посмотрим, кто кого оставит,— продолжала она.— За себя я не боюсь и за Сережу тоже. (Сережа ходил по комнате и размышлял о том, как ему завтра заказать платье — самому пойти или послать за портным; его не интересовал разговор Сони с отцом.) — Соня засмеялась.

— Что ты? Что? — спросил отец.

— Ты моложе нас, папа. Гораздо, право,— сказала она и опять засмеялась.

— Каково! — сказал старик, и строгие морщины его сложились в нежную и вместе презрительную улыбку.

Наталья Николаевна наклонилась из-за самовара, который мешал ей видеть мужа.

— Правда Сонина: тебе все еще шестнадцать лет, Пьер. Сережа моложе чувствами, но душой ты моложе его. Что он сделает, я могу предвидеть, но ты еще можешь удивить меня.

Сознавался ли он в справедливости этого замечания, или, польщенный им, он не знал, что ответить, старик молча курил, запивал чаем и только блестел глазами. Сережа же, с свойственным эгоизмом молодости, теперь только заинтересованный тем, что сказали об нем, вступил в разговор и подтвердил то, что он действительно стар, что приезд в Москву и новая жизнь, которая открывается перед ним, нисколько не радует его, что он спокойно обдумывает и предусматривает будущее.

— Все-таки последний вечер,— повторил Петр Иванович.— Завтра уж того не будет.— И он еще подлил себе рому. И долго еще сидел за чайным столом с таким видом, как будто многое ему хотелось сказать, да некому было слушать. Он подвинул было к себе ром, но дочь потихоньку унесла бутылку.

Глава II

Когда г-н Шевалье, ходивший наверх устроить гостей, вернувшись к себе, сообщил замечания насчет новоприезжих своей подруге жизни, в кружевах и шелковом платье сидевшей по парижскому манеру за конторкой, в той же комнате сидело несколько привычных посетителей заведения. Сережа, бывши внизу, заметил эту комнату и ее посетителей. Вы, верно, тоже заметили ее, ежели бывали в Москве.

Ежели вы скромный мужчина, не знающий Москвы, опоздали на званный обед, ошиблись расчетом, что гостеприимные москвичи вас позовут обедать, и вас не позвали, или просто хотите пообедать в лучшей гостинице, вы входите в лакейскую. Три или четыре лакея вскакивают, один из них снимает с вас шубу и поздравляет с новым годом, с масленицей, с приездом или просто замечает, что давно вы не бывали, хоть вы и никогда не бывали в этом заведении. Вы входите, и первое бросается вам в глаза — накрытый стол, уставленный, как вам в первую минуту кажется, бесчисленным количеством аппетитных яств. Но это только оптический обман, ибо на этом столе большую часть места занимают в перьях фазаны, морские раки невареные, коробочки с духами, помадой и стклянки с косметиками и конфетами. Только с краюшка, поискав хорошенько, вы найдете водку и кусок хлеба с маслом и рыбкой, под проволочным колпаком от мух, совершенно бесполезным в Москве в декабре месяце, но зато точно таким же, какие употребляются в Париже. Далее, за столом вы видите впереди себя комнату, в которой за конторкой сидит француженка весьма противной наружности, но в чис-

тейших рукавчиках и в прелестнейшем модном платье. Подле французенки вам представится расстегнутый офицер, закусывающий водку, статский, читающий газету, и чьи-нибудь военные или статские ноги, лежащие на бархатном стуле, и послышатся французский говор и более или менее искренний громкий хохот. Ежели вам захочется знать, что делается в этой комнате, то я бы советовал не входить в нее, а только заглянуть, как будто проходя мимо, чтобы взять тартинку. Иначе вам не поздоровится от вопросительного молчания и взглядов, которые устремят на вас привычные обитатели комнаты, и, вероятно, вы, поджавши хвост, поспешите к одному из столов в большую залу или зимний сад. В этом вам никто не помешает. Эти столы для всех, и там в одиночестве можете называть Дея гарсоном и заказывать трюфелей, сколько вам угодно. Комната же с французенкой существует для избранной, *золотой* московской молодежи, и попасть в число избранных не так легко, как вам кажется.

Г-н Шевалье, возвратившись в эту комнату, сказал супруге, что господин из Сибири скучен, но зато сын и дочь такие молодцы, каких только в Сибири можно выкормить.

— Вы бы посмотрели на дочь, что это за розанчик!

— О! он любит свеженьких женщин, этот старик,— сказал один из гостей, куривший сигару. (Разговор, разумеется, происходил на французском языке, но я передаю его по-русски, что и постоянно буду делать в продолжение этой истории.)

— О! очень люблю! — отвечал г-н Шевалье.— Женщина должна быть как персик, как эта сибирячка — тогда она приятна. Женщины — моя страсть. Вы не верите?

— Слышите, *madame Chevalier*? — закричал толстый казачий офицер, который был много должен в заведение и любил беседовать с хозяином.

— Да, вот он разделяет мой вкус,— сказал *Chevalier*, потрепав толстяка по эполете.

— И точно хороша эта сибирячка?

Chevalier сложил свои пальцы и поцеловал их.

Вслед за тем между посетителями разговор сделался конфиденциальный и очень веселый. Дело шло о толстяке; он улыбаясь слушал то, что про него рассказывали.

— Можно ли иметь такие превратные вкусы,— закричал один сквозь смех.— *Mademoiselle Clarisse*! вы знаете, Стругов из женщин лучше всего любит куриные ляжки.

Хотя и не понимая соли этого замечания, *m-lle Clarisse* залилась из-за конторки смехом, настолько серебристым, насколько позволяли ей дурные зубы и преклонные лета.

— Сибирская барышня навела его на такие мысли? — И все еще больше расхохотались. Сам *m-r Chevalier* помирал со смеху, приго-

варивая: «*Ce vieux coquin*»¹, и трепля по голове и плечам казацкого офицера.

— Да кто они, эти сибиряки: заводчики или купцы? — спросил один из господ во время затихания смеха.

— Никит! Спрашивайт у господа, которы приехали подорожной,— сказал m-г Chevalier.— «Мы, Александр, Самодержес...» — начал было читать г-н Chevalier принесенную подорожную, но казакский офицер вырвал у него бумагу, а лицо его вдруг выразило удивленье.

— Ну, угадайте, кто это? — сказал он.— А все вы хоть по слухам знаете.

— Ну, как же угадать, покажи. Ну, Абдель Кадер, ха! ха! ха! Ну, Калиостро... Ну, Петр Третий... ха-ха-ха-ха.

— Ну, прочти же.

Казакский офицер развернул бумагу и прочел: «Бывший князь Петр Иванович» — и одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком или знакомом. Мы будем называть его Лабазовым. Казакский офицер смутно помнил, что этот Петр Лабазов был чем-то знаменит в двадцать пятом году и что он был сослан в каторжную работу, но чем он был знаменит, он не знал хорошенько. Другие же никто и этого не знали и ответили: «А! да, известный» — точно так же, как бы они сказали: «Как же, известный!» — про Шекспира, который написал «Энеиду». Больше же они узнали его потому, что толстяк объяснил им, что он брат князя Ивана, дядя Чикиных, графини Прук, ну, известный...

— Ведь он должен быть очень богат, коли он брат князя Ивана,— заметил один из молодых.— Ежели ему возвратили состояние. Некоторым возвратили.

— Сколько их наехало теперь, этих сосланных,— заметил другой,— право, их меньше, кажется, было сослано, чем вернулось. Да, Жикийский! расскажи-ка эту историю за восемнадцатое число,— обратился он к офицеру стрелкового полка, слышшему за мастера рассказывать.

— Ну, расскажи же.

— Во-первых, это истинная правда и случилось здесь, у Шевалье, в большой зале. Приходят человека три декабристов обедать. Садятся у одного стола, едят, пьют, разговаривают. Только напротив их уселся господин почтенной наружности, таких же лет и все прислушивается, как они про Сибирь что-нибудь скажут. Только он что-то спросил, слово за слово, разговорились, оказывается, что он тоже из Сибири.

¹ Вот старый плут (*фр.*)

— И Нерчинск знаете?

— Как же, я жил там.

— И Татьяну Ивановну знаете?

— Как же не знать!

— Позвольте спросить, вы тоже сосланы были?

— Да, имел несчастье пострадать, а вы?

— Мы все сосланные четырнадцатого декабря. Странно, что мы вас не знаем, ежели вы тоже за четырнадцатое. Позвольте узнать вашу фамилию?

— Федоров.

— Тоже за четырнадцатое?

— Нет, я за восемнадцатое.

— Как за восемнадцатое?

— За восемнадцатое сентября, за золотые часы. Был оклеветан, будто украл, и пострадал невинно.

Все покатались со смеха, исключая рассказчика, который с пресерьезным лицом, оглядывая в лоск положенных слушателей, божился, что это была истинная история.

Скоро после рассказа один из золотых молодых людей встал и поехал в клуб. Пройдясь по залам, уставленным столами с старичками, играющими в ералаш, повернувшись в inferнальной, где уж знаменитый Пучин начал свою партию против «компании», постояв несколько времени у одного из бильярдных, около которого, хватаясь за борт, семенил важный старичок и еле-еле попадал в своего шара, и заглянув в библиотеку, где какой-то генерал степенно читал через очки, далеко держа от себя газету, и записанный юноша, стараясь не шуметь, пересматривал подряд все журналы, золотой молодой человек подсел на диван в бильярдной к играющим в табельку, таким же, как он, позолоченным молодым людям. Был обеденный день, и было много господ, всегда посещающих клуб. В числе их был Иван Павлович Пахтин. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, белый, полный, с широкими плечами и тазом, с голой головой и глянцевитым, счастливым, выбритым лицом. Он не играл в табельку, но так подсел к князю Д., с которым он был на ты, и не отказался от стакана шампанского, которое ему предложили. Он так хорошо поместился после обеда, незаметно распустив сзади гюльфик, что, казалось бы, век просидел так, покуривая сигару, запивая шампанское и чувствуя близкое присутствие князей и графов, министерских детей. Известие о приезде Лабазовых нарушило его спокойствие.

— Куда ты, Пахтин? — сказал министерский сын, заметив между игрой, что Пахтин привстал, одернул жилет и большим глотком допил шампанское.

— Северников просил, — сказал Пахтин, чувствуя какое-то беспокойство в ногах, — что же, поедешь?.. «Анастасья, Анастасья, отворай-ка ворота».

Это была известная в ходу цыганская песня.

— Может быть. А ты?

— Куда мне, женатому старику.

— Ну!..

Пахтин, улыбаясь, пошел в стеклянную залу к Северникову. Он любил, чтоб последнее слово, им сказанное, было шуточка. И теперь так и вышло.

— Что, как здоровье графини? — спросил он, подходя к Северникову, который вовсе не звал его, но которому, по некоторым соображениям Пахтина, нужнее всех было знать о приезде Лабазовых. Северников был немножко замешан в четырнадцатом числе и приятель со всеми декабристами. Здоровье графини было гораздо лучше, и Пахтин был очень рад этому.

— А вы не знаете, Лабазов приехал нынче, у Шевалье остановился.

— Что вы говорите! Ведь мы старые приятели. Как я рад! Как я рад! Постарел, я думаю, бедняга! Его жена писала моей жене, — но Северников не досказал, что она писала, потому что его партнеры, разыгрывавшие бескозырную, сделали что-то не так. Говоря с Иваном Павловичем, он все косился на них, но теперь вдруг бросился всем туловищем на стол и, стуча по нем руками, доказал, что надо было играть с семерки. Иван Павлович встал и, подойдя к другому столу, сообщил между разговором другому почтенному человеку свою новость, опять встал и у третьего стола сделал то же. Почтенные люди все были очень, очень рады возвращению Лабазова, так что, опять вернувшись в билльярдную, Иван Павлович, сначала сомневавшийся, нужно или нет радоваться возвращению Лабазова, уже более не употреблял введения о бале, статье «Вестника», здоровье и погоде, а прямо приступал ко всем с восторженным объявлением о благополучном возвращении знаменитого декабриста.

Старичок, все еще тщетно пытавшийся ткнуть кием в своего белого шара, должен был, по мнению Пахтина, быть очень обрадован известием. Он подошел к нему. «Хорошо поигрываете, ваше высокопревосходительство?» — сказал он в то время, как старичок сунул свой кий в красный жилет маркера, означая этим желанье помелить.

«Ваше высокопревосходительство» было сказано совсем не так, как вы думаете, из подобострастия (нет, это не мода в пятьдесят шестом году). Иван Павлыч называл просто по имени и отчеству сановитого старичка, а это было сказано частью как шутка над теми, кто так говорят, частью чтоб дать знать, что мы знаем, с кем говорим, и все-таки резвимся, немножко и взаправду; вообще это было очень тонко.

— Сейчас узнал — Петр Лабазов приехал. Прямо из Сибири приехал, со всем семейством. — Эти слова произнес Пахтин в то самое время, как старичок опять промахнулся в своего шара, такое ему несчастье было.

— Ежели он приехал таким же взбалмошным, каким поехал, так нечему радоваться,— угрюмо сказал старичок, раздраженный своей непонятной неудачей.

Этот отзыв смутил Иван Павлыча, он опять не знал, следовало ли или нет радоваться приезду Лабазова, и чтобы окончательно разрешить свои сомнения, он направил шаги свои в комнату, где собирались умные люди разговаривать и знали значение и цену всякой вещи, и всё знали, одним словом. Иван Павлыч был в тех же приятных отношениях с посетителями умной комнаты, как и с золоченой молодежью и сановитыми особами. Правда, у него не было своего особого места в умной комнате, но никто не удивился, когда он вошел и сел на диване. Речь шла о том, в каком году и по какому случаю произошла ссора между двумя русскими журналистами. Выждав минуту молчанья, Иван Павлыч сообщил свою новость не так, как радость, не так, как незначущее событие, а так, как будто к разговору. Но тотчас по тому, как «умные» (я употребляю «умные» как эллипс посетителей умной комнаты) приняли его новость и начали обсуживать ее, тотчас Иван Павлыч понял, что сюда-то именно и следовала эта новость и здесь только она получит такую обработку, что можно будет везти ее дальше и *savoir a quoi s'en tenir*¹.

— Только Лабазова доставало,— сказал один из «умных»,— теперь из живых декабристов все вернулись в Россию.

— Он был «один из стаи славных»...— сказал Пахтин еще выпытывающим тоном, готовый на то, чтобы эту цитату сделать шуточной и серьезной.

— Как же, Лабазов — один из замечательнейших людей того времени,— начал «умный».— В тысяча восемьсот девятнадцатом году он был прапорщиком Семеновского полка и был послан за границу с депешами к герцогу З. Потом он вернулся и в двадцать четвертом году был принят в первую масонскую ложу. Все тогдашние масоны собирались у Д. и у него. Ведь он очень богат был. Князь Ж., Федор Д., Иван П.— это были его ближайшие друзья. И тут дядя его, князь Висарион, чтобы удалить молодого человека от этого общества, перевел его в Москву.

— Извините, Николай Степаныч,— перебил другой «умный»,— мне кажется, что это было в двадцать третьем году, потому что Висарион Лабазов назначен был командиром третьего корпуса в двадцать четвертом году и был в Варшаве. Он приглашал его к себе в адъютанты и после отказа уж перевел его. Впрочем, извините, я вас перебил.

— Ах, нет, сделайте одолжение.

— Нет, пожалуйста.

¹ знать, как к этому относиться (фр.)

— Нет, сделайте одолжение, вы должны это знать лучше меня, и притом память ваша и знания достаточно доказаны здесь.

— В Москве он против желания дяди вышел в отставку,— продолжал тот, чья память и знания были доказаны,— и там вокруг него образовалось второе общество, которого он был родоначальником и сердцем, ежели можно так выразиться. Он был богат, хорош собой, умен, образован; любезен, говорят, был удивительно. Мне еще тетка говаривала, что она не знавала человека обворожительнее его. И тут-то он за несколько месяцев до бунта женился на Кринской.

— Дочь Николая Кринского, тот, что при Бородино... ну, известный,— перебил кто-то.

— Ну да. Ее-то огромное состояние у него осталось теперь, а его собственное, родовое, перешло меньшему брату, князю Ивану, который теперь обер-гоф-кафермейстер (он назвал что-то в этом роде) и был министром.

— Лучше всего его поступок с братом,— продолжал рассказчик.— Когда его взяли, то одно, что он успел уничтожить,— это письма и бумаги брата.

— Разве брат был замешан?

Рассказчик не отвечал: да, но сжал губы и мигнул значительно.

— Потом на всех допросах Петр Лабазов постоянно отпирался во всем, что касалось брата, и за это пострадал больше других. Но что лучше всего, что князь Иван получил все имение и ни одного гроша не послал брату.

— Говорили, что Петр Лабазов сам отказался? — заметил один из слушателей.

— Да, но отказался только потому, что князь Иван перед коронацией писал ему и извинялся, что ежели бы не он взял, то имение конфисковали бы, а что у него дети и долги и что теперь он не в состоянии возратить ничего. Петр Лабазов отвечал двумя строчками: «Ни я, ни наследники мои не имеем и не хотим иметь никаких прав на законом вам присвоенное имение». И больше ничего. Какое? И князь Иван проглотил и с восторгом запер этот документ с векселями в шкатулку и никому не показывал.

Одна из особенностей «умной» комнаты состояла в том, что посетители ее знали, когда хотели знать, все, что делалось на свете, как бы тайно оно ни происходило.

— Впрочем, это вопрос,— сказал новый собеседник,— справедливо ли было отнять от детей князя Ивана состояние, при котором они выросли и были воспитаны и на которое полагали, что имели право.

Разговор таким образом был перенесен в отвлеченную сферу, не интересовавшую Пахтина. Он почувствовал необходимость свежим людям сообщить новость, встал и медленно, заговаривая направо и

налево, пошел по залам. Один из его сослуживцев остановил его, чтобы сообщить новость о приезде Лабазовых.

— Кто же этого не знает! — отвечал Иван Павлыч, спокойно улыбаясь, и направился к выходу. Новость уже совершила свой круг и опять возвращалась к нему. В клубе было больше нечего делать, он поехал на вечер.

Это был не званый вечер, а салон, в котором принимали каждый день. Было человек восемь дам и один старый полковник, и всем было ужасно скучно. Уже одна твердая походка и улыбающееся лицо Пахтина развеселило дам и девиц. Новость же была тем более кстати, что в салоне была старая графиня Фукс с дочерью. Когда Пахтин рассказал почти слово в слово все, что он слышал в «умной» комнате, madame Фукс, покачивая головой и удивляясь своей старости, стала вспоминать, как она выезжала вместе с Натали Кринской, теперешней Лабазовой.

— Ее замужество — очень романтическая история, и все это было на моих глазах. Натали была почти обручена с Мятлиным, который после был убит на дуэли с Дёбра. Только в это время приезжает в Москву князь Петр, влюбляется в нее и делает предложение. Только отец, которому очень хотелось Мятлина, — и вообще Лабазова боялись как масона, — отец отказал. Только молодой человек продолжает ее видеть на балах, везде, сдружается с Мятлиным, просит его отказаться. Мятлин соглашается, он ее уговаривает бежать. Она тоже соглашается, но последнее раскаянье (разговор происходил по-французски) — она идет к отцу и говорит, что все готово к бегству и что она могла его оставить, но надеется на его великодушие. И в самом деле, отец простил ее — все за нее просили — и дал согласие. Вот так и сделалась эта свадьба, и веселая была свадьба. Кто из нас думал, что через год она поедет за ним в Сибирь! Она, единственная дочь, самая богатая, самая красивая девушка тогдашнего времени. Император Александр всегда замечал ее на балах, сколько раз танцевал с ней. У графа Г. был *bal costumé*¹, как теперь помню, и она была неаполитанкой, удивительно хороша! Он всегда, приезжая в Москву, спрашивал: «*Que fait la belle Napolitaine?*»² И вдруг эта женщина, в таком положении — она дорогой родила, — ни минуты не задумалась, ничего не приготовила, не собрала вещи, а как была, когда его взяли, так и поехала за ним за пять тысяч верст.

— О! Удивительная женщина! — сказала хозяйка дома.

— И он и она — это редкие люди были, — сказала еще другая дама. — Мне говорили, — не знаю, правда ли, — что в Сибири везде, где они работали в рудниках, или как это называется, так эти колдунки, которые с ними были, исправлялись от них.

¹ костюмированный бал (фр.)

² Что делает прекрасная неаполитанка? (фр.)

— Да она никогда не работала в рудниках,— поправил Пахтин.

Что значил пятьдесят шестой год! Три года тому назад никто не думал о Лабазовых, и ежели вспоминали о них, то с тем безотчетным чувством страха, с которым говорят о новоумерших; теперь же как живо вспоминались все прежние отношения, все прекрасные качества, и каждая из дам уже придумывала план, как бы получить монополию Лабазовых и ими угащивать других гостей.

— Сын и дочь приехали с ними,— сказал Пахтин.

— Ежели только они так же хороши, как была мать,— сказала графиня Фукс.— Впрочем, и отец был очень, очень хорош.

— Как они могли воспитать там своих детей? — сказала хозяйка дома.

— Говорят, прекрасно. Говорят, молодой человек хорош, любезен и образован, как будто вырос в Париже.

— Я предсказываю большой успех молодой особе,— сказала одна некрасивая девица.— Все эти сибирские дамы имеют что-то очень приятно-тривьяльное, но которое очень нравится.

— Да, да,— сказала другая девица.

— Вот еще богатая невеста прибавилась,— сказала третья девица.

Старый полковник немецкого происхождения, три года тому назад приехавший в Москву, чтобы жениться на богатой, решил, что как можно скорее, пока молодежь еще не знает, надо представиться и сделать предложенье. Девицы и дамы почти то же самое думали насчет сибирского молодого человека. «Должно быть, это и есть мой суженый,— подумала девица, тщетно выезжающая уже восьмой год.— Должно быть, к лучшему было, что этот глупый кавалергард так и не сделал мне предложенья. Я бы, верно, была несчастлива». «Ну, опять пожелтеют все от злости, когда еще этот в меня влюбится»,— подумала молодая и красивая дама.

Говорят о провинциализме маленьких городов,— нет хуже провинциализма высшего общества. Там нет новых лиц, но общество готово принять всякие новые лица, ежели бы они явились; здесь же редко, редко, как теперь Лабазовы, признаны принадлежащими к кругу и приняты, и сенсация, производимая этими новыми лицами, сильнее, чем в уездном городе.

Г л а в а III

— Москва-то, Москва-то, матушка белокаменная,— сказал Петр Иваныч, протирая утром глаза и прислушиваясь к звону колоколов, стоявшему над Газетным переулком.

Ничто так живо не воскрешает прошедшего, как звуки; и эти колокольные московские звуки, соединенные с видом белой стены из окна и стуком колес, так живо напомнили ему не только ту Москву, которую он знал тридцать пять лет тому назад, но и ту Москву с

Кремлем, теремами, Иванами и т. д., которую он носил в своем сердце, что он почувствовал детскую радость того, что он русский и что он в Москве.

Явился бухарский халат, распахнутый на широкой груди в ситцевой рубашке, трубка с янтарем, лакей с тихими приемами, чай, запах табаку, громкий, порывистый мужской голос послышался в комнатах Шевалье, утренние поцелуи раздались, и голоса дочери и сына, и декабрист был так же дома, как в Иркутске и как бы он был в Нью-Йорке и Париже. Как бы мне ни хотелось представить моим читателям декабрьского героя выше всех слабостей, ради истины должен признаться, что Петр Иванович особенно тщательно брился, чесался и смотрелся в зеркало. Платьем, которое было сшито не слишком хорошо в Сибири, он был недоволен и раза два то расстегнул, то застегнул сюртучок. Наталья же Николаевна вошла в гостиную, шумя черным муаровым платьем с такими рукавчиками и лентами на чепце, что хотя все это было не по самой последней моде, но так придумано, что не только не было *ridicule*¹, но, напротив, *distingué*². На это у дам есть особенное, шестое чувство и пронизательность, ни с чем не сравнимая. Соня тоже была так пристроена, что хотя все было на два года сзади моды, но ни в чем упрекнуть нельзя было. На матери темно и просто, на дочери светло и весело. Сережа только проснулся, и они одни поехали к обедне. Отец с матерью сели сзади, дочь села напротив, Василий сел на козлы, и извозчицья карета повезла их в Кремль. Когда они вышли, дамы оправили платья, и Петр Иванович взял под руку свою Наталью Николаевну и, закинув голову назад, пошел к дверям церкви, многие — и купцы, и офицеры, и всякий народ — не могли узнать, что это за люди. Кто этот — давно, давно загорелый и не отошедший старичок с крупными прямыми рабочими морщинами особенного склада, такого склада, какого не бывают морщины, приобретаемые в Аглицком клубе, с белыми как снег волосами и бородой, с добрым и гордым взглядом и энергическими движениями? Кто эта высокая дама с значительной поступью и усталыми, померкшими большими и прекрасными глазами? Кто эта девушка, свежая, стройная, сильная, а не модная и не робкая? Купцы — не купцы, немцы — не немцы; господа? — тоже таких не бывает, а важные люди. Так думали те, которые видели их в церкви, и почему-то скорее и охотнее давали им дорогу и место, чем мужчинам в густых эполетах. Петр Иванович держал себя так же величаво, как и при входе, и молился спокойно, сдержанно, не забываясь. Наталья Николаевна плавно становилась на колена, вынимала платок и много плакала во время «Иже херувимской». Соня как будто делала над собой усилие,

¹ смешно (фр.)

² изысканно (фр.)

чтобы молиться. Не шло к ней моление, но она не оглядывалась и крестилась прилежно.

Сережа остался дома — частью оттого, что проспал, частью оттого, что он не любил стоять обедню, у него ноги отекали, и он никак не мог понять, отчего пройти на лыжах верст сорок ему ничего не стоило, а простоять двенадцать Евангелий было для него величайшее физическое мученье; главное же оттого, что, он чувствовал, ему нужнее всего было новое платье. Он оделся и пошел на Кузнецкий мост. Денег у него было довольно. Отец сделал себе правилом с тех пор как сыну минуло двадцать один год, давать ему брать денег, сколько захочет. От него зависело оставить отца и мать совершенно без денег.

Как мне жалко этих двухсот пятидесяти рублей серебром — денег, даром истраченных в магазине готового платья Кунца. Каждый из этих господ, встречавших Сережу, охотно бы научил его и за счастье бы почел с ним вместе пойти заказать ему; но, как всегда бывает, он был одинок посреди толпы и, пробираясь в фуражке по Кузнецкому мосту, не поглядывая на магазины, он дошел до конца, отворил двери и вышел оттуда в коричневом полуфраке в узком, а носили широкий, в черных панталонах широких, а носили узкие, и в атласном с цветочками жилете, который ни один из господ, бывавших у Шевалье в особой, не позволили бы надеть своему лакею. И еще много чего купил Сережа; зато Кунц в недоумение пришел от тонкой талии молодого человека и, как он это говорил всем, объяснил, что подобной он никогда не видел. Сережа знал, что у него талия хороша, но похвала постороннего человека, как Кунца, очень польстила ему. Он вышел без двухсот пятидесяти рублей, но одет очень дурно, так дурно, что платье это через два дня перешло во владенье Василия и навсегда осталось неприятным воспоминанием для Сережи. Дома он сошел вниз и сел в большой комнате, тоже посматривая в заветную, и спросил себе завтракать таких странных кушаний, что слуга даже посмеялся на кухне. Но все-таки он спросил журнал и сделал, как будто читает его. Когда же слуга, обнадуженный неопытностью юноши, начал было спрашивать и его, то Сережа сказал: «Ступай на свое место» — и покраснел. Но сказал так гордо, что тот послушался. Мать, отец и дочь, возвратившись домой, нашли тоже его платье отличным.

Помните ли вы это радостное чувство детства, когда в ваши именины вас принарядили, повезли к обедне, и вы, возвратившись с праздником на платье, на лице и в душе, нашли дома гостей и игрушки? Вы знаете, что нынче нет классов, что большие даже празднуют, что нынче для целого дома день исключения и удовольствий; вы знаете, что вы одни причиной этого торжества и что что бы вы ни сделали,— вам простят, и вам странно, что люди на улицах не празднуют так же, как ваши домашние, и звуки слышнее, и цвета

ярче, — одним словом, именнойное чувство. Такого рода чувство испытал Петр Иваныч, возвратившись из церкви.

Вчерашние хлопоты Пахтина не пропали даром: вместо игрушек Петр Иваныч нашел дома уже несколько визитных карточек значительных москвичей, считавших в пятьдесят шестом году своей неперменной обязанностью оказать всевозможное внимание знаменитому изгнаннику, которого они не хотели бы видеть ни за что на свете три года тому назад. В глазах Шевалье, швейцара и людей гостиницы появление карет, спрашивавших Петра Иваныча, в одно утро удесятило их уважение и услужливость. Все это были именные подарки для Петра Иваныча. Как ни испытан жизнью, как ни умен человек, выражения уважения от людей, уважаемых большим числом людей, всегда приятны. Петру Иванычу было весело на душе, когда Шевалье, изгибаясь, предлагал переменить отделение и просил приказывать все, что будет угодно, и уверял, что он за счастье почитает посещение Петра Иваныча, и когда он, пересматривая карточки и опять бросая их в вазу, называл имена графа С., князя Д. и т. д. Наталья Николаевна сказала, что она никого не принимает и сейчас поедет к Марье Ивановне, на что Петр Иваныч согласился, хотя ему хотелось бы поговорить со многими из приезжающих. Только один из визитов успел проскочить до запрета. Это был Пахтин.

Ежели бы спросить этого человека, для чего он с Пречистенки приехал в Газетный переулок, то он никакого бы не мог дать предлога, исключая того, что он любит все новое и занимательное и потому приехал посмотреть на Петра Иваныча, как на редкость. Казалось бы, надо заробеть, с таким единственным резонем приезжая к незнакомому человеку. Оказалось напротив. Петр Иваныч, и его сын, и Софья Петровна смутились. Наталья Николаевна была слишком *grande dame*¹, чтоб от чего бы то ни было смущаться. Утомленный взгляд ее прекрасных черных глаз спокойно опустился на Пахтина. Пахтин же был свеж, самодоволен и весело любезен, как всегда. Он был друг Марьи Ивановны.

— А! — сказала Наталья Николаевна.

— Не друг, — лета наши... но она всегда была добра ко мне. — Пахтин был давнишний поклонник Петра Иваныча, он знал его товарищей. Он надеялся, что может быть полезен приезжим, он вчера бы еще явился, но не успел и просит извинить его. И он сел и говорил долго.

— Да, скажу вам, много я нашел перемен в России с тех пор, — сказал Петр Иваныч, отвечая на вопрос.

Как только Петр Иваныч стал говорить, надо было видеть, с каким почтительным вниманием Пахтин получал каждое слово, вылетавшее из уст значительного старца, и как за каждой фразой,

¹ великосветской дамой (фр.)

иногда словом, Пахтин кивком, улыбкой или движением глаз давал чувствовать, что он получил и принял достопамятную для него фразу или слово. Усталый взгляд одобрил этот маневр. Сергей Петрович, казалось, боялся, что речь батюшки не будет значительна, соответственно вниманию слушателя. Софья Петровна, напротив, улыбнулась той незаметной самодовольной улыбкой, которой улыбаются люди, подметившие смешную сторону человека. Ей показалось, что от этого нечего ждать, что это «шюшка», — так они с братом называли известный сорт людей. Петр Иванович объяснил, что он в своем путешествии заметил огромные перемены, которые радовали его. Нет сравнения, как народ — крестьянин — стал выше, стало больше сознания достоинства в них, — говорил он, как бы протвержая старые фразы. «А я должен сказать, что народ более всего меня занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не в нас, а в народе», и т. д. Петр Иванович развил с свойственным ему жаром свои более или менее оригинальные мысли насчет многих важных предметов. Нам придется еще слышать их в более полном виде. Пахтин таял от наслаждения и был совершенно согласен со всем.

— Вам непременно надо познакомиться с Аксатовыми, вы позволите мне их представить вам, князь? Вы знаете, ему разрешили теперь его издание; говорят, завтра выйдет первый номер. Я читал также его удивительную статью о последовательности теории науки в абстрактности, чрезвычайно интересно. Еще там статья — история Сербии в XI веке и этого знаменитого воеводы Карбавонца, тоже очень интересно. Вообще огромный шаг.

— А! так, — сказал Петр Иванович. Но его, видимо, не занимали все эти известия, он даже не знал имен и заслуг тех людей, которых, как всем известных, называл Пахтин. Наталья Николаевна же, не отрицая необходимости знания всех этих людей и условий, в оправданье мужа заметила, что Ригге поздно очень получал журналы. Но он слишком много читает.

— Папа, мы поедем к тете? — сказала Соня, входя.

— Поедем, но надо позавтракать. Не хотите ли чего-нибудь?

Пахтин, разумеется, отказался, но Петр Иванович с свойственным вообще русскому и особенно ему гостеприимством настоял на том, чтобы Пахтин поел и выпил. Сам же он выпил рюмку водки и стакан бордо. Пахтин заметил, что, когда он наливал вино, Наталья Николаевна отвернулась нечаянно от стакана, а сын посмотрел особенно на руки отца. После вина Петр Иванович на вопросы Пахтина о том, какое его мнение о новой литературе, о новом направлении, о войне, о мире (Пахтин умел самые разнородные предметы соединить в один бестолковый, но гладкий разговор), — на эти вопросы Петр Иванович сразу ответил одним общим *profession de foi*¹, и вино

¹ кредо (фр.)

ли или предмет разговора, но он так разгорячился, что слезы выступили у него на глаза и что Пахтин пришел в восторг и тоже прослезился и, не стесняясь, выразил свое убеждение, что Петр Иваныч теперь впереди всех передовых людей и должен стать главой всех партий. Глаза Петра Иваныча разгорелись, он верил тому, что ему говорил Пахтин, и он долго бы еще говорил, ежели бы Софья Петровна не поинтриговала у Натальи Николаевны, чтобы она надела мантилью и не пришла бы сама поднять Петра Иваныча. Он налил было себе остальное вино, но Софья Петровна выпила его.

— Что ж ты это?

— Я не пила еще, рара, pardon¹.

Он улыбнулся.

— Ну, поедем к Марье Ивановне. Вы нас извините, monsieur Пахтин.— И Петр Иваныч вышел, неся высоко голову. В сенях встретился еще генерал, приехавший с визитом к старому знакомому. Они тридцать пять лет не видались. Генерал был уже без зуб и плешивый.

— А ты как еще свеж,— сказал он.— Видно, Сибирь лучше Петербурга. Это твой? Представь меня. Какой молодец сын-то! Так завтра обедать?

— Да, да, непременно.

На крыльце встретился знаменитый Чихаев, тоже старый знакомый.

— Как же вы узнали, что я приехал?

— Стыдно бы было Москве, ежели бы она не знала, стыдно, что у заставы вас не встретили. Где вы обедаете, должно быть, у сестры Марьи Ивановны? Ну и прекрасно, я тоже приеду.

Петр Иваныч всегда имел вид человека гордого для тех, кто не мог разобрать сквозь эту внешность выражение несказанной доброты и впечатлительности; теперь же даже Наталья Николаевна любовалась его непривычной величавостью, и Софья Петровна улыбалась глазами, поглядывая на него.

Они приехали к Марье Ивановне. Марья Ивановна была крестная мать Петра Иваныча и старше его десятью годами. Она была старая дева.

Историю ее, почему она не вышла замуж и как она жила свою молодость, я расскажу когда-нибудь после.

Она жила в Москве сорок лет безвыездно. Не было у ней ни большого ума, ни большого богатства, ни связями она не дорожила, напротив; а не было человека, который бы не уважал ее. Она была так уверена, что все должны уважать ее, что все ее уважали. Бывали из университета молодые либералы, которые не признавали за ней власти, но эти господа фрондировали только в ее отсутствии. Стои-

¹ извини (фр.)

ло ей войти в гостиную своей царской поступью, заговорить своей спокойной речью, улыбнуться своей ласковой улыбкой, и они были покорены. Общество ее было — все. Она смотрела на Москву и обращалась с ней, как с своими домашними. Бывали у нее друзья больше из молодежи и мужчин умных; женщин она не любила. Были у нее тоже и приживалки и приживальщики, которых вместе с венгеркой и генералами в одно общее презрение почему-то вместе включила наша литература; но Марья Ивановна считала, что проигравшемуся Скопину и прогнанной мужем Бешевой лучше жить у нее, чем в нищете, и держала их. Но два сильные чувства в теперешней жизни Марья Ивановны были ее два брата. Петр Иванович был ее идолом. Князь Иван был ее ненависть. Она не знала, что Петр Иванович приехал, была у обедни и теперь только отпила кофе. Московский викарий, Бешева и Скопин сидели около стола. Марья Ивановна рассказывала им про молодого графа В., сына П. З., который вернулся из Севастополя и в которого она была влюблена. (У ней беспрерывно бывали пассии.) Нынче он должен был обедать у нее. Викарий встал и раскланялся. Марья Ивановна не удерживала его, она была вольнодумка в этом отношении; она была набожна, но не любила монахов, смеялась над барынями, бегающими за монахами, и говаривала смело, что, по ее мнению, монахи такие же люди, как мы, грешные, и что можно спастись в миру лучше, чем в монастыре.

— Не велите никого принимать, мой друг,— сказала она,— я Пьеру напишу; не понимаю, что он не едет. Верно, Наталья Николаевна больна.

Марья Ивановна была того убеждения, что Наталья Николаевна не любила и была врагом ее. Она не могла простить ей того, что не она, сестра, отдала ему свое имя и поехала с ним в Сибирь, а Наталья Николаевна, и что брат решительно отказал ей в этом, когда она собралась ехать. После тридцати пяти лет она начинала верить иногда брату, что Наталья Николаевна лучшая жена в мире и его ангел-хранитель была, но она завидовала, и ей все казалось, что она дурная женщина.

Она встала, прошлась по зале и хотела идти в кабинет, как дверь отворилась, и сморщенное, седенькое лицо Бешевой, выразившее радостный ужас, выставилось в двери.

— Марья Ивановна, приготовьтесь,— сказала она.

— Письмо?

— Нет, больше...

Но не успела она сказать, как в передней послышался громкий мужской голос:

— Да где она? Поди ты, Наташа.

— Он! — проговорила Марья Ивановна и большими твердыми шагами пошла к брату. Она встретила их, как будто со вчерашнего дня с ними виделась.

— Когда ты приехал? Где остановились? В чем же вы, в карете?
— Вот какие вопросы делала Марья Ивановна, проходя с ними в гостиную и не слушая ответов и глядя большими глазами то на одного, то на другого. Бешева удивилась этому спокойствию, равнодушию даже, и не одобрила его. Они все улыбались, разговор замолк; Марья Ивановна молча, серьезно смотрела на брата.

— Как вы? — сказал Петр Иванович, взяв ее за руку и улыбаясь.

Петр Иванович говорил «вы», а она говорила ему «ты». Марья Ивановна еще раз взглянула на седую бороду, на плешивую голову, на зубы, на морщины, на глаза, на загорелое лицо и все это узнала.

— Вот моя Соня.

Но она не оглянулась.

— Какой ты дур... — голос ее оборвался, она схватила своими белыми большими руками плешивую голову, — какой ты дурак... — она хотела сказать: «что меня не приготовил», но плечи и грудь задрожали, старческое лицо искривилось, и она зарыдала, все прижимая к груди плешивую голову и повторяя: — Какой ты ду...рак, что меня не приготовил.

Петр Иванович не казался себе уже таким великим человеком, не казался так важен, как у крыльца Шевалье. Задом он сидел на кресле, но голова его была в руках сестры, нос прижимался к ее корсету, и в носу этом щекотало, волосы были спутаны, и слезы были в глазах. Но ему было хорошо. Когда прошел этот порыв радостных слез, Марья Ивановна поняла, поверила тому, что случилось, и стала оглядывать всех. Но еще несколько раз во время дня, как только она вспомнит, какой он был, какая она была тогда, и какие теперь, и все живо так встанет перед воображеньем — тогдашние несчастья, и тогдашние радости, и тогдашние любви, — на нее находило, и она вставала и опять повторяла:

— Какой ты дурак, Петруша, дурак какой, что меня не приготовил! Зачем вы не ко мне прямо приехали, я бы вас поместила, — говорила Марья Ивановна. — По крайней мере, вы обедаете. Тебе не скучно будет у меня, Сергей, у меня обедает молодой севастополец, молодец. А Николай Михайловича сына ты не знаешь? Он писатель, что-то хорошее там написал. Я не читала, но хвалят, и он милый малый, я и его позову. Чихаев хотел тоже приехать. Ну, этот болтун, я его не люблю. Он уже был у тебя? А Никиту видел? Ну, да это все вздор. Что ты намерен делать? Что вы, ваше здоровье, Натали? Куда этого молодца, эту красавицу?

Но разговор все не клеился.

Перед обедом Наталья Николаевна с детьми поехали к старой тетке, брат с сестрой остались вдвоем, и он стал рассказывать свои планы.

— Соня большая, ее надо вывозить; стало, мы будем жить в Москве, — сказала Марья Ивановна.

— Ни за что.

— Сереже надо служить.

— Ни за что.

— Все такой же сумасшедший.— Но она все так же любила сумасшедшего.

— Надо сидеть здесь, потом ехать в деревню и детям показать все.

— Мое правило — не вмешиваться в семейные дела,— говорила Марья Ивановна, успокоившись от волнения,— и не давать советов. Молодому человеку надо служить, это я всегда думала и думаю. А теперь больше, чем когда-нибудь. Ты не знаешь, что такое теперь, Петруша, эта молодежь. Я их всех знаю. Вон князя Дмитрия сын совсем пропал. Да и сами виноваты. Я ведь никого не боюсь, я старуха. А нехорошо.— И она начала говорить про правительство. Она была недовольна им за излишнюю свободу, которая давалась всему.— Одно хорошее сделали, что вас выпустили. Это хорошо.

Петруша стал было защищать, но с Марьей Ивановной было не то, что с Пахтиным; ему было не сговорить. Она разгорячилась.

— Ну что защищать! Тебе ли защищать? Ты все такой же, я вижу, безумный.

Петр Иваныч замолчал с улыбочкой, показывавшей, что он не сдастся, но что спорить с Марьей Ивановной он не хочет.

— Ты улыбаешься. Это мы знаем. Ты со мной, с бабой, спорить не хочешь,— сказала она весело, ласково и так тонко, умно глядя на брата, как нельзя было ожидать от ее старческого, с крупными чертами лица.— Да не соспоришь, дружок. Ведь седьмой десяток доживаю. Тоже не душой прожила, кое-что видела и поняла. Книжек ваших не читала, да и читать не буду. В книжках вздор!

— Ну, как вам мой ребята нравятся? Сережа? — сказал Петр Иваныч с той же улыбкой.

— Ну, ну! — грозясь на него, ответила сестра.— На детей-то не переводы, об этом поговорим. А я тебе вот что хотела сказать. Ты ведь безумный, так и остался, я по глазам вижу. Теперь тебя на руках носить станут. Такая мода. Вы теперь все в моде. Да, да, я по глазам вижу, что ты такой же безумный, как был,— прибавила она, отвечая на его улыбку.— Удаляйся ты, Христом-Богом тебя прошу, от всех этих либералов нынешних. Бог их знает, что они там ворочаются. Только все это хорошо не кончится. А правительство наше теперь молчит, а потом придется показать коготки, попомни мое слово. Я боюсь, чтоб ты опять не замешался. Брось это. Все пустяки. У тебя дети.

— Видно, вы не знаете теперь меня, Марья Ивановна,— сказал брат.

— Ну, хорошо, хорошо, уж там видно будет, я ли тебя не знаю или ты сам себя не знаешь. Только я сказала, что у меня на душе было; послушаешь меня — хорошо. Вот теперь и о Сереже погово-

рим. Какой он у тебя? — «Он мне не очень понравился»,— хотела было сказать она, но сказала только:— Он на мать похож, две капли воды. Вот Соня твоя так мне очень понравилась, очень... милое такое что-то, открытое. Милая. Где она, Сонюшка? Да, я и забыла.

— Да как вам сказать? Соня, та будет хорошая жена и хорошая мать, но Сережа мой умен, очень умен, этого никто не отнимет. Учился прекрасно,— немножко ленив. К естественным наукам он большую охоту имел. Мы были счастливы, у нас был славный, славный учитель. Ему здесь хочется в университет — послушать лекции естественных наук, химии...

Марья Ивановна почти не слушала, как только брат начал об естественных науках. Ей как будто вдруг грустно сделалось. В особенности когда дело дошло до химии. Она глубоко вздохнула и отвечала прямо на тот ряд мыслей, которые вызвали в ней естественные науки.

— Кабы ты знал, как мне их жалко, Петруша,— сказала она с искренней и тихой, покорной печалью.— Так жалко, так жалко. Целая жизнь впереди. Чего еще они не натерпятся!

— Что же, надо надеяться, что они проживут счастливее нашего.

— Дай Бог, дай Бог, да жить-то тяжело, Петруша. Ты меня послушай в одном, мой голубчик. Не мудри ты. Какой ты дурак, Петруша, ах, какой ты дурак! Однако мне надо распорядиться. Народу-то я назвала, а чем я их кормить буду?

Она всхлипнула, отвернулась и позвонила.

— Позвать Тараса.

— Все у вас старик? — спросил брат.

— Все он; да что же, ведь он мальчишка в сравнении со мной.

Тарас был гневен и чист, но взялся все делать.

Скоро, пышащие холодом и счастьем, вошли, шумя платьями, Наталья Николаевна и Соня. Сережа остался за покупками.

— Дайте мне на нее посмотреть.

Марья Ивановна руками взяла ее за лицо. Наталья Николаевна рассказывала.

<ИДИЛЛИЯ>

Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того

1

[Петр Евстратьич теперь большой человек — управляющий. Легко сказать, над двумя деревнями начальник; как барин повелевает. Один сын в купцах, другой чиновник, за дочерью, сказывают, 5 000 приданого дал; да и сам живет в холе, как барин, каждый год деньги в Москву посылают. А такой же наш брат — из мужиков взялся, Евстрата Трегубова сын. Да и не Евстрата сын он; ведь только по сказкам числится Евстратовым сыном, а настоящее дело вот как было. Известно, чей бы бычок не скакал, а теля-то наше.

И мудреное дело, как этот грех случился. Не мало в те поры народ дивовался. Тогда народ проще жил, и такие дела за чудо были.

Бабушка Маланька, Петра Евстраточа мать, и теперь жива, с братом Ромашей живет. Сын к себе сколько звал — не хочет. Я, говорит, мужичкой родилась, мужичкой и помру, греха меньше; поку-да силишка есть, брату подсобляю, внучат покачаю, кое-что по домашнему приберу, а Петруша сильный стал, с сильными греха больше. Так и живет, от сына гостинцы получает, благословенье ему в письме посылает, и радость ее вся, что в праздник беленьким платочком повяжется, чистенько приберется, костылик возьмет, к ранней обедне сходит, а после полдней кого грамотного зазовет к себе, велит бумажку почитать. На бумажке сон Пресвятой Девы Богородицы списан, ей богомолочка прохоящая пожертвовала; а уж пуще всего любит, кто ей Псалтырь почитает. В милостыне тоже у ней отказа нет, и переночевать всякого человека пустит, и к усопшему сама без зову идет. За то-то бабушку Маланьку, не за сына, а за добродетель ее, и старый и малый в деревне, все теперь почитают.

Что молодость-то значит. Теперь бы бабушка Маланька сама себя не узнала, какой она была лет 40 тому. Тогда ее не бабушкой звали, а — Маланька Дунаиха, за то что она первая хороводница, плясунья, игрица первая по деревне была. Худого за ней и тогда, до

этого случая, ничего не было, только веселая бой-баба была. Из деревни она была не из нашей, а из Малевки, сосватал ее Евстратов отец за сына, по знакомству ли, или что невест своих не было, только чужая она. Старик еще в поре был, на сына другую землю принял и жил исправно, лошадей голов 8 было с жеребятами, две коровы, пчелки были (и теперь у них ведется та же порода). Барщина была по-Божьему, муки не было; свекровь хозяйка настоящая была, одна за троих работала; кроме того солдатка, ихняя сестра, с ними жила, подсобляла. Так что молодайка нужды не видала.]

По старинному порядку, выдали ее замуж 15 лет. Она была девочка. В первое время, когда она, бывало, несет с солдаткой ушат воды, то качается, как лозинка. И мужа своего совсем не любила, только боялась. Когда он подходил к ней, она начинала плакать, щипать и даже кусать его. Так что первое время все плечи, все руки у него были в синяках. Таки она не любила его два года. Но так как баба она была красивая и смиренная и из дому хорошого, то ее не принуждали к тяжелой работе, и она понемножку, года через три или четыре, стала выравниваться, повыросла, раздобрела, раздумнилась, перестала бояться — стала привыкать, привыкать и так наконец привыкла к мужу, что плакала, когда отец его в город усилал. Вошел к ним в избу раз шутник Петра и говорит:

— Вишь, по ком воеет, конопатого черта-то как жалеет.

И хотел он с ней поиграть.

— Конопатый, да лучше тебя, что ты чистый. А вот что тебе от меня будет, — сказала она и ткнула его пальцем под нос.

[Да и баба же стала на все руки. В праздник уберется в ленты, галуны, выйдет на улицу — краля изо всех баб молодайка. (Ермилены жили богато, и из дому-то было, и муж гостинцы приваживал.) Как купчиха какая — глаза светлые, брови черные, лицо белое. Войдет в хоровод с платочком борша водить, или ленту снимет, плясать пойдет, языком прищелкивает, так аж пятки в спину влипают — картина.]

Бывало, пройти ей нельзя, всякой поиграть хочет, старики и те приставали. Со всеми она смеялась, а мужу верна была, несмотря на то что мужа часто дома не было. И в работе первая опять баба она была, в покос ли, в жнитво ли ухватку себе имела, что впереди всех, бывало, всех замучает, а домой идет, песни поет, перед хороводом пляшет. [Свекор с свекровью не нарадуются на сноху, что настоящая баба стала, только скучали, что Бог детей не дает.]

— Что не рожашь, буде гулять-то,— скажет, бывало, старуха.— Порадовалась бы, хоть внучку бы покачала, право.

— А разве я бы не рада,— скажет,— уж и то людей стыдно. Намеднишь и то из церкви ребягницы прошли, молитву принимали, всего второй год замужем, а уж дети. Так у тех, небось, мужья дома живут.

Как вспомнит про мужа, опять завоет, начнет причитать. Известно, год, другой погулять бабе не порок, ну а как баба-то ражая, а детей не рожает, и народ смеяться станет. [От этого-то Маланьке пуще тошно было, как свекор мужа усрал. Старик старинный мастер был по колесной части и хороших людей знал. Как Евстратка понял, его отец и стал посылать на заработки. А в это самое лето, как грех-то случился, и вовсе его отдал за 100 верст до самого Покрова, а себе работничка нанял. Сына-то за 120 рублей отдал, а работнику всего 32 рубля да рукавицы дал, так известно расчет хозяину, а бабе горе.] Скучно ей бывало без мужа. Дело молодое, рабочее, баба в самой поре, жили же исправно и мясо ели — тот пристаёт, другой пристаёт, а мужа почти полгода не видит. [И песня поётся: «Без тебя, мой друг, постеля холодна».] Придет ввечеру домой, поужинает, схватит постелю да к солдатке в чулан. Страшно, говорит, Настасьюшка, одной. Да еще все просится к стенке, а то все, говорит, чудится, что вот-вот схватит кто меня за мои ножки.

2

[Между тем делом подошли покосы.] Петра и Павла отпраздновали, платки, сарафаны, рубахи дорогие попрятали бабы по сундучкам, а то пошли опять на пруду вальками стучать, гости разъехались, целовальник один в кабаке остался, мужики похмелились, у кого было, кто с вечеру, кто поутру косы поотбили, подвязали брусницы на обрывочки и, как пчелы из улья, повысыпали на покосы. Повсюду по лощинам, по дорогам заблестело солнушко на косах. Погода стояла важная; до праздника дни за три месяц народился погожий — серп крутой. Обмылся месяц, и пошли красные дни. Покосы время веселое; и теперь весело, а встарину еще лучше того было. Разрядются бабы, с песнями на работу, с песнями домой. Другой раз, ночи короткие — винца возьмут, всю ночь прогуляют.

[Маланька впереди всех, что в хороводе, что на работе. Гогочет, заливаётся, с мужиками смеется, с приказчиком смеется, барина и того не оставила, а близко к себе никого не пускает.

Пришел сейчас после Пасхи староста повещать, еще зорька только занимается.] Старостой тогда Михеич ходил, молодой был, и своя хозяйка первая еще жива была: только ёрник насчет баб был. И мужичина белый, окладистый, брюхо наел, в сапогах, в шляпах щеголял. Приходит в избу, одна Маланька не одемши, босиком, дома была, в печи убиралась, старик на дворе с работником на пахоту убирался, старуха скотину погнала, а солдатка на пруд ушла. Стал к ней приставать.

— Я тебя и на работу посылать не стану.

— А мне что работа? Я,— говорит,— люблю на барщину ходить. На народе веселей. А дома, все одно, старик велит работать.

— Я,— говорит,— тебе платок куплю.

— Мне муж привезет.

— Я мужа твоего на оброк выхлопочу,— ведь уж я докажу приказчику, так все сделаю.

— Не нужно мне на оброк. С оброка-то голые приходят.

— Что ж,— говорит,— это такое будет; долго мне с тобой мучаться? — оглянулся, что никого в избе нет, да к ней.

— Мотри, Михеич, не замай! — как схватит ухват, да как огреет его. А сама смеется.

— Разве можно теперь? вот хозяин придет. Разве хорошо?

— Так когда ж, с работы?

— Ну, известно, с работы. Как пойдет народ, а мы с тобой в кусты схоронимся, чтоб твоя хозяйка не видала.

А сама на всю избу заливаётся хохочет.

— А то, мол, рассерчает твоя Марфа-то, старостиха.

Так что и сам не знает староста, шутит ли, или смеется. А тут старик вошел обуваться, а она все свое, и свекора не стыдится. Нечего делать, повестил, как будто затем только приходил — бабам сено гресть в заклах, мужикам возить,— и пошел с палочкой по другим избам. Кого и не следует, всех пошлет; кто и винца поставит, и то мало спуска дает, а Маланьку безо всего или вовсе отпустит, или выбирает, где полегче. Только она за это ничего ему не покорялась, а все смеется, приду — говорит. То же и с другими. Мало ли ей в это лето случаев было. Да и сама она говаривала, никогда такого лета не было. Сильная, здоровая, устали не знала, и все ей весело. Уберется, выйдет на покос, уж солнышко повзойдет из-за лесу около завтрака, пойдет с солдаткой, песню заиграет. Идет раз таким манером через рощу — покос на Калиновом лугу был. Солнышко вышло, день красный, а в лесу еще холодок стоит, роса каплет, птицы заливаются, а она пуще их. Идет, платок красный, рубаха шитая, босиком, коты на веревочке, только белые ноги блестя да плечи подрагивают. Вышли на поле, мужики господскую пашут. Много мужиков, сох 20 на 10 десятинах. Гришка Болхин ближе к дороге был,— шутник мужик,— завидел Маланью, завернул вожжу, подошел поиграть, другие побросали, со всеми смеется. Так до завтрака пробалаясничали бы, кабы не приказчик верхом.

— Что вы, сукины дети, такие сякие, короводы водить.

Рысью на них запустил, так пашня под копытами давится, грузный человек был.

— Вишь бляди, в завтрак на покос идут. Я вас.

Да как Маланьку признал, так и сердце прошло, сам с ней посмеялся.

— Вот я,— говорит,— тебя мужицкий урок допахать заставлю.

— Что ж, давай соху, я выпашу проти мужика.

— Ну буде, буде. Идите, вон еще бабы идут. Пора, пора гресть. Ну, бабы, ну.

Совсем другой стал.

Так, как пришла на луг, стали порядком, как пошла передом ряды раскидывать, так рысью ажно, смеется приказчик, а бабы ругают, что черт, замучала. Зато как пора обедать ли, домой, уж всегда ее к приказчику посылают; другие ворчат, а она прямо к начальнику, что, мол, пора шабашить, бабы запотели, али какую штуку отмочит, и ничего. Раз какая у ней с приказчиком штука приключилась. Убирались с покосами, стог кидали, а погода необстоятельная была, надо было до вечера кончить. За полдень без отдыха работали, и дворовые тут же были. Приказчик не отходил, за обедом домой посылал. Тут же, под березками, с бабами сел. Только пообедал,— что, говорит, ты, кума Маланья,— он с ней крестил,— спать не будешь?

— Нет, зачем спать.

— Поди-ка сюда, поищи мне в голове, Маланьюшка.

Лег к ней, она смеется. Только бабы позаснули, и Маланья-то задремала; глядела, глядела на него, красный, потный лежит, и задремала. Только глядь, а он поднялся, глаза красные выкатил, сам какой-то нескладный.

— Ты меня,— говорит,— приворотила, чертова баба.

Здоровый, толстый, схватил ее в охапку, волочет в чашу.

— Что ты,— говорит,— Андрей Ильич, нельзя теперь, народ проснется, срам, приходи,— говорит,— лучше после. Отпусти раньше народ, а я останусь.

Так и уговорила. А как отпустил народ, она вперед всех дома была. Сказывал парнишка, Андрей Ильич долго все за стогом ходил. И это ее первая охота была, что всякого обнадежит, а потом посмеется. Так-то, как приехал барин в самые Петровки, был с ним камердин — такая bestия продувная, что беда. Сам, бывало, рассказывает, как он у барина деньги таскает, как он барина обманывает. Да это бы все ничего, только насчет баб уж такой подлый, что страх. Сбились его тогда мужики побить, да и побили бы, спасибо, скоро уехал. А из нашего же брата. Полюбилась ему Маланья, стал тоже подъезжать, рубль серебра давал, синенькую, красенькую давал.

— Ничего,— говорит,— не хочу.

Так на хитрости поднялся. Старосту угостил что ли, стакнулся с ним. Весной еще было — молотили. Темно начинали.

— Я,— говорит,— полезу на скирд, а ты и пошли скидать одну. Там моя будет.

— Ладно.

Только влезла она на скирд, он к ней.

— Постой,— говорит,— тут не ловко.

Взяла снопы раскидала, яму сделала да его туда и столкни, а сама долой, лестницу сняла да на другой скирд, раскрыла, подает. Рассвело уж, так сказала,— то-то смеху было. Бабы сбежались, портки с него стащили, напихали хаботья и опять надели. Так все не пронялся, все старосту просил ее в сад посылать дорожки чистить. Тут-то на нее

барин наткнулся. И не слышать за ним этого прежде было. Видно, уж баба-то хороша была. Только,— рассказывала сама,— смотрю, идет барин, дурной, худой такой, чудно как-то все на нем. Прошел, я за работу, скребку; только хотела отдохнуть, смотрю — опять по дорожке идет. Дорожки там густые, крытые. Ну, думаю, по своему делу гуляет. Только покосилась на него, так и впился в меня глазами. Так до обеда покою не давал, все ходит, смотрит. Так измучалась, что беда, на покосе легче. А не подходит. Барин-то, видно, так на нее глядит, известно, господам делать нечего, а она думает, за работой смотрит, так старается, что одна всю дорожку выскребла. Только хорошо, идет этот камердин опять к ней.

— Барину,— говорит,— ты дуже полюбилась, велел прийти вечером в ранжерею.

Ладно, думает, это все твои штуки — приду, дожидайся.

— Мотри же.

— Сказано, приду.

Вечером взяла скребку, пошла домой; только думает, что и в самом деле барин, пожалуй, звал. Зазвала солдатку, задами полезли к ранжерее, смотрят — ходит. Солдатка как закричит по-мужицки, такой голос она умела делать:

— Кто тут?

Барин бежать. Бабы смеялись, смеялись, пришли домой, покатываются — всем рассказывали. На другой день опять в сад посылают. [Только повар пришел, говорит: так и так, ты, верно, камердину не веришь, так он меня прислал. Что взаправду он тебя хочет и непременно велел приходить.

— Ладно, я,— говорит,— думала, что камердин, так пошутила, испугать хотела, а теперь приду.

Как работу кончила, так прямо в дом да на девичье крыльцо.

— Чего, мол, тебе?

— Барин велел.

Вышла барыня.

— Чья ты? — говорит,— какая ты,— говорит,— хорошенькая. Зачем тебя барин звал?

— Не могу знать.

Вызвали барина, красный весь пришел.

— Приди,— говорит,— после с отцом, а мне теперь некогда.

А то раз днем к ней подшел, такое начал говорить, что она не поняла ничего. Только хотел ее за руку взять, она как пустится бежать, и ушла от него.]

Так-то она где хитростью, где обманом, а где силой. Раз поставили солдат к ним в избу. Известно, все вместе спать легли. Почти рядом. С вечера юнкер, из господ что ли, свекора напоил; как потушили свечу, полез к ней. Так она его так огрела, что хотели жаловаться, чуть глаз не выбила ему. А то другой раз офицер стоял, так тоже обещала, да вместо себя ночью солдатку подсунула.

Так-то она никому спуска не давала. Мало того: кто к ней не пристаёт, так она сама пристанет — раздражит да и посмеется.

— Не сдобровать тебе, повеса, наскочишь,— бывало, скажешь ей.

— А что ж,— скажет,— коли они меня любят, разве я виновата. Что ж, плакать что ль. Отчего не посмеяться.

[Жил у них в это лето работник, Андреем звали, из Телятинок он был, Матрюшки Коровайхи сын. Теперь он большим человеком стал; а тогда беднее их двора по всей округности не было. От бедности отдали малого, а сами Бог знает как перебивались.] Андрюшка тогда был вовсе мальчишка, годов 16, 17. Длинный, худой, вытянулся, как шалаш, куда хочешь шатни, силишки вовсе не было. И как он работал, Бог его знает, из последних сил выбивался. Малый же старательный, смиренный. Хозяина пуще станowego боялся. Да и всякого старшего мужика уважал. Бывало, в праздник, чужой за вином пошлет — бежит, старается. А уж с бабами или девками — ну да девки у нас какие — поиграть, этого от него никогда не видно было. Как красная девушка зарумянится и сказать в ответ ничего не умеет, коли с ним баба пошутит. Лицом, правда, чистый, аккуратный был, глаза светлые, волосы русые, ну да все какой красавец — так, работник мальчишка — армячишка платаный, рубашонка посконная в дырках, шляпенку какую-то у ямщиков старую выменил, босиком али в лаптишках, и те сам сплел — вся и обувь была. Так ведь и работнику лядащему покою не дала, совсем одурила малого.

Он сам сказывал:

— Пришел я,— говорит,— в дом, боюсь, страх. Хозяин ничего, указал все, велел, что работать; когда на барщину пошлет, когда с собой возьмет; косить или что не принуждает, пожалеет; что сам ест, то и мне даст; старуха тоже молочка другой раз даст; попривык к ним, только молодайки пуще всех боялся. Бог ее знает, чего ей от меня нужно было. Запрягать ли начну или за соломой на гумно скотине пойду, подскочит, вырвет из рук. «Вишь,— говорит,— телятинский увалень, коли поворотится, коли что». И сама начнет, да так-то живо, скоро все сделает, засмеется, уйдет. А то за обед или за ужин сядем, боюсь все чего-то, глаз не поднимаю; гляну на нее, а она все на меня косится, подмигнет другой раз, смеется. А то пройдет, ущипнет, а сама как ни в чем не бывало. Пойдут с солдаткой на амбар спать.

— Андрюшка, а Андрюшка! — слышу, зовут. Подойду.

— Чего?

— Кто тебя звал?

И заливаются смеются.

Проснулся раз, в санях на дворе спал, что бабы помирают смеются, на меня глядя.

— Заспался,— говорят,— поди, хозяин зовет.

Пошел.

— Что ты,— говорит,— измазался, хоть помойся, табун шарахнется, настоящей черт; на, поглядишь в зеркальце.

Всего сажай испачкали.— Поехали раз за сеном в Кочак, хозяин послал, с бабами. Только сгребли в валы, копнить стали. Баба так и кипит, подпрыгивает с вилами, пуда по 3 на граблю захватит, и Андрюха с ними. Только скопнили последнюю, жарко, мочи нет, запотели, Андрюха навилину последнюю положил, влез на копну, топчет.

— Что ты,— говорит,— Андрюшка, никогда с бабами не играешь?

— Нет, чего играть, копнить надо.

— И не знаешь, как?

— Не знаю.

— Хочешь, я поучу?

Он молчит. Схватила его, повалила под себя и ну мять, а солдатка на них сена навалила да сама навалилась.

— Мала куча,— кричит.

Андрюха вывернулся из-под нее, ухватил за голову и ну целовать, так осмелился. Так рассерчала.

— Вишь сволочь, работничиска, целоваться лезет губищами своими погаными.

Вскочила, так засрамила, что беда. Малый совсем ошалел. Пришел домой, ничего не понимает, что хозяин велит. Хозяин любил его, такой малый смирный, усердный, что поискать.

— Что, мол, с Андрюхой сделалось, уж не умирает ли?

— Как же умирает, он все с бабами играет. Пора умирать гладуху такому в самую рабочую пору. Вот и я умирать стану.

Пуще малого засрамила, что хоть бежать, мочи ему не стало. Приворотила его совсем после этого раза, что как бы только посмотреть на нее, а сам боится пуще начальника какого.— Боится, а ночи не спит, днем не спит, все за ней ходит. Раз на покосе, у Воронки, вместе мужики и бабы были, косили заклы, а бабы гребли на Калиновом лугу. Пошли бабы купаться в обед и мужики тоже; мужики с одной стороны, бабы с другой стороны реки. Тишка шестипалый, даром что женатый, шутник был, подплыл к бабам, начал топить Маланьку.

— Платок замочу,— кричит,— брось, брось, черт, чуть не захлебнулась.

Откуда ни вывернулся Андрюшка, да к Тишке:

— Что ты ее топишь?

Подрались было. Как завидит, Маланья купаться пойдет, залезет в камыши, смотрит. Раз его бабы застали, повыскочили из воды, так в рубахе в воду втащили. Совсем одурел малый, только пища-то не очень сытная, чаем не поили, да и работа день-деньской, а как

вечер, так в ночное с стариком, так некогда о пустяках-то думать было.— Особенно с того раза, как после покоса она его осрамила, ничего уж он с ней не говорил. Чтб бы ни делала, не буду, говорит, виду показывать. Хорошо. Погода все покосы в этот год стояла важнейшая. Не сено, а чай убрали; накануне скосят, а на другой день в валы гребли. Барское все убрали, и свое мужички посвозили,— тогда угодей много было,— возов по 6 на брата привезли, и еще дальний покос в роще оставался воза по два, да еще подрядил дворник нашу барщину исполу убрать казенные луга. Он их нанимал. Барщина у нас большая была, и затяглых много. Взялись такие, у которых лишний народ был. У старика Евстратова работник был да солдатка, так сам с старухой на барщину ходил, а Андриюху с Маланьей послал к дворнику. Верст за 9 от деревни дворников покос был. Собралось кос 20. Накануне еще мужики пошли, скосили, на другой день бабы приехали; заложили телеги, забрали хлеба, квасу, огурцов, котелочки, круп и поехали на неделю. Всю дорогу песни, смехи; бабы, мужики человек по 10 в телегу надели. Андрияха своего хозяйского пегого меренка заложил — первая лошадь в деревне была (и теперь завод этот у них ведется). Уложил косы, у других ребят взял, бабы — грабли, котелки, сел с бабами, как князь с княгиней едут. Даже народ смеется. Выехали на большую дорогу. Стал народ перегоняться. Маланья говорит:

— Пошел!

— Хозяин не велел.

— Вишь поп какой. Валяй!

— Смотри, я отвечать буду, а не ты.

— Ну, пошел!

Вырвала у него вожжи.

— Ну, сама делай.

Взял слез, пошел пешком. Такое сердитое лицо сделал.

Как приехали мужики — из себя же старосту выбрали — показал место, живо лошадей поотпрягли, поспутали, ящики посняли, загородили, деревья понагнули, шалашики поделали, сенцом покидали, пошла работа. Андрей приходит.

— Где,— говорит,— мерин?

— А я почем знаю? Разве я работница? Ты бы ломался.

Что с бабой говорить. Махнул рукой, пошел у мужиков спрашивать. Нашел, спутал. Обиделась Маланья, ничего не сказала. Постой, я те вымещу, думает. Пошла работа: бабы в валы гребут, песни поют. Мужики за ними копнят вилами. Старик дворник приехал, шутит с народом.

— Пожалуйста, братцы, постарайтесь,— говорит,— погода не устоит, вам же хуже.

— Винца полведра поставь.

— Ладно,— говорит.

Так любо-дорого смотреть, как работа пошла. В обед полчаса вздохнули, опять за дело. На барщине того бы в три дня не сработали. Весело, дружно. Одному только Андрюхе пуще других дней тошно. Расчет возьму, думаю, пойду к матушке, скажу — на дороге наймусь. А сам все на Маланью смотрит. Под горой, видать, она передом по косогору идет, и ногой и граблей подкидывает сено, в два аршина загребает, сама песню поет, а не то гогочет, на всю рощу заливается. На него и не посмотрит ни разу. Еще ему тошней того. Нет, бросить надо, думаю себе, совсем не тот я человек. Пришли к телегам, уж темно, поужинали, винца выпили. Маланья Андрюшке слова не сказала. Которые старше, спать полегли. Бабы по стаканчику выпили, так-то раскуражились, что и спать не хотят. Стали хоро-воды водить. Старик дворник с ними; еще за вином послали. Андрюхе грустно еще пуще того: все народ богатый, да и свои, а он чужой, работник; вино же он не пил и привыкать не хотел. Взял армячишко, ломоть хлеба отломил, пошел в сторону на копну, у березы стояла. Сено не готово еще было. Сгребли только от росы,— завтра разваливать опять хотели, на погоду глядя. Сено сырое, зеленое еще, пахучее. Поскидал верх сырой, крупный — лесное сено — постелил армяк — лег; так-то ему грустно, грустно стало. Там, из-за лесу, бабы кричат, смеются — ребята за ними гоняются, Маланьин голос слышно,— дымок до него доносит ветерком. А на небе чисто, чисто, звездочки дрожат. Лег навзничь, как ни устал, стал на звезды смотреть. За леском затихло все, а ему все не спится. Со скуки стал песню петь. Только, что такое — копна шевелится.

— Кто тут?

Глядь, бабы.

— Кто ты, чего?

Узнал — солдатка с парнем прошла в кусты, другая баба и есть Маланья; взяла, ничего не говоримши, подошла к нему, села на копну.

— Это я. Что перестал — пой, Андрюша.

Андрюшка заробел, хочет петь, как будто голос пропал.

— Что ж ты, пой.

Взяла его за рукав, дергает.

— Я люблю эту песню. Наскучили мне мужики, я от них ушла.

Пой же.

— Ну... оставь.

— Что тебе, скучно?

Молчит.

— Чего тебе скучать? Вот мне без мужа так скучно, а тебе что?

Сыт, сух, чего тебе еще?

— Что тебе в муже, у тебя и без мужа много.

[— Не мил мне никто, Андрюша. Тошно, скучно мне, мочи моей нет. Не мил мне никто, окромя мужа. А что ж ты с бабами не играешь?

— Что ж, я чужой, у вас своих ребят много.

— Ты серчаешь на меня?

— Нет, за что ж?

— Экой ты горькой, право, посмотрю я на тебя, нелюбимой ты, право. А за мерина рассерчал?

— Нет, Маланьюшка, я тебе всю правду скажу... ты меня оставь. Что я тебе... я работник... а то совсем глуп стал... ведь сам себе не властен... я на тебя и не смотрел прежде... мало ли, кажется, других баб по деревне... право, ты оставь... А что скучно, так дома давно не был...

Она молчала и складывала занавеску вдвое, потом вчетверо и опять раскладывала.]

— А что ж, женить скоро?

— А Бог знает.

— Я бы за тебя пошла.

Андрюшка помолчал. В кустах зашумело и свистнул кто-то. Андрюха засмеялся.

— Вишь, Настасья хозяйина нашла.

— Я бы пошла за тебя.

Маланья встала, села на колени к Андрюхе, обеими руками взяла его за щеки и поцеловала.

— Никто мне не мил, никто мне не мил.

Из кустов зашевелилось, она вскочила и побежала к солдатке.

— Что ты со мной делаешь, что ты со мной сделала,— сказал Андрюха и ухватил ее за руку. Но она вырвалась:

— Брось, вишь народ идет, увидит.

Андрюха не спал ночь, а она с солдаткой пришла к телегам и завалилась спать посередь баб и заснула, как мертвая, ничего не слыхала, не видала. Андрей долго сидел на копне, слушал, рыскал около телег, но Маланья не встала; слышал он только, как собаки лаяли на станции, как петухи закричали, птицы проснулись, мужики пришли, сменились из ночного, как роса холодная покрыла землю и сено. Он сам не помнил, как заснул. На восходе его разбудили. Маланья была такая же, как всегда, как будто ничего не было.

4

Как роса посошла, позавтракали, принялся народ опять за работу. Самая веселая работа подошла, возить, в стоги метать; кто поехал хворосту на падрину рубить, кто телеги запрягал, кто копны разваливал, кто жеребий кидает. День был красный, а старики говорили, что по приметам не устоять: росы мало было, табак у дворника в тавлинке к крышке прилип, ласточки низом летали, и мгла в воздухе была, из дали не синело и так-то парило, что сил не было.

До обеда уж порядочный стог скидали, с телег подавать стали и за большими вилами послали — не доставали. На скирду 3-е пода-

вальщиков, 2 с каждой стороны, один очесывает. Дворнику сначала клали. Он сам распустил пояс, тоже подает — брюхо толстое — так и льет с него.

Баб возить заставили. Маланька с солдаткой возят; только привезет, на возу сидит, мужики закрутят, валют, чтоб ее свалить, только успевай соскакивать, а то вывалют с сеном, то-то смеху. Раз не поспела, вывалили. Андрюха в подавальщиках был со мной. Хоть наша сторона полегче была, в тени, а замаялся мой малый без привычки, так что беда. Ну известно, перед народом старается не отстать, навилит, навилит, особо, как бабы смотрят, перегнется, перехватит — другой раз не под силу, ну подыметь. Пойдет, ноги подламываются, навилина над головой, сверху на потное лицо сухие травки сыпятся, липнут. Тут зарость, чьи скорее подают. «У нас больше». И шум, и смех, и работа-то, и запах, как одурелый сделаешься. А дворник все подгоняет — тучки собираются; что подгонять, дело свое — стараются из последней моченки. К обеду скидали один стог, вывершили, веревку перекинули, спустились. Андрюха пошел, рук не чувствует. Чуть вздремнули, другой кидать стали. Охупками сначала живо идет, по зеленому листу падрины, потом выше, выше наши бабы зароятся, беда. Тучки же заходят.

— Братцы, кидай пупом, живо, ведро поставлю.

То-то закипело. А тучка ближе, ближе, ветер поднялся. Залез наверх дворник, на него кидать пошли; борода развеивается, не успеет огрести, завалили совсем; вылезет, опять завалит.

— Давай еще! Принимай! Вали с бабой! Круче вывершивай, оточи, одергивай сверху. Еще осталось много ли?

— Две копны за кустами.

Бабам ехать пришлось — не знают, говорят. Андрюха мой, вижу, ослабел вовсе, бьется, да уж как лист дрожит.

— Ступай, ты знаешь.

А ветер сильней, сильней, тучка так и надвигает, борода и рубаха у дворника треплются, как на скворешнице. Обтер пот Андрюха, полез в телегу.

— Давай бабу еще наверх,— кричит.

— Нам давай.

Послали солдатку. Одернули с колес сено. Маланька встала, ухватила за вожжи, только ноги да груди подрагивают. Андрей, как кулек какой, через кочки треплется. За кусты поехали. Подъехали, слез навивать Андрюха, баба на возу принимать осталась, только посмеивается, глядя на него, ничего не говорит, охупками укладывает по грядкам, на него поглядывает. Хотел он навилину подать, подкосились ноги, упал на сено, моченьки не стало, перестал навивать.

— Что ж ты?

— А вот убью себя. Душегубка ты, вот что, злодейка, да, убью тебя и себе конец сделаю.

Соскочила к нему.

— Что ты, Андрей! Аль одурел, али испортили?

Схватил ее за ручки:

— Не мучай ты меня, Маланьюшка, мочи моей не стало, али прогони ты меня с глаз своих ясных, не вели ты мне жить на белом свету, али пожалей ты меня сколько-нибудь. Знаю я, что не мне чета за тобой ходить, и хозяин у тебя мужик хороший. Не властен я над собою. Умираю — люблю тебя, свет ты мой ясный.

А сам ухватил ее за руки, заливаясь плачет.

— Вишь, силы нет навивать, а влип, как репейник, брось, вишь, что выдумал. Брось, говорят, вот я хозяину скажу.

— Да ведь ты сама... Зачем ты вчера меня целовала?

— Вчера хотелось, а нынче работать нужно. Ну, вставай, брось. Нонче ночь наша будет.

— Правда, Маланьюшка?

— А то разве лгать буду. Правда, что ночь будет. Вишь, дождик. Ну!

Нечего делать, очнулся кой-как, навил воз, перекинул веревку, поехали. Идет подле.

— Не обманешь?

— Верно.

А сама все смеется.

Скидали воз, только успели, а уж дождик крапит. Живо под телеги забился народ, шабаш. Дворниково сено убрали, свое осталось. Делать нечего, пошел народ по домам. Ведь догадалась же, шельма. Андрея оставила с телегой, сама с солдаткой домой пошла. Только вышли, Никифор, что с солдаткой жил, за ними. Отстала солдатка, Маланья одна домой пошла. Дождичек прошел, солнушко проглянуло, идти лесом. Маланья разулась, подобрала паневу на голову, идет, ноги белые, стройные, лицо румяное, ну как ни прибежится, все красавица — красавица и есть.

Тут ее, видно, Бог и наказал за все шутки и за Андрюху. Дворник сено гуртовщику запродавал и гуртовщика-то в этот самый день звал на покос сено посмотреть. Идет Маланька через поляну и о чем думает, Бог ее знает: и солдатка тут с Никифором в голове и Андрюха — сама ушла, и жалко ей крепко Андрюху, и все; идет, видит — навстречу человек на коне верхом едет. Кафтан купеческой, картуз, из кафтана рубаха александринская, сапоги козловые, конь низовой, молодецкой, и на коне седок, из себя молодчина — орел, одно слово сказать, толстый, румяный, чернобровый, волосы черные, кудрявые, борода, усы чуть пробиваются. Едет, трубочку, медью выложенную, покуривает, плеткой ременной помахивает. Из себя, сказать, что красавец, кто его не знал. Маланька не видывала его в жизнь, а мы так коротко знали Матвей Романыча, гуртовщика. Такой шельмы другой, даром что молодой, по всей губернии не было. Насчет ли баб, девок обмануть, скотину чумную спустить, ло-

шадьми барышничать, рошицу где набить, отступного взять — дошлой был, даром что годов 20 с чем, и отец такая же каналья.

— Здравствуй, тетушка, куда Бог несет?

А сам поперек дороги стал.

— Домой идем, что дорогу загородил, я и обойду.

Повернул лошадь, за ней поехал. Посмотрит на него баба — орел, думает, это не Андрюхе чета.

— Как тебя зовут, молодайка?

— А тебе на что?

— Да на то, чтобы знать, чья такая красавица бабочка.

— Какая ни есть, да не про тебя. Нечего смеяться-то.

— Какой смеяться. Да я для такой бабочки ничего не пожалею.

Как звать?

— Маланьей. Чего еще нужно?

(Он опять дорогу загородил.) Слезать стал.

— Мотри! — да граблями на него.

— А по отчеству как?

— Радивоновна.

Слез, пошел с ней рядом.

— Ах, Маланья Радивоновна, хоть бы поотдохнула минутку, уж так-то ты мне полюбилась.

А Маланька как чует чего недоброго, и лестно ей, и любо, и жутко, все скорее шагу прибавляет.

— Ты своей дорогой ступай, а я своей. Вот мужики сзади едут. Тебе дорога туда, а мне сюда.

— Маланья Радивоновна, мне,— говорит,— за тобой не в тягость идти.

Взял из кармана платок красный, достал, ей подает.

— Не нужно мне от тебе ничего, брось.

— Матушка, красавица, Машенька! — говорит.— Что велишь, то и сделаю, полюби только меня. Как увидел тебя, не знаю, что надо мной сделалось. Красавица ласковая, полюби ты меня!

И Бог знает, что с нею сделалось, такая бой-баба с другими. Только потупилась, молчит и сказать ничего не умеет. Схватил он ее за руки.

— Негаданная, незнатая ты моя красавица, Маланья Радивоновна, полюбил я тебя, что силы моей нету. 10 месяцев дома не бывал,— сам бледный как полотенце стал, глазами блестит,— мочи моей нет.— Сложил руки так-то.— Богом прошу тебя,— голос дрожит,— постой на час, сверни ты с дороги, Маланья Радивоновна, утешь ты мои телеса.

Растерялась, только и сказала:

— Ты чужой, я тебя не знаю.

— Я чужой, и стыд с собой увезу.

Да как схватит ее на руки,— мужик здоровый,— понес ее сердешную.

Разузнал все об ней, где двор и где ночует, вынул кошелек из пазухи, достал целковый рубль, дал ей. Взвыла баба:

— Пожалей ты меня, не срами.

— Вот тебе,— говорит,— моя память, а завтра как темно, так я засвищу на задворке.

Проводил ее до выхода из лесу, сел на коня и был таков.

5

Пришла домой, старик, старуха ничего не знают, не ведают, а видят — баба другая стала. Ни к чему не возьмется, все куда бегаёт. Андрюхе еще тошнее стало. Пришел он раз к ней на гумно, стал говорить, так как на злодея напустилась, остервенилась вовсе, заплакала даже.

— И не смей ты говорить мне ничего, навязался — черт — пошутить нельзя,— заплакала даже,— от тебя мне горе все.

Ничего не понял, еще тошнее стало Андрею, а все уйти силы нет. Хотел отец его на другое место поставить, много лишков давали, так нет, говорит, я даром здесь жить стану, а в чужие люди не пойду.

Тут, с этого покоса, и погода переменялась, дожди пошли беспрестанные; которая мужицкая часть осталась, так и сопрела в лугах. Кое-что, кое-что высушили по ригам. С утра и до вечера лило; грязь, ни пахать — из рук соха вырывается, гужи размокают, ни сено убирать, ничего.— Идет раз Андрюха в ригу, на барщину, по лужам посклизается, шлепаёт; видит, баба, накрывшись платком, с хворостиной, голыми ногами по грязи ступает — корову Маланька искала. Дождь так и льет как из ведра целый день, скотину в поле не удержат пастухи. Смотрит, гуртовщик едет, поровнялся с ней.

— Нынче,— говорит.

Маланька голову нагнула. «Так вот кто», думает Андрей. Пришел домой, спать не лег, все слушал. Слышит, свистнул кто-то за гумнами. Маланька выскочила, побежала. Пришел Андрей к овину, видит — мужик чужой.

— Ты кто?

— Работник.

— Не сказывай, на двугривенный.

Взял Андрей двугривенный, что станешь делать. Только не Андрей один узнал, стали замечать по деревне: часто наезжает гуртовщик, Маланька с солдаткой бегаёт. Ну, да мало ли что говорят, верного никто не знал. Приезжает раз Евстрат ночью. Слышал ли он, или так,— бабы нет.

— Она,— говорят,— на гумно пошла.

Пошел в овин — голоса. Задрожал даже весь. В сарай, глядь — сапоги.

— Эй, кто там? — да дубиной как треснет; гуртовщик в ворота, да бежать. Малашка выскочила в рубахе одной, в ноги.

— Чьи сапоги?

— Виновата.

— Ладно ж, ступай в избу.

А сам сапоги взял понес. Лег спать один. Утром взял чересседельню свил, видит Андрей. Зазвал бабу в чулан, ну жучить; что больше бьет, то больше сердце расходится.— «Не гуляй, не гуляй!» — за волоса да об землю, глаз подбил. А она думает: «В брюхе то, что сидит, не выбьешь».

Мать стала просить. Как крикнет: «Кто меня учить с женой будет!», что мать застыдилась, прощенья просила. Запрет лошадь, поехал с Андреем пахать. Стал допрашивать.

— Ничего не знаю.

Приехал домой, отпрег, баба ужинать собирает — летает, не ходит; умылась, убралась, синяк видно, и не смеет взглянуть. Поужинали. Старики пошли в чулан. Лег на полати, к краю, ничего не говорит.

— Туши лучину.

Потушила. «Что будет делать?» — думает. Слышит, разувается. Ладно. Видит, прошла мимо окна. Ведь шесть месяцев дома не был, да и побил. Так-то мила она ему. Подле него зашевелилась молча. Приподняла армяк, как прыгнет к нему, как козочка, в одной рубашке, обняла, чуть не задушила.

— Не будешь?

— Не поминай!

С тех пор и забыла думать о гуртовщике. А Евстрат сапоги продал за 6 р. и смеялся часто:

— Не попался он, я бы с него и армяк снял.

Андрюха дожил до Покрова и пошел домой и долго все не забывал, а тут на него землю приняли, женили. Через 9 месяцев Маланья родила, выпечатала в гуртовщика, и любимый ее был старший этот самый Петрушка.

ИДИЛЛИЯ

Не играй с огнем — обожжешься

<1>

Маланья Дунаиха взята из чужой деревни Малевки. Сосватал ее старик Дутлов за старшего сына по знакомству. Своих невест тогда в деревне не было, да и девочка была славная и из дому хорошего. Замуж она вышла всего годочков 14; вовсе ребенок несмысленный была. Ни силы еще, ни понятия вовсе не было. На груди занавеску где хочешь перетяни, как скатерть на столе постели. Чуть приметно, что не парень паневу надел. Не скажешь, что баба, даром что плат-

ком повязана. Понесет ушат с водой, так как лозинка качается. А Евстрата — мужа так звали — с первого начала страх не любила. Как огня боялась. Он, бывало, к ней, а она плакать, щипать, кусать его примется. Все плечи, руки у него в синяках были. И не месяц и не два, а год и другой и третий не любила она его. Ну, бабочка она аккуратная из себя, смиренная, да и жили-то Дутловы по-Божьему и исправно, так и не принуждали дюже молодайку ни к работе, ни что.

Дутловы в то время — хоть не богачи были — а люди с достатком. Старик сам в поре еще был, тягло тянул, сына женил, другую землю принял; второй сын, Трифон, уж подсобка была, пахал; солдатка еще с ними жила, барщина не тяжелая была; лошадей было голов 8 с жеребятами, две коровы, пчелки были (и теперь у них та же порода ведется). Дороже всего, что старик мастер был по колесной части и Евстратка у него понял хорошо, так что, кроме всего, заработки хорошие были; и в работе-то натуги не было, и ели хорошо, в праздник и винца купят.

Прошел год, и два, и три, как Маланька в двор вошла, повыросла, раздумянилась, раздобрела, повыравнилась бабочка, так что узнать нельзя. В праздник уберется — бусы, ленты, платок ковровый, выйдет на улицу — изо всех баб баба. И из дому-то было, да и муж гостинцами дарил, как купчиха какая. Платок алый, брови черные, глаза светлые, лицо румяное, чистое, сарафан ситцевый, коты строченые, сама как береза белая была, никакой болезни никогда над собой не знала. Выйдет ли в хоровод борша водить — краля; или плясать пойдет, — так аж пятки в спину влипают — картина. К работе тоже очень ловка и сносна стала. С граблями ли, с серпом, на барщине ли, дома — никого вперед себя не пустит, такую ухватку себе взяла, замучает баб всех, а домой идет — песню запоет, по-мужицки так, из-за рощи слышно. А домой придет — ужинать соберет, старухе подсобит. Свекор с свекровью не нарадуются, какая молодайка вышла, а муж и души не чаял. Бывало, ни в праздник, ни в будни пройти ей не дадут; всякий поиграть хочет — старики, и те приставали. Со всеми смеется, только худого ничего не слышно было; одного мужа любила, так-то к нему привыкла, что как на неделю ушлет его отец за ободьями или что, так как тоскует; а придет муж, и не знает как приласкать. Не то что прежде — к себе подойти не пускала, как кобылка степная.

— Вишь, по ком вое, — говорит ей раз сосед Никита, — конопатого черта-то как жалее, какого добра не видала, — пошутил он.

Так как вскинется на него. Хотел он было поиграть с ней — куда.

— Конопатый, да лучше тебя, что ты чистый, а вот что тебе от меня.

Да как ткнет ему пальцем под нос. Оно точно, Евстрат-то ее конопатый был и из себя нескладный, длинный, грубый, неразговор-

чивый мужик был. Только что здоров, против него силой другого по деревне не было, и хозяин настоящий был. Даром что молодой, отец его одного, бывало, за всякими делами посылает. Что я, что Евстратка, все одно, говорит. И Евстратка жену еще пуще любить стал, только в одном сучал, что детей не было. Бывало и старуха скажет:

— Что не рожает, буде гулять-то: порадовалась бы, хоть внучку покачала, Маланьюшка, право.

— А разве я бы не рада,— скажет,— уж и то людей стыдно. Намеднишь и то Ризунова из церкви с младенцем прошла, молитву принимала; всего второй год замужем. Так у ней небось муж дома живет.

Известно, год-другой погулять бабе не порок, ну, а как баба-то ражая, в самой поре, а детей не рождает, и народ смеяться станет.

От этого Маланье на третий год пуще тошно стало, как свекор мужа на все лето в работу за 100 верст отдал. Сына за 120 р. отдал, а работника нанял за 32 р. да рукавицы. Хозяину расчет, а бабе горе. Взыла баба, как проводила его, как будто сердце что чуяло. Как по матери родной убивалась.

И песня поется: «Без тебя, мой друг, постеля холодна». Днем смеется, смеется с народом, а после ужина схватит, сердешная, постель да к солдатке в чулан. Страшно, говорит, Настасьюшка, одной. Да еще все просится к стенке. Все, говорит, чудится, что вот-вот схватит кто меня за мои ноженьки, потащит меня — боюсь, страх.— А сама не знает, чего боится. И баба, кажись, не таковская, чтобы побояться чего-нибудь.

2

И прежде приставали к бабе, а как муж уехал, так вовсе покою с утра до вечера давать не стали. Она и сама говорила, что такого веселья, как в это лето, никогда ей не было. И случаев много ей было, коли бы захотела пустяками заниматься. Придет, бывало, с утра староста повещать, еще зорька занимается; к другим десятского пошлет, а уж к Дутловым сам зайдет, час целый сидит, с бабами шутит. Старостой Михей ходил, малый молодой, немученый и до баб ёрник беда был. Как только одну захватит, и начнет:

— Только прикажи, что хочешь сделаю, никуда посылать не стану, мужа на оброк выхлопочу, платок куплю, что велишь, все сделаю, все могу, только не мучь ты меня. А то, право, не рассерди ты меня.

Так ни да, ни нет не скажет.

— На барщину,— говорит,— посылай, мне веселей на миру работать, дома та же работа; платка твоего не нужно, мне муж привезет; на оброк мы и так не хотим; а сделать ты мне ничего не можешь. Не боюсь тебя, да и все.

Честью просить станет:

— Маланьюшка, матушка, ведь много других баб, а ни одна не мила.

Обнимет ее. Так смеется:

— Ладно, ладно,— говорит.— Разве можно теперь, хозяин придет, разве хорошо?

— Так когда ж? с работы?

— Известно, с работы, как пойдет народ, а мы с тобой в кусты схоронимся, чтоб твоя хозяйка не видала.— А сама на всю избу заливается хохочет.— А то, мол, рассерчает дуже твоя Марфа-то старостица.

Так что не знает староста, шутит ли, нет ли. При свекоре, при свекрови все свое кричит, не стыдится. Нечего делать, повестит, как будто затем только и приходил, пойдет с палочкой по другим избам. А всё кого других и лишний раз пошлет, и на тяжелую работу, а Дутловы как хотят, так и ходят, и все из-за Маланьки. Маланька охотница была на барщину ходить, особенно на покос. Дома приуправятся, уберется, как на праздник, возьмет грабли, в завтраки выйдут с солдаткой на покосы.

Идет раз таким манером через рощу. Покос на Калиновом лугу был. Солнышко повышло из-за леса, день красный, а в лесу еще холодок. Опоздали они с солдаткой, разулись, идут леском, гутарют. Только вышли на поле, мужики господскую пашню поднимают. Много мужиков, сох 20 на десяти десятинах по дороге было. Гришка Болхин ближе всех к дороге был,— шутник мужик,— завидел баб, завернул вожжу, уткнул соху, вышел на дорогу, стал играть с бабами, не пускает. Он слово, а они два; другие ребята молодые тоже сохи побросали, подошли, всех Маланька переполошила, песню заиграли, плясать вздумали. Такую гульбу сделали, как свадьба ровно. Глядь, а из-за рощи приказчик верхом едет. Как завидел, плеть поднял, запустил через пашню рысью на мужиков. По щетку лошадь в пашне вязнет — человек грузный.

— Сукины дети, такие сякие, хороводы водить, вот я вас.

Мужики, как тараканы из-под чашки, по десятинам разбежались, а бабы грабли на плеча вскинули, идут, как ничего не бывало. Смеется Маланька. Никого не боялась. Наскакал приказчик.

— Я,— говорит,— вас найду,— к мужикам, да на баб с плетью.— Я вас, такие сякие, курвы устюжные,— такая у него пословица была,— в обед на покос идут, да еще хороводы на поле водят.

Совсем было осерчал, да как Маланьку признал, так и сердце прошло, сам с ней посмеялся.

— Вот я,— говорит,— тебя мужицкие уроки допахивать заставляю.

— Что ж,— говорит,— давай соху, я проти мужика выпашу.

— Ну буде, буде. Идите, вон еще бабы идут. Пора, пора гресть. Ну, бабы, ну!

Совсем другой стал.

Зато придет на луг, поставят баб на ряды тресть, выйдет Маланька вперед, так бегом начнет растресать, так что бабы ругать зачнут: замучала, мол, совсем. А начальнику, известно, любо — смеется.

Зато когда обедать или шабашить пора, замучаются бабы, промеж себя поговаривают, Маланька прямо к начальнику идет, отпустить просит, и отпускают. Никого она не боялась. В рабочую пору раз как-то спешная уборка была, целый день работали, а обедать домой не отпускали. Хлебца закусили, присели отдохнуть на полчасика. И приказчик за обедом домой посылал, тут же с бабами в холодок сел.

— Что, кума, спать будешь? — говорит. Он с Маланькой крестил.

— Нет,— говорит,— зачем спать, только раззадоришься.

— Так поищи в голове, Маланьюшка, смерть люблю.

Лег к ней на колени, как раз заснул. Так что ж? Взяла березок, веников нарвала,— бабы ей подали,— убрала ему венками голову всю, за рубаху натыкала, в нос ему листьев засунула. Проснулся, гогочут бабы, на него глядячи,— покуда хватился. И ничего.

А то приехал барин в это же лето, был с ним холоп, такая бестия продувная, что беда. Сам, бывало, рассказывает, как он барина обманывает, у него деньги таскает. Это бы все ничего, только насчет баб такой подлый был, что страх.

ТИХОН И МАЛАНЬЯ

В деревне было пусто и празднично. Народ был весь в церкви. Только малые ребята, бабы и кое-какие мужики, поленившиеся идти к обедне, оставались дома. Бабы вынимали из печей, ребята ползали около порогов, мужики кое-что осматривали по дворам. На улице было пусто. Был Петров день.

В конце улицы послышался ямской колокольчик и показалась тройка, запряженная в почтовую телегу.

Один из мужиков, остававшихся дома, Анисим Жидков, услышав колокольчик, бросил тележный ящик, который он переворачивал, и, скрипя воротами, вышел на улицу посмотреть, кто едет. У пристяжных были гривы заплетены с оборочками, коренная, знакомая ему чалая, была высоко подтянута головой под дугу. Она, чуть пошатываясь головой, быстро, раскачиваясь, тронулась на изволок, когда ямщик, приподнявшись на колено в ящике, крикнул на нее. Лошади были гладки и не потны, несмотря на то что солнце уже сильно пекло с совершенно ясного неба. Ямщик был курчавый, в новом кафтане и шляпе.

— Ермилин Тихон! — проговорил про себя Анисим, узнавая ямщика и выступая в своих новых лаптях на середину улицы.

Тихон, проезжая мимо Анисима, молча приподнял шляпу; и в выражении его лица было видно, что он очень счастлив и знает еще, что все не могут не завидовать ему и его тройке, которую он сам собрал и привел в такое положение; и что он только старается не слишком оскорбить других довольством, которое он испытывает. Он не крикнул на лошадей; снимая новую шляпу, надел ее не на бок, а прямо, только шевельнул вожжей пристяжную и недалеко от Анисима, заворотив, стал сдерживать тройку, старательно и излишне продолжительно отпрукивая лошадей, которые и без того весьма скромно подходили шагом к знакомым воротам. Анисим, которого дела шли не слишком хорошо это лето, с завистью, но и уважением, подошел к Тихону, чтобы покалякать с ним.

Старуха мать, одна оставшаяся дома, вышла на крыльцо.

— Слышу, колокол, думаю, кто из ямщиков,— сказала она радостно.— Стала опять пироги катать, мне и не слышать. Послушала, а он вовсе близко.

— Здорово, матушка! — сказал сын, соскакивая тяжелыми сапогами подле передка.

— Здорово, Тишинька. Жив ли, здоров ли?

И она продолжала говорить, как и всегда говорила обо всем, как о воспоминании чего-то грустного и давно прошедшего.

— Думаю вот, коли наш Тихон, старика-то нет и баб нет, к обедне ушли...

Тихон, не дослушав ее, вынул узелок из передка, вошел в избу, поклонился образам и, через сени пройдя, отворил ворота. Он заткнул рукавицы и кнут за пояс, припер ворота, чтоб не зацепить, провел под уздцы пристяжных, скинул петли постромок, захлестнул, развожжал, рассупонил, вывел, нигде ни стукнул, ни дернул и, как только бросал одно, так не торопясь, но ни секунды не медля брался за другое. Ничто не цеплялось, не валилось, ни соскакивало у него под руками, а все спорилось и ладилось, точно все было намащено. Когда в руках у него ничего не было, большие пальцы его рук очень далеко оттопыривались от кистей, как будто всё хотели схватить еще что-нибудь и сработать. Распрягая, он не переставал говорить с подошедшим Анисимом.

Анисим подошел, лениво выкидывая свои ноги в лаптях и почесывая пояском живот под белой чистой рубахой. Он опять приподнял шапку и надел. Тихон тоже приподнял и надел.

— Ай по молодой жене соскучился? — сказал посмеиваясь Анисим, желавший расспросить совсем другое.

— Нельзя! — отвечал Тихон.

— Что наши, как живут? Митрошины? — серьезно уже заговорил Анисим, почесывая голову.

— Как кто. Кто хорошо, а кто и худо. Тоже и на станции как себя поведешь, дядя Анисим,— рассудительно и не без гордости думая о себе, сказал Тихон.

— Карего-то променял что ли? — теперь уж мог спросить то, что хотел, Анисим.— Саврасую-то тоже купил что ль?

— Что карий, только батюшка вздорил. Его бы давно отдать. Того и стоит.

И Тихон не без удовольствия рассказал, как он променял, купил, сколько выработал, и сколько другие меньше его выработали. Анисим предложил, шутя и серьезно, поставить ему водки. Тихон тихо, но решительно отказал.

Между разговором он все делал свое дело. Лошади были отпряжены, он повел их под навес. Анисим, узнав все, что ему нужно было, стал молча чесаться обеими руками и, почесавшись, ушел. Кинув лошадям сена из ящика, Тихон сдвинул шляпу на лоб и, оттопырив еще больше пальцы, пошел в избу. Но делать было нечего.

и пальцы так и остались. Он только повесил, встряхнув, шляпу на гвоздь, смахнул место, где лежать армяку, сложил его и в одной новой александринской рубашке, которую еще не видала на нем мать, сел на лавку. Портки на нем были домашние, материной работы, но еще новые, сапоги были ямские, с гвоздями. Он на дворе отер их сенцом и помазал дегтем. Делать было решительно нечего: он расправил рукава, смявшиися под кафтаном, и стал разбирать из узелка гостинцы. Для жены был ситец большими цветами, для матери платок белый с каемочкой, баранок была связка для всех домашних.

— Спасибо, Тишинька, мне-то бы и даром,— говорила старуха, раскладывая на столе свой платок и поводя по нем ногтем.— Немного не застал. Старик еще с заутрени на поповке остался, а я вот домой пошла; молодые бабы охотились к поздней идти, подсобили мне горшки поставить и пошли, а я вот осталась.

И старуха, уложив платок в сундучок, опять принялась за работу у печи и, работая, все говорила:

— Все, слава тебе, Господи,— говорила она,— старик только мой от ног все умирает, как ненастье, так криком кричит, на барщину все больше Гришутка за него ходит. (Гришутка был меньшей, неженатый брат Тихона.) Спасибо, начальники не ссылают. Все Михеич старостой ходит. Что ж, жаловаться нечего, порядки настоящие ведет. Только, говорит, в косьбу Гришутку не посылайте, не вынесет, еще млад. Намеднись барские сады косили, так старик Гришутку послал, сам косу ему наладил и Герасима свата просил отбивать; так как измучился, сердечный. «Я, матушка, говорит, не снесу. Все рученьки, ноженьки заломило». Да и где ему? тело мягкое, дробное, молодое. Так вот и не знаем, как быть, ты ли на покос останешься, работника ли наймать.

— Ну а про господ что слышать? — спросил Тихон, видимо, не желая даже и говорить о таком важном деле с бабою, хотя бы она и была его мать.

— Сказывали намеднись, что все будут, а то опять замолчали. Молодой тут живет. Да его и не слышать. Все Андрей Ильич заведует. Мужики говорят ничего, что-то только из-за покосов с ним вышло, старик знает, он на сходке был, все расскажет. Навоз свозили, слава те, Господи, запахали всю почесть землю. Осьминника два ли осталось. Старик знает. Барщина тоже ничего была. Мужикам всё дни давали. Вот бабам, так дюже тяжело было. Всё всеми да всеми. Замучали полоньем совсем. Какую-то (как ее?) свекловичу — что ли всё полют. Дома все я, да я одна бьюсь. Твоя баба с солдаткой, что ни день, то на барщину. Хлебушки ставить, коров доить, холсты и то я стелю. Покуда ноги служат. Незнамо, что дальше Бог даст. Баба-то твоя молодая день-деньской замучается, а домой идет, хоровод ведет, песенница такая стала, где и спрашивать с нее, человек молодой, куражный, а народ хвалит, очень к работе ловка, и ху-

дого сказать нечего. Ну с солдаткой другой раз повздорят — нельзя. Старик покричит, и ничего. То-то рада будет, сердешная. Не чаяли мы тебя дожидаться. Вчера пирог ставила, думала, кто мой пирог кушать будет. Кабы знала, петушка бы зарезала для сынка дорогого. Слава Богу, наседка вывела, трех продали.

Старуха говорила все это и много еще другого рассказала сыну, про холсты, про гумно, про стадо, про соседей, про прохожих солдат, и все делала свои дела и в печи, и на столе, и в клетки. А Тихон сидел на лавке, кое-что спрашивая, кое-что сам рассказывая, и, взяв на знакомом месте гребешок, расчесывал свои кудрявые густые волосы и небольшую рыжеватую бороду и с удовольствием посматривал в избе то на панёву хозяйки, которая лежала на полатах, то на кошку, которая сидела на печи и умывалась для праздника, то на веретено, которое сломанное лежало в углу, то на курицу, которая без него занеслась и с большими цыплятами зашла в избу, то на кнут, с которым он сам ездил в ночное и который Гришка бросил в углу. Не одни его оттопыренные пальцы, но и внимательные, поглядывающие на все глаза просили работы, ему неловко было сидеть, ничего не делая. Он бы взял косу, отбил бы, починил бы завалившуюся доску на полатах или другое что, но во время обедни нельзя работать. Наговорившись с старухой, он поднял охлопавший кнут, достал пеньки, вышел на крыльцо и на гвозде, у порога, стал свивать хлопок своими здоровыми ручищами, сделанными только для того, чтобы пудовиками ворочать, и все поглядывал по улице, откуда должен был идти народ из церкви. Но еще никого не было, только мальчишки в вымытых рубахах бегали около порогов. Мальчишка лет пяти, еще в грязной рубахе, подошел к порогу и уставился на Тихона. Это был солдаткин сын, племянник Тихона.

— Сёмка, а Сёмка,— сказал Тихон,— ты чей? — улыбаясь на самого себя, что он с таким мальчишкой занимается.

— Солдатов,— сказал мальчик.

— А мать где?

— В кобедне, и дедушка в кобедне,— щеголяя своим мастерством говорить, сказал мальчик.

— Аль ты меня не признал? — Он достал из кармана один бублик и дал ему.

— Вон она, кобедня! — сказал мальчик нараспев, указывая вдоль по улице и бессознательно вцепляясь в бублик.

— А кто я? — спросил Тихон.

— Ты?..... Дядя.

— Чей дядя?

— Тетки Маланьки.

— А тетку Маланьку знаешь?

— Семка,— закричала старуха из избы, слышавшая голос парнишки,— где пропадал? Иди, чертов парнишка, иди, обмою, рубаху чистую надену.

Парнишка полез через порог к бабке, а Тихон встал, хлопнул раза два навитым кнутом, чтоб увидеть, хорошо ли. Кнут хлопал славно.

Парнишку раздели голого и обливали водой. Он кричал на всю избу. Тихон стоял на крыльце и смотрел на улицу. День был красный, жаворонки вились над ржами. Ржи лоснились. В роще сохла роса с солнечной стороны и пели птицы. Народ шел из церкви. Шли старики большими, широкими шагами (шагами рабочего человека), в белых, заново вымытых онучах и новых лаптях, которые с палочками, которые так, по одному и попарно; шли мужики молодые, в сапогах; староста Михеич шел в черном, из фабричного сукна кафтане; шел длинный, худой и слабый, как плетень, Ризун, Фоканыч хромой, Осип Наумыч бородастый. Шли дворовые, мастеровые в свитках, лакеи в немецких платьях, дворовские бабы и девки в платьях с подзонтиками, как говорили мужики. На них только лаяли крестьянские собаки. Шли девочки табунками, в желтых и красных сарафанах, ребята в подпоясанных армячках, согнутые старушки в белых чистых платках, с палочками и без палочек. Ребятницы с белыми пеленками и холостые пестрые бабы в красных платках, синих поддевах, с золотыми галунами на юбках. Шли весело, говорили, догоняли друг друга, здоровкались, осматривали новые платки, бусы, коты прошивные. Все они были знакомы Тихону; по мере того как они подходили, он узнавал их. Вот Илюшины бабы идут. «Как разрядились,— думал Тихон,— и к другим не пристают». Вон мальчишки идут за Илюшей и смеются над ним. Вон идет худая разряженная баба, убрана как богачка, а Тихон знает, что это самая последняя, заваливающая баба, которую муж уж давно бить перестал. Идет приказчица с зонтиком, расфрантилась, и работница их, Василиса, в красной занавеске. А вот Матрешкин, дворовый, красную кумачевую рубаху вчера купил в городе, надел, да и сам не рад, как народ на него дивится. Вот Фоканычева девка с дворовыми идет, с Маврой Андреевной разговаривает, оттого что она грамотница, в монастырь хочет идти. Вот Минаевы идут сзади, и баба все воеет, должно, хоронила кого, а вон Ризунова молодайка идет, все в пеленки лицо прячет. Видно, родила, причащать носила. Вон Болхина старуха с клюкой, шла, устала, села. Все жива старуха. А уж лет 100 будет. «А вот и мой старик большими шагами шагает, и все горб у него такой же,— думал Тихон.— Вот и она...»

Тихон с другого конца улицы узнал свою бабу. Маланья шла с солдаткой и еще с двумя бабами. С ними же шел замочной солдат в новой шинели, казалось, уж пьяный, и что-то рассказывал, махая руками. Цвета на Маланье всех ярче показались Тихону.

А Маланька шла точно так же, как и другие бабы, ни наряднее, ни чуднее, ни веселее других. На ней была панева клетчатая, обшитая золотым галуном, белая, шитая красным рубаха, гарусная занавеска, красный платок шелковый на голове и новые коты на шерс-

тяных чулках. Другие были в сарафанах, и в поддевах, и в цветных рубахах, и в вышивных котах. Так же, как и другие, она шла, плавно и крепко ступая с ноги на ногу, помахивая руками, подрагивая грудью и поглядывая по сторонам своими бойкими глазами. Она шла, смеялась с солдатом и про мужа вовсе не думала.

— Ей-богу, наймусь в выборные,— говорил солдат,— потому, значит, в эвтом деле оченно исправно могу командовать над бабами. Меня Андрей Ильич знает. Я тебя, Маланья, замучаю тогда.

— Да, замучаешь,— отвечала Маланья,— так-то мы летось земского в риге, лен молотили, завалили, портки стащили, да так-то замучали, что побежал, портки не собрал, запутался. То-то смеху было.

И бабы покатались со смеху, даже остановились от хохота, а солдатка хохотунья присела, ударила себя по коленам ладонями и завизжала хохотом.

— Ну вас совсем,— сказала Маланья, локтем толкая товарку и понемногу затихая от смеха.

— Ей-богу приходи,— сказал солдат, повторяя то, что он уже говорил прежде,— сладкой водки куплю, угощу.

— Ей муж слаще водки твоей,— сказала солдатка,— нынче приехать хотел.

— Слаще, да как нет его, так надо чем позабавиться для праздника,— сказал солдат.

— Что ты мое счастье отбиваешь,— сказала Маланья.— Больше водки покупай, Барычев, всебеспременно придем.

И вдруг Маланье вспомнилось, что муж второй праздник обещал приехать и не приезжает, и по лицу ее пробежало облако. Но это было только на одно мгновенье, и она опять начала смеяться с солдатом. Солдат шепотом сказал ей, чтобы она одна приходила.

— Приду, Барычев, приду,— громко сказала Маланья и опять залилась хохотом. Солдат обиделся и замолчал.

Анисим Жидков, который видел, как Тихон въехал в деревню, стоял у порога своей избы; мимо самого него проходили бабы. Когда Маланья поравнялась с ним, он вдруг ткнул ее в бок пальцем и сделал губами: крр..., как кричат лягушки. Маланья засмеялась и наотмашь ударила его.

— Что, хороводница, лясы точишь с солдатом, муж глаза проглядел,— сказал Анисим смеючись, и, заметив, как Маланья вся вспыхнула, покраснела, услыжав о муже, он прибавил степенно, так чтобы она не приняла за шутку:

— Ей-богу. В самые обедни на тройке приехал. Могарыч за тобой.

Маланья тотчас же отделилась от других баб и скорым шагом пошла через улицу. Пройдя через улицу, она оглянулась на солдата.

— Мотри, больше сладкой водки покупай, я и Тихона приведу, он любит.

Солдатка и другие бабы засмеялись, солдат нахмурился.

— Погоди ж ты, чертова баба,— сказал он.

Маланья, шуруша новой паневой и постукивая котами, побежала до дома. Соседка посмеялась ей еще, что муж гостинца — плетку привез, но Маланья, не отвечая, побежала к избе.

Тихон стоял на крыльце, смотрел на свою бабу, улыбался и хлопывал кнутом. Маланья стала совсем другая, как только узнала о муже и, особенно, увидала его. Красней стали щеки, глаза и движения стали веселее и голос звучнее.

— И то видно, плетку в гостинец привез,— сказала она смеясь.

— Ай плоха плетка-то? — сказал муж.

— Ничего, хороша,— отвечала она улыбаясь, и они вошли в избу.

Вслед за бабой пришел старик и пошел с Тихоном смотреть лошадей. Маланья скинула занавеску и принялась помогать матери собирать обедать, все поглядывая на дверь. Старик вошел в избу, старуха стала разувать его. Маланья побежала на двор к Тихону, схватила его обеими руками за пояс и так прижала к себе, что он крякнул и засмеялся, целуя ее в рот и щеки.

— Право, хотела к тебе идти,— сказала Маланья,— так привыкла, так привыкла, скучно да и шабаш, ни на что б не смотрела,— и она еще прижалась к нему, даже приподняла его и укусила.

— Дай срок, я тебя на станцию возьму,— сказал Тихон,— тоже тоска без тебя.

Гришутка вышел из избы и, посмеиваясь, позвал обедать. Старик, старуха, Тихон, Гришка и солдатенок, помолившись, сели за стол; бабы подавали и ели стоячи.— Тихон ни гостинцев не rozdал, ни денег не отдал отцу. Все это он хотел сделать после обеда. Отец, хотя был доволен всеми вестями, которые привез Тихон, все был сердит; он всегда бывал сердит дома, особенно в праздник, покуда не пьян. Тихон достал денег и послал солдатку за водкой. Старик ничего не сказал и молча хлебал щи, только глянул через чашку на солдатку и указал, где взять штофчик.

Тройка была хороша, денег привез довольно. Но старику досадно было, что сын карего мерина променял. Карего мерина, опоёного, сам старик прошлым летом купил у барышника и никак не хотел согласиться, что его обманули, и теперь сердился, что сын променял такую, по его мнению, хорошую лошадь. Он молча ел, и все молчали, только Маланья, подавая, смеялась с мужем и деверем. Старик прежде сам ездил на станции, но не знал этого дела и прогонял две тройки лошадей, так что с одним кнутом пришел домой. Он был мужик трудолюбивый и не глупый, только любил выпить и потому расстроил свое хозяйство, когда вел его сам. Теперь ему весело и досадно было не за одного карего мерина, но и за то, что сын хорошо выстоял на станции, а сам он разорился, когда ездил ямщиком.

— Напрасно коня променял, добрый конь был,— пробормотал он.

Сын не отвечал. Понял ли он, или случайно, но Тихон ничего не сказал и начал рассказывать про своих мужиков, стоявших на станции, особенно про Пашку Шинтяка, который всех трех лошадей продал и даже хомуты сбыл.

Пашка Шинтяк был сын мужика, с которым старик вместе гонял и который обсчитал во время оно старика. Это была старая вражда. Старик вдруг засмеялся так чудно, что бабы устались на него.

— Вишь лобастый черт, в отца пошел, неправдой не наживешься небось!

И вслед за тем старик, поевши каши, утер бороду и усы и весело стал расспрашивать сына о том, как он выстоял эти два месяца, как бегают лошади, почем платят, с видимой гордостью и удовольствием. Сын охотно рассказывал, и разговор еще более оживился, когда запыхавшаяся солдатка принесла зеленый штофчик, старуха вытерла тряпкой толстый, с донышком в два пальца вышины стаканчик, и отец с сыном выпили по порции. Особенно понравился старику рассказ сына о царском проезде.

— И сейчас подскакал фельдъегарь, соскочил, едут, говорит, через 10 минут будут, по часам гнал. Сейчас глянул Михаил Никанорыч на часы. Тихон, говорит, мотри, все ли справно. Моя, значит, четверка заплетена, выведена, готово, мол, не ты повезешь, а мы поедем.— И Тихон, засунув свои оттопыренные большие пальцы за пояс, тряхнул волосами и оглянулся на баб; они все слушали и смотрели на него; Маланька с чашкой присела на краю лавки и тоже встряхнула головой точно так же, как муж, как будто она рассказывала, и улыбнулась, как будто говоря: «Каковы мы молодцы с Тихоном!» Старик положил свои обе руки на стол и, нахмурившись, нагнул голову на бок. Он видимо понимал всю важность дела. Солдатка, размахивая руками от самых плеч впереди себя и вместе, как маятником, прошла из двери, но подойдя к печке, села, услышав, о чем речь, и начала складывать занавеску вдвое, потом вчетверо и потом опять вдвое и опять вчетверо. Старуха же, имевшая только одну манеру слушать всякий рассказ, веселый ли он был или грустный, приняла эту манеру, состоящую в том, чтобы слегка покачивать головой, вздыхать и шептать какие-то слова, похожие на молитву. Гришка же, напротив, всякий рассказ слушал так, как будто только ждал случая, чтоб покатиться со смеху. Теперь он это и сделал; как только Тихон сказал свой ответ становому: «не ты повезешь, а мы», он так и фыркнул. Тихон не оглянулся на него, но ему показалось несколько не удивительно, что Гришка смеется, напротив, он даже поверил, что рассказ его очень забавен.

— Только сейчас осмотрел я еще, значит, лошадей с фонарем, ночь темная была,— слышим, гремят с горы, с фонарями, 2 шесте-

рика, 5 четверней и 6 троек. Сейчас все по номерам. Сейчас передом Васька Скоморохинской наш с исправником прогремел. Тройку в лоск укатал, уж коренной волочется, колокольчик оборвал. Уж исправник не вышел из телеги, а кóтом выкатился на брюхо. Сейчас: «Самовары готовы?» — «Готовы». — «Пару на мост живо послать» — перила там сгнивши были. Шинтяка живо снарядили с каким-то дорожным. Сейчас сам с фонарями подкатил прямо к крыльцу. Володька вез. Ему говорили, чтобы не заезжал по мосту, лошадей не сдержал. Живо подвели наших. Все исправно было. Гляжу, Митька постромку закинул промеж ноги, так бы и поставил.

— Что ж, говорит что? — спросил старик.

— Сейчас говорит: «Какая станция?» — Сейчас исправник: «Сирюково,— говорит,— Ваше Высокое царское величество». — «А?» — представил Тихон и притом так чудно выставил величественно грудь, что старуха так и залилась, как будто услышала самую грустную новость. Гришка засмеялся, а солдатенок маленький с полатей усталился на старуху бабку, ожидая, что будет дальше.

— Заложили шестерик, сел фолетором наш Сенька.

— То-то бы Гришутку посадить,— вставил старик,— обмер бы.

— Так бы отзвонил,— отвечал Гришка, показывая все зубы, с таким выраженьем, что видно было, он не побоялся бы ни с царем ехать, ни с отцом и с старшим братом разговаривать.

— Сенька сел,— продолжал Тихон, пошевеливая пальцами,— светло было как днем, фонарей 20 было; тронули — ничего не видеть.

— Что ж, сказал что-нибудь? — спросил старик.

— Только слышал: «сейчас,— говорит,— хорошо,— говорит,— прощай». Тут смотритель, исправник: «Смотри,— говорят,— Тихон». Чего, думаю, не ваше смотрение, помолился Богу.— Вытягивай, Сенька. Только сначала жутко было. Огляделся мало-мальски — ничего, все равно, что с работой ехать.— Пошел! — Думаю, как ехать, а под самую гору приходится, а тут еще захлестнули сукины дети постромку, как есть соскочила, так на вожже всю дорогу левая бежала. Под горой исправника задавил было совсем. Он слезал за чем-то.— «Пошел!» покрикивает. Уж и ехал же, против часов 4 минуты выгадал.

Старик после каждого стаканчика несколько раз требовал повторения этого рассказа. Помолились, встали от стола, Тихон отдал 25 р. денег и гостинцы.

— Ты меня, батюшка, отпусти, теперь работа самая нужная на станции, и беспременно велели приезжать,— сказал он.

— А как покос? — сказал старик.

— Что ж, работнику хоть 25 р. до Покрова заплатить. Разве я с тройкой того стою? Я до Покрова постою, так, Бог даст, еще тройку соберу, Гришутку возьму.

Старик ничего не сказал и влез на полаты. Повозившись немного, он позвал Тихона.

— То-то бы прежде сказал. Телятинский важный малый в работники назывался, Андрюшка Аксюткин. Смирный малый, небывалый. И как просила Аксинья. Чужому, говорит, не отдала бы, а ты, кум, возьми, Христа ради. Коли уж нанялся, так не знаю, как быть, не двадцать же рублей заплатить,— сказал старик, как будто это невозможно было, как ни выгодна бы была гоньба на станции.

Солдатка, слышавшая разговор, вмешалась.

— Андрюха еще не нанялся, Аксинья на деревне.

— О! — сказал старик,— поди, покличь.

И тотчас же, махая руками, солдатка пошла за нею. Маланья вышла на двор, подставила лестницу и взлезла на сарай; скоро за ней вышел и скрылся Тихон. Старуха убирала горшки, старик лежал на печке, перебирая деньги, привезенные Тихоном. Гришка поехал в денное и взял с собою маленького Семку, солдатенка.

— Аксинья у Илюхиных с сыном наниматься ходила. Она у кума Степана, я ей велела придти,— сказала солдатка,— да старики на прогулке собрались, луга делить.

— А Тихон где?

— Нет его, и Маланья нет.

Старик помурчал немного, но делать было нечего, встал, обулся и пошел на двор. С амбара послышалось ему говор Маланья и Тихона, но как только он подошел, говор затих. «Бог с ними,— подумал он,— дело молодое, пойду сам».

Потолковав с мужиками о лугах, старик зашел к куму, поладил с Аксиньей за 17 рублей и привел к себе работника. К вечеру старик был совсем пьян. Тихона тоже целый день не было дома. Народ гулял до поздней ночи на улице. Одна старуха и новый работник Андрюшка оставались в избе. Работник понравился старухе: он был тихий ходощавый парень.

— Уж ты его пожалей когда, Афромевна,— говорила его мать уходя.— Один и есть. Он малый смирный и работать не ленив. Бедность только наша...

Афромевна обещала пожалеть и за ужином два раза подложила ему каши. Андрюшка ел много и все молчал. Когда поужинали и мать ушла, он долго молча сидел на лавке и все смотрел на баб, особенно на Маланью. Маланья два раза согнала его с места под предлогом, что ей нужно было достать что-то. И что-то засмеялась с солдаткой, глядя на него. Андрей покраснел и все молчал. Когда вернулся старик хозяин пьяный, он засуетился, не зная, куда идти спать. Старуха посоветовала ему идти на гумно. Он взял армяк и ушел. Вечеру того же дня поставили двух прохожих солдат к Ермилиным.

Всю ночь напролет слышны были песни, крики, говор и топот на улице. Уж петухи пели четвертый раз, уж звезды только кое-где,

редкие и яркие, виднелись на небе, уже за лесом светлее стало, заря занималась и холодная роса опустилась на землю, а еще кое-где слышались шаги, говор или песня загулявших для Петрова дня мужика или бабы. Петров день веселый летний праздник, праздник, который служит сроком при наемке, и праздник, с которого начинается самое спешное рабочее время. [Не скоро после Петрова дня придется ночку прогулять мужику или бабе, не скоро опять приедут из работы к празднику мужа и привезут гостинцы и прогостят две ночи, не скоро уж дождешься целого дня без барщины и своей работы.

Коли бы один молодой народ был в деревне, пожалуй бы и другой день прогуляли. С похмелья да с веселья проспали бы до обеда, опять похмеляться бы стали, ни лошадей бы в ночное не погнали, ни кос не отбили бы, ни дров не накололи б, хлебушки бы не замесили, холсты бы и рубахи забыли, такого бы дела наделали, что в месяц бы не справили, но на то старые люди живут, праздник, не праздник, а свое дело помни.] Не один молодой парень вчера с вечера стукнул последний раз в пристенок, собрал свои ладышки за пазуху и печально пошел от ребят домой, куда его давно уже строго зовет отец, обротал лошадей, пустил жеребят и мимо хоровода на проулке проехал в ночное, не останавливаясь пошутить с заигрывавшими бабами. Поехал один мимо потемневших ржей, прислушиваясь к топоту отставшего стригуна и к дальним песням хоровода, и кричал: «Кояшка, кояшка! кояшка!», и прислушивался, как чуть слышно из-за баб ржал сзади его жеребенок, забежавший в барские ржи. Не одна молодая, не доведивши «борша», вышла из хоровода, треснула на последках по спине парня, который хотел остановить ее и, топая котами и шурша новой паневой, побежала через улицу к свекрови, которая звала ее становать хлебушки. [Не все и старые люди умней молодых. Другой молодой своего дела не забыл, а старый еще два дня не опомнится.] Много было пьяных и много греха случилось в этот день. Старик Лизун жену чуть не убил до смерти, Ефим с братом подрался, Матрюща с Настасьей платок сорвала, солдат Митюшихиных девку осрамил, Макарычев его оглоблей убил. Греха и веселья, как всегда, много было; но утро пришло, у каждого было свое дело, и каждый взялся за него; вспоминать, да разбирать — некогда.

У Ермилиных вчера старик крепко загулял и всю ночь своей старухе и невестке солдатке спать не давал, все бурчал, только перед зарей угомонился. Старик редко гулял, но когда бывал пьян, то уже никому в доме не давал покоя.

Сам старик с старухой спал в избе, тут же спали два солдата, прохожие, которых вчера поставили им. Солдатка, сестра, постелила себе в сенцах, младший сын Гришутка в ночное уехал, а Яков с хозяйкой ночевали на дворе в троичных санях, сбитых с капыльев, которые стояли под навесом.

Как ни замучалась вчера Афромевна с стариком — старым людям не спится,— она прежде всех поднялась в Копыловом дворе. Потихоньку откинула армяк, который покрывал их вместе с мужем, укрыла старика, который пробурчал на нее, сотворила молитву, ошарила на печи серничек (в избе еще темно было), раскопала золу, вынула синим пламенем горящую лучину, вышла на двор в сенцы, разбудила невестку солдатку и, шагая через ноги солдат, начала убираться и готовить хлебушки, и начался день. Заботы о будущем дне. Скоро уж не нужно стало лучины, свет повалил из горячей печи, и сквозь запотевшее оконцо светилась заря, солдаты поднялись, один закурил трубку в печи и щипнул солдатку; старик поднялся, покашлял, поругал старуху за то, что она его лапти забила под лавку, и стал вслух молиться Богу.

Только что послышался лошадиный топот и щелканье кнута под окнами и старуха хотела бежать, как старик уж начал ругаться:

— Заснули, дьяволы бабы, хороводы водить, что ль, аль не слышите. Я вам праздник-то выбью из головы.

Домашние уже знали, что когда старик сам пьян бывал, так на другой день всех попрекал. На дворе уж было светло, куры уж скочили с насести и хотя еще не очнулись хорошенько, но петух уж начал кричать на земле, посторонился от солдатки и докричал-таки свое колено. Корова, лениво взмахнув хвостом, поднялась от ворот, когда солдатка замахнулась на нее вынутым запором. В санях под армяком зашевелилось. Ворота заскрипели, солдатка стала к стороне, и Гришутка въехал на карем мерине с четырьмя лошадьми и жеребятами, которые замешкались в воротах и испуганной рысью, болтая наеденными животами, проскочили под навесы. Лошади и жеребята сытые, глянцевитые и от росы мокрые, калясь зеленой травой, разбрелись по счищенному двору — дни три кончили навоз; перебирая оттопыренными губами соломинки и сенцо, корова замычала, ожидая стада, овцы откликнулись ей, петух с курицами придвинулись к порогу и уже принялись за дело дня, подрагивая ожерельями и отыскивая чего-то на голой земле. Гришка щелкнул посередине двора еще два раза кнутом как будто для того, чтобы показать всем, что началось утро, что довольно ему одному не спать, пора и всем просыпаться. И вдруг светлее стало на дворе, виднее стала роса на соломе и навозе, воробьи закопошились под застрехой, листья зашевелились на раките из-за навеса, небо поглубело и из-под кафтана высунулась в красном платке голова молодой. Она оправила рукой платок на волосы, потерла рукавом глаза и, скинув ноги, поднялась. Красавица была баба, чернобровая, румяная, складная. Она потянулась так, что сани затрещали, и зевнула. И как будто никогда не спала, вскочила босыми ногами, и так и закипело дело; надела занавеску на высокие груди, продела в паневу широкие бедра и крепко-накрепко перетянула кушаком спину, что даже грудь выставилась, и так, потряхивая паневой, про-

шла к колодцу, что ноги в спину влипали, как говорят мужики. Один из солдат, которого старик Копыл выгнал из избы за трубку, так с разинутым ртом и остался, глядя на молодайку, когда она бойко глянула на него со стороны. Только когда она зашла за угол, он качнул головой, плюнул решительно.

— Так баба! — сказал он сам себе, — в Польше таких не видал. Кабы поручику нашему, да он не расстался бы с ней, — подумал солдат. И еще подумал: — И ерник же этот поручик наш!

[И не один этот солдат в Маланье вкус нашел. Много, много и очень много других всяких и мужиков, и дворников, и солдат, и офицеров, и господ, и портных, и офень заглядывались на эту бабу. «Кабы да эту бабу да в холю взять, — говорил один из господ, — а то сиволапому мужику досталась». Однако и сиволапый мужик в ней цену знал, да и все цену знали. Для этого в университетах учиться не нужно. Старик Копыл сосватал ее для сына, за родню, отец ее человек хороший. Своих девок не было, он ее за 20 верст в Соловках взял. 105 рублей за нее отдал. Это было 4 года тому назад, тогда ей 16 лет было. Шустрая, черноглазая девочка и к работе ловкая была, только жидка старику казалась. И точно, первое время худа была, так детенок, ничего не смыслила и мужа не любила, боялась его, била, щипала. Только теперь раздобрела и мужа любить стала, как приедет, так уж не знает, чем угодить. А все еще гуляла, детей не рожала. Баба молодая, красивая баба, много к ней всякого народа подлипало, да только плохого ничего не слышно было. И муж что дальше, то больше любил бабу, особенно теперь, как на станции стоял. Как в неделю раз заедет, так в охотки и сам не знает, как порадовать. Когда баба, покачиваясь, но не колыхаясь плечами, пронесла мимо него с солдаткой ушат с водой, он посмотрел на нее и посмеялся себе в бороду; весело ему видеть при дневном свете и при народе свою хозяйку. Как будто ночь еще веселей показалась.]

Старик вышел сам на двор, покричал на Гришутку, зачем он мерина не распутал, тут же пришел староста, повестил мужику косить, а бабам гресть, и пошла забота. [Кабы глянуть на них всех, кто обихода мужицкого не знает, ничего бы не понял, — подумал, что ничего не делают, так суются, а однако все дела, не торопясь, разбирались, каждый знал свое дело. И сколько тут сразу делов было.]

Бабам надо хлебы ставить, портки мыть, на барщину собираться, скотину выгонять, к соседям за гущей сбегать, поговорить еще с соседкой, к другой соседке забежать мертвого младенца посмотреть, и еще мужа провожать нужно было Маланье. Мужикам Тихона справлять в дорогу, запрягать, на барщину косы собирать, веревки брать в лавочке.

Это было в субботу, в самые Петровки. Уборка сена была такая, что старики не запомнят. Не сено, а чай в стога клали. Крестьянские луга почти все были убраны, оставался один Кочак. Не больше

как на день миру косьбы. Господские луга тоже больше половины уже подкошены были. Дни стояли такие красные, жаркие,— что с утра по росе подкосят, к вечеру в валы гребут, а на другой день хоть в стога кидай, и на небе ни тучки. А всё народ, сколько мог, торопился за погоду убираться. И приказчик очень хлопотал барское убирать, с утра до ночи с бабами, красный стал, пот градом катится, рубаха расстегнута, все кричит, все с палкой около баб ходит, с тела спал. Хоть не свое, а хозяйственное дело — как возьмешься за него, так не заснешь покойно, покуда не кончишь. Не ты дело делаешь, а дело тебя за собой тянет. Бог же дал в это лето, что было что косить, и грести, и возить. На тягло воев по б убрали, да еще в Кочаке такая трава стояла, что на низу не пролезешь. Кроме покосов, тут же и пахота подоспела, а пахота крепка была, так что кто за погодой не успел, так сошники ломали и лошадей надсаживали на пашне.

В селе целый день было пусто, все были на работе, нешто какая баба хворая дома рубахи на пруду стирала или холсты стелила, да старики и старухи с малыми ребятами. Только на барском дворе, за прудом, народ дома был. Там, известное дело, как господа дома,— покос не покос, уборка не уборка: холопи, кучера, повара, садовники, дворовые — все одно дело делают. Дело не делай, а от дела не бегай.

Пастухи свое время не пропустят; только солнышко стало за лес закатываться, уж завиднелась пыль по большой дороге, и слышалась скотина. Скотина ходила по отаве и в неделю совсем другая стала — повеселела. Скотина в деревне все одно, что часы в городе. Прогнали скотину, значит, пора и всем домой в деревню. Ребята слышали скотину, переловили лошадей и поехали домой из денного. Бабы на барщине у выборного отпросились и с граблями за плечами пошли хороводом к дому. Мужики, кто дома на своей пашне пахал, подвязали сволоки, перевернули сохи и поехали домой. Косцы подняли армяки и кувшинчики и пошли домой, у богатых мужиков бабы покидали дров в печурку, чтобы согреть похлебку на ужин.

Как скотина из улицы разбрелась по дворам и разместилась по клетям, каждая штука в свое место, так и народ с разных сторон, кто с пашни, кто с моста (там плотники работали), кто с поля, кто из денного, разобрался каждый в свое место.

Молодой мужик плотник (у него на кушаке за спиной вместе был связан армяк, полусажень и топор) подошел к угловому дому, от проулка, и спросил хозяина.

— Ермил Антоныч или не бывал еще?

— Еще с утра в засеку на покос с ребятами поехал, скоро приедут, я чай. Ты чей, родной? Кажись, Ясенской? — спросила старуха. Она была вдова, сестра хозяина.

— Мы плотники с моста,— отвечал плотник.— Бабы на барщине что ль?

— Слышь, играют,— сказала старуха.

Хоровод с песнями приближался по дороге, за оврагом краснелась толпа баб и девок. Плотник пошел за угол.

Из-под горы поднимался мужик с поля. Он сидел боком на лошади, запряженной в сохе, жеребенок стригун бежал сзади. Мужик этот Гараська, старший сын старика Копыла. Гарасим с утра выехал в поле, на дальнюю пашню. У них там три осьминника было незапаханных, и отец велел ему их запахать до вечера, а коли тяжело кобыле будет, так хоть два. Гарасим выехал рано; пашня была на западе с сырцой, сошники он переладил и поперил дома и к вечеру запахал все три. Кто сам не пахал, тот не знает, как тело легко и душа весела, когда от зари до зари, один, борозда за бороздой, подвигался на пашне, и работа спорилась, и дошел до другого края, и борозда скосилась на угол, и уголок вывертел и подвязал сволока, подстелил под жопу армяк и вовремя поехал к дому, по пыли дороги бороздя за собой две черты сволоками, и по дороге домой со всех сторон попадают мужики и бабы, и со всеми весело шутится, как знаешь, что дело сделано, на пашню ворочаться уже незачем до Ильина дни.

Герасим побалтывал ногой, обутой новым лаптем, по оглобле и пел песню. Завидев хоровод баб, он почесал голову, замолчал и усмехнулся. Хоть и женат был Герасим, а любил баб молодых. Увидав плотника, Герасим скинул поджатую ногу с спины лошади и соскочил. «А! Лизун! курвин сын, аль расчет взял, косушку поставить хочешь! — Герасим засмеялся и треснул Лизуна по спине кнутовищем,— то-то бы выпили, с работы-то».

Прежде всех вернулись в деревню плотники. Это был сборный народ; рядчик был из города, а ребята, кто дальние, кто соседние, двое было из этой деревни.

Плотники подошли к Родькиному двору (Родивон держал чай, вино и на квартиру пускал), поклали в амбар топоры и пилы и вышли на крыльцо и на улицу. Один только Лизун не входил в сенцы, не вытаскивал своего топора из-за кушака и не убрал своей поперешной пилы и полусаженя, а прислонил их к углу иструба. Лизун сел на низкую завалину у избы, взял в свои загорелые и поросшие волосами руки соломинку, стал ломать ее и запел песню, так складно, громко, что две старухи у соседей высунулись посмотреть, кто поет. Ребята ждали хозяина к расчету, кто хотел домой идти на праздник, кто так деньжонок попросить хотел, а кто так почитаться только. Лизун же поутру на работе повздорил с хозяином и вовсе хотел расчета. Накануне хозяин к начальству за деньгами в город ездил, а ребят Лизуну приказал; в субботу приехал, работа не показалась ему, стал ругаться: «Ты, мол, с ребят магарыч взял, вы

де мне 25 рублей в день стоите, а ничего не сработали, да дерево перерезали, оно мне 5 рублей стоит». Все это было правда, ребята все знали, что они половину дня провели в кабаке, куда их свел Лизун.

— Коли ты рядчик, так сам смотри, а я твоей работы не испортил. Сам тебе укажу, как работать надо,— сказал Лизун. Да тут же про кашу сказал, что ребята голодные от обеда встают.— Давай расчет; не хочу у тебя работать.

Лизун был малый молодой из Мисоедова, только второй год женат и впервой на стороне работал, а дела своего такой мастер, что хозяину указывал, и топором ли, долотом, пилой всякую работу мог сделать и потому в хозяине не нуждался.

Один из плотников сел подле Лизуна. Лизун кончил песню и подмигнул.

— Так-то.

— Аль взаправду расчет возьмешь?

— А ты как думал,— сказал Лизун,— кланяться стану?

— Что ж, домой пойдешь?

— А что мне домой идти? Аль свет клином сошелся, что окромя на мосту работы нет. Вишь, мужик строиться хочет,— сказал он, показывая на Ермилину избу напротив, подле которой лежал заготовленный лес,— уж как просил, подряжусь, да и поставлю избу мужику, плотников найму. Я гляну, так знаю, как работу начать.

— Что и говорить,— сказал плотник. Однако видно было, что мудрено это ему показалось, чтобы Лизун мог обнять такое дело.

Старик Ермил вместе с рядчиком подходили к Родьке.

— Вишь кособрюхой черт,— сказал Лизун, отвернувшись, но когда мужики подошли ближе и поклонились, плотники тоже приподняли шапки, а Лизун свою новую поярковую шляпу.

Ермил рядил плотника построить ему маслобойню. Лизун проворно встал и толкнул локтем мужика; «не кончай, дядя Ермил, я дешевле возьму». — Дядя Ермил оглянулся на Лизуна и на рядчика, который входил в избу. «Да ведь ты на мосту подряжен?» — «То на мосту, а теперь маслобойню построю, своих ребят Мисоедовских приведу, против его дешевле возьму и как должно произведу». — «Дело такое — известно», — сказал Ермил, взглядываясь в нового рядчика. Он не доверял ему, видно было. — «Только не рядись, а я к тебе приду, спасибо скажешь».

— Ну что, Федюха, или деньжонок попросить хочешь? — сказал рыжий рядчик, когда Лизун, помолясь Богу, подошел к столу и положил на него шляпу. Рядчик был в хорошем духе, и ему не хотелось отпустить лучшего работника. Он сидел за столом в переднем углу и, сняв обе руки с стола, запустил большие персты за кушак, чтобы не мешать хозяйке, собиравшей ему самовар и соскребавшей ножом перед ним. Он думал себе: «Малый молодой — пошалил. Ну, побранил, да и будет. А такого плотника не скоро найдешь». Но

Лизун сейчас сметил, что можно понатянуть хозяина. Он, не глядя в глаза хозяину, взялся за кушак, повертел его на теле.

— Что следует отдай, Кузьма Кирилыч, с Миколы 5 недель и 6 дён.

— Вот вы все так-то,— сказал Кирилыч,— чем бы тебе соблюсти хозяйское дело, чтобы прибавку получить, а вы как бы похуже; ведь обидно,— прибавил он, обращаясь к Ермилу. Он все еще хотел умаслить Лизуна.

— Дело хозяйское,— отвечал Лизун.— Худо, так не надо. А на мой разум, лучше нельзя, как я работал. Как еще тебе работать? Уж я ли не мастер, я ли не старался, как для себя, так и для хозяина, так и ребятам говорил. Как работа спорится, так и работникам и хозяину весело.

— Известно, коли хозяину барышей не будет, то и работникам платить нечем. То-то глуп ты бываешь!

— Нет, брат, я не глуп, а я так умен, так умен, что поищешь.

— Мягко стелешь, жестко спать. Намеднишь отъехал по дельцу в город, без себя этому молодцу приказал,— говорил рядчик, обращаясь к Ермилу,— так веришь ли, в целый день только и добра изделали, чтобы два дуба перерезали,— я их на сваи готовил, а они на перемета разрезали.

Еще двое ребят плотников вошли в избу, помолились образам и сели на лавку под полати, дожидаясь своей очереди. Ермил встал и вышел.

— Считайтесь, считайтесь, а я ребят проведу, с пахоты не приехали ль.

— Молись Богу за 40,— сказал рядчик, останавливая его и подставляя руку. Лизун подмигнул.

— Видно будет, завтра праздник,— сказал Ермил и вышел.

— Так-то,— сказал рядчик, разглаживая полотенцо, которое постелила хозяйка.

Лизун при ребятах стал говорить иначе.

— Вот что, Кузьма Кирилыч, твое дело, известно, хозяйское, а того ты не подумал, что с меня спрашиваешь, а жалованье мне наравне с другими платишь. Разве меня с Мишкой али Петрухой сравнять? Он плотник, и я плотник. А ему не прикажешь смотреть. Что он день проработает, то я до завтрака сделаю. Платить хочешь по 7 гривен на день, а то же спрашивать хочешь. Давай 10 целковых на месяц, я тебе одну всю работу изделаю,— как скажешь, так и сделаю. Хошь в месяц раз наезжай — ничего не испорчу. Так-то. Давай 10 целковых, а по той цене я жить не стану.

Рядчик просил Лизуна остаться подешевле, хотел его словами закидать, но Лизун его закидал еще ловчее. Рядчик сердился, и Лизун сердился еще больше. Рядчик ругнул его раз, Лизун тотчас же отвечал: «сам съешь». — Наконец стали считаться. Хозяйка принесла счета, но Лизун уже в голове расчел все по дням, и все было

так точно верно. Только спор был о том, что рядчик хотел за прогул вычесть два дня. «Э! брат Кирилыч,— говорил Лизун,— грех тебе будет, нашего брата обидеть можно. Не для заду, а для переду, придется еще поработаю у тебя».— Рядчик согласился, но Лизун еще просил на водку. «Сослужу еще службу, и Лизуну спасибо скажешь, уж двугривенничек прикинь, Кирилыч. Право. Ну! ребятам на меня гляючи веселей у тебя жить будет». Кирилыч на двугривенный не согласился, но так как всех денег следовало 16 р. 70 к., то 30 к. он дал на водку для ровного счета. И это он сделал оттого, что Лизун так его окрутил словами, что при ребятах ему хотелось показать, что он рассчитывает без прижимки. «Давай деньги».— У Кирилыча была только 50 р. бумажка. Он поверил ее Лизуну, и тот, завязав ее в угол платка и положив платок в шляпу, пошел в кабак разменять.

— Что топором, что языком, куды ловок малый,— сказал рядчик хозяину, когда Лизун ушел. Другие ребята тоже стали считаться. Они не были так ловки, и с ними хозяин совсем иначе обратился; одного он вовсе обсчитал на три двугривенных, а другому вовсе не дал денег. Хоть у него зажитых было 25 рублей и нужда была крайняя.

Прежде всех в селе узнали у Копыла, что в ночь приехал барин. Слышали все, что есть барин, что звать его Василий Микитич, что живет он в Москве либо в другой вотчине, а заправлял всем Андрей Ильич; полная ему воля от барина была дана. Больше о барине ничего не знали, нешто из дворовых или из грамотных кто, или кормилицыны. Ихняя баба в Москве жила, одного барчука кормила. Только слава была, что барин. Как все господа, ни худа, ни добра от него не видали, приказчик Андрей сам говорил, что в селе Красном он барин, а больше никто.

А узнали у Копыла прежде других потому, что ихний малый Игнатка в ночь на барском дворе караульщиком был. Так он и видел, как уж после петухов к дому два возка подъехали и выбегала Михайловна, посылала его будить Андрей Ильича, что, мол, барин приехал. Игнатка видел, как по снегу пробежал Андрей Ильич, застегивая сертук. Очень чудно ему показалось, как сам Андрей Ильич, который, бывало, иначе не ходил, как пузо выставив и еле еле с ноги на ногу переступая, как этот самый человек теперь спотыкнулся, сбегал с крыльца, не попал на дорожку, в сугроб забился и рысью, как боров отдуваясь, пробежал мимо него. Часов около пяти огни потухли в доме, и Андрей Ильич прошел к себе. Игнатка постучал еще в доску, но караульщик от амбара не отозвался, и Игнатка, поскрипывая лаптями по подмерзшей дорожке и волоча палку по корке снега, пошел на деревню.

На барском дворе огни только потухли, значит, народ полег спать, а на деревне только зажигались. Проходя мимо Фоканыче-

вых избы, Игнатка особенно внимательно взгляделся в тусклое окно, сквозь которое светился красный огонь печки, и остановился. Ему показалось, что кто-то прошел мимо окна и глянул в него. Но что ему было за дело до этой тени на окне? Во всех почти окнах были такие же огни и такие же тени. Однако он, вместо того чтобы идти серединой улицы по проезженной дороге, пошел по тропинке между двумя стенами снега и прошел мимо самой избы Фоканычевых. Аксютка, та самая девка, из-за которой Игнатка прошел мимо избы Фоканычевых, и в голове не имела, что Игнатка прошел под ее окном, она еще, раскидавшись, спала в чулане и не слышала, как старуха встала от нее и затопила печь. Ежели бы она и не спала и знала, что Игнатка тут, едва ли бы она подошла к окну и выглянула в него.

<ОТРЫВКИ РАССКАЗОВ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ>

<<ВСЕ ГОВОРЯТ: НЕ ДЕЛИСЬ, НЕ ДЕЛИСЬ...>>

Все говорят: не делись, не делись. Терпи, а не расходись. Что поделился, то разорился. Так и старики говорят, в старину не делились — богаче жили; так и мир судит, чтобы больше двойников или тройников было; было бы кому мирское дело потянуть; так и господа начальство судят. Особенно старые господа. Как кто делиться вздумает, посекут обоих, да и велят опять вместе жить. А опять придется, опять то же будет.

А настоящее дело, другой раз дележ баловство, а другой раз не миновать делиться, брату ли с братом или отцу с сыном. Что больше вместе жить, то греха больше. Все больше от баб, говорят, дележ бывает. Другой раз и не от баб, да не миновать делиться. Так-то с Сергеем Резуновым было.

Остался Сергей после отца сиротой, всего годочков 6 от роду. Прозвище его настоящее Трегубой, так его отца звали, а уж Резуновым он по вотчиму называться стал. Отчего Трегубой помер, Бог его знает; говорили старухи умные (они все знают, старухи), говорили, что его в Саламатине баба испортила, только не верю я что-то бабам, а должно простудился, горячка или другая болезнь от Бога была. Мужик он был одинокой, бедный, остались после него молодайка вдова да трое сирот, Сережка да две девочки. И помер-то в самое голодное время перед осенью. Хоть по миру иди. Спасибо, господские были, хоть плохи-плохи, а сходила к приказчику, велел отсыпное выдавать, на вдову два пуда, да на детей полтора.

Кто Сергея Резунова знал большим, старым, тому трудно подумать, какой он был маленьким Сережкой. Старый Сергей был мужик аккуратный, не высокой, не малый, и не худощавый, не толстый, а середка на половине. Волосы на голове были русые, не курчавые, так мочалками висели, всё в глаза попадали; бородка была небольшая клином, на щеках вовсе волос не росло, и когда я его знал, то уж много седых волос было; нос был загнутой крюком, и поперек и под глазом шрам был, еще мальчиком топором разрубили; рот был небольшой, аккуратный; как засмеется, зубы белые, ровные. Только смеялся он не часто, нешто когда выпьет, а то боль-

ше мужик серьезный был. Засунет, бывало, персты большие за кушак: «ну что, милый человек»,— такая у него поговорка была, и что ему не скажи, всякое дело разберет и докажет.

Так кто его таким-то знал, тому трудно подумать, какой такой был Сережка-сиротка, когда его еще от земли не видать было.

А был он маленькой, белоголовый, пузатый парнишко, и повеса был, за то и много его тогда мать била. Нужда, горе, а тут еще дети. Прибьет, бывало, с горя, а потом и самой жалко.

Вот в те-то поры, когда еще его от земли не видать было, помнит он, что пришел к ним раз в избу сосед, дядя Федор. Дело было осенью, с хлебом убрались, народ дома был. Пришел дядя Федор пьяный, ввалился в избу: «Марфа, а Марфа,— кличет,— иди угощай меня, я жених пришел».— А Марфа на выгоне замашки стелила. Сережка играл с ребятами на улице, увидал дядю Федора, за ним в избу пошел, через порог перешагнул, а сам руками за него прихватился, такой еще малый был.

— Кого тебе, дядюшка?

— Где мать?

— На старой улице замашки стеле.

— Беги, покличь ее, я тебе хлеба дам.

— Не, не дашь, ты наемднись Ваську побил.

— Беги, кличь маму, постреленок,— да как замахнется на него.— О! убью, трегубое отродье! — да как закотит глаза, да к нему. Пошутить что ли он хотел, только Сережка не разобрал, вывернул глаза, глянул на него, да опять на четвереньках через порог, да в переулок задворками через гумно, да на выгон, только босые ножонки блестят, как задрал, а сам ревет, точно козленка режут.— Что ты, чего, сердешный? — бабка встретила, спрашивает; так только глянул на нее, еще пуще взвыл, прямо к матери, подкатился к ней клубочком, уцепился за панёву и хочет выговорить — не может, как что душит его.

Марфа глянула на него, видит — плачет.

— Кто тебя? Что не сказываешь? Кто, говорю?

— Мамушка!.. Трегубой... сказал... убить хоче... пьяный такой... к нам... нам в избу зашел... — А сам паневу не пускает. Она его отцепит, а он за другое место перехватит, как колючка какая. Рассердилась баба, ей немного уж достелить оставалось, пошла к пучку, а он на ней висит. Прибила опять.

— Кто тебя, сказывай,— говорит.

— Дядя Федор... в из... избу пришел... — уж насили-насили выговорил.

Как поняла мать, недоставши толкнула его от себя, бросила, одернула паневу и пошла в избу.

А дело так было. Федор Резунов прошлой осенью сына женил и на него землю принял, а в зиму свою хозяйку схоронил. Вот он и ходил к приказчику, что, мол, тяжело без бабы землю нести, да и

что годов ему много, не сложут ли землю. «Я,— говорит,— и без земли вашему здоровью рад стараться. Какая плотницкая работа будет, все могу сделать».— Мужик на речи ловкой был, хоть кого заговорит. Да не поддался на этот раз приказчик, говорит: «Ты еще молод, всего 42 года, а что жены нет, так у нас невест не искать стать, вон Трегубая Марфутка вдова, таковая по тебе старику».— Так-то дело и порешили, и Марфу призывали, и старики сказали, что дело. Вот Федор-то с утра, вместо на работу, в кабак пошел с проезжим извозчиком, а теперь сам сватать пришел. Как у них там дело было, Бог их знает. Марфутка поплакала, поплакала, походила, поклонялась, а конец делу был, что перед Покровом обвенчали.

Как пошла от него мать, Сережка лег на брюхо и все кричал, до тех пор пока мать было видно. Как зашла она за плетень, он перестал, повернулся на бок и начал обтирать слезы. Руки все замочил. Обтер об землю и опять за глаза — все лицо вымазал. Потом взял сухую былинку и стал ковырять ей по земле: выкопает ямку, да туда слез, а не достанет — поплюет. И долго тут на выгоне лежал Сережка и думал свою думу о матери и дяде Федоре и о том, за что его дядя Федор убить хотел и за что мать прибила.

Он припомнил все, что знал о матери и дяде Федоре, и все не мог ничего разобрать. Помнил он, что мать ездила в Троицу к обедне и из церкви вывела его и села у богадельни под навес с кумом и говорила многое о Федоре, о муже, о детях. Помнит он, что кум все приговаривал одно: «Тетушка Марфа! сводные дети — грех только»,— и что мать говорила: «Что ж, коли велят». Потом помнит, что мать ходила на барской двор, пришла оттуда в слезах и побила его за то, что он на лавке лежал, и в этот же вечер сказала ему, что вот, дай срок, Федор Ризунов тебя приймет,— и тут же стала целовать его и выть.

Потом помнит, что девчонки дразнили его Ризуновым пасынком, и хотя он не понимал, к чему клонило, он плакал, слушая их. А тут еще сам Федор убить хотел. Во всем был Федор, и он ненавидел его. Он стал думать, как бы ему извести Федора: убить? отравить? испортить? — Тут девчонки с хворостинами, загоняя скотину, вышли из-под горы.— «Что, али вотчим Федька побил?» — Он молчал, они потрогали его. Он схватил камень и пустил в них — девки стали прыгать и кричать. Он бранился, потом заревел. Бабы прогнали девочек. Старшая, Парашка, прошла с скотиной.— «Чего ты?» — Сережка разревелся и рассказал, как хочет погубить. Парашка сказала, что испортить надо. Пойти к дедушке Липату. Страница пришла. Они ей открылись, она научила терпеть. Мать погнала скотину загонять. Уложила спать, за нее завалился.

После Покрова женили. Сережка видел, как одели мать, как она выла, как пили мужики, и его к ним перевели. Девчонка злая Ризуновых, мокрая.— Раз пришел домой пьяный Ризунов.— «Зачем обед не готов?» — «Ты не велел ждать, и мы поели».— «Ах ты

такая-сякая, Трегубое отродье накормила. Известно, так вот я убью его», — схватил топор, да на Сережку. Сережка обмер: «батюшка, дай помолиться». Терпеть.

<«АЛИ ДАВНО НЕ ТАСКАЛ!»>

«Али давно не таскал!» — сказал мужик с обмерзлыми сосульками на бороде и усах, входя вечером в избу и обращаясь к бабе. Он только что поскользнулся в сенях и едва удержался о притолку. «Опять налили сенцы, идола!» — «А ты ушат починил, что ли? — сказала баба. — Ноне бабы 5 раз за водой ходили, что принесут, половина вытечет». — «Начинишься на вас, чертей. Космы повыдержая, так не потечет». — Мужик приехал из лесу не в духе: караульщик застал его накладывающим молодые дубочки, которые он срубил в господском лесе, и содрал с него на косушку. Кроме того он поскользнулся. Баба видела, что дело плохо, и лучше молчать.

Мужик молча разделся, поужинал с семьей. Сын, пришедший с господской молотбы из села, за ужином рассказал новость. В риге сказывали — барин приехал. «О!» — сказал старик. — «Мужики гутарили, опять хочет землю отрезать. К посредственнику ездил. Михайла говорит, ничего не будить». — «Какой Михайла?» — «Сидоров — грамотный что ли он, сказывал, ничего не будет, потому мужики свою планту не покажут, а когда царская межевка придет, тоды пущай режут, — от царя землемер все укажет, всю землю отхватют господскую...»

Старик внимательно слушал, и бабы замолкли. Василий слыл за голову. «Потому, говорить, кошедатраная межевка пойдет, а на эту согласия не сделают...»

Старик радостно усмехнулся. «С весны тож приезжал, — сказал он, — как маслил, небось дураков нашел, с чем приехал — с тем уехал...» Василий продолжал: «Михайло сказывал, барин-то старшину чаем поил, — слышь, хочет таперича всю землю в проценту укласть. Старшина сказывал, мир очень обиждается». — «Ох, Господи, — сказал <старик>, рыгая и крестясь, — креста-то нет на людях», — и он вылез из-за стола. «Завтра сходку собрать велели», — прибавил Василий. — Через 5 минут лучина затухла, и 12 душ Семеновой семьи (так звали старика) захрапели в 7 аршинной избе.

Семен жил на хуторе, поселенном лет 15 тому назад в 5 верстах от села и состоящем из 4 дворов. Барин же остановился в усадьбе, в селе. Барин несколько месяцев тому назад <...>¹ неожиданно получил это имение в наследство. <Он служил>² по другому имени (за 100 верст от этого) посредником, и посредником, заслужившим не-

¹ Угол листа оборван.

² То же. Вставлено по смыслу.

годование дворянства. Он приезжал в первый раз весною с тем, чтобы облагодетельствовать крестьян и доказать, что, проповедуя уступки крестьянам, он сам и на деле готов их делать,— что ему было в особенности легко, так как он был богат, никому не должен, одинок, и именно это свалилось ему с неба. Он предлагал крестьянам перейти с барщины на оброк, оброк с излишней сверх надела землей полагал навсегда ниже Положения и, для того чтобы крестьяне всегда могли заплатить оброк, предлагал оставить барщинскую работу, только оценив ее в деньги, так что при этой оценке мужик с бабой, ходя на барщину, зарабатывал весь оброк меньше чем в полгода трехдневной барщиной. Мужики отказались и с радостью проводили уезжавшего и ничего не сделавшего помещика. «Что взял? С чем приехал, с тем и уехал...»

Теперь барин приехал опять, с тем чтобы покончить дело с этим именем, и воспользовавшись и

СОН

Я во сне стоял на белом, колеблющемся возвышении. Я говорил людям все то, что было в моей душе и чего я не знал прежде. Мысли мои были странны, как во сне, но невольно облекались вдохновенным, размеренным словом. Я удивлялся тому, что говорил, но радовался, слушая звуки своего голоса. Я ничего не видал, но чувствовал, что вокруг меня толпились незнакомые мне люди и все мои братья. Вблизи они дышали. Вдали бурлило море, темное, как толпа. Когда я говорил, от моего говора по всему лесу пробегал ветер. И этот ветер возбуждал восторг в толпе и во мне. Когда я замолкал, море дышало. И море и лес была толпа. Глаза мои не видели, но все глаза смотрели на меня — я чувствовал их взгляды. Я бы не мог устоять, ежели бы они не держали меня своими взглядами. Мне было тяжело и радостно. Они двигали мною, также как я двигал ими. Я чувствовал в себе власть, и власть моя над ними не имела пределов.

Один только голос во мне говорил: страшно! Но быстрее и быстрее я шел все дальше и дальше. Я едва переводил дыхание. Подавленный страх увеличивал наслаждение, и возвышение, на котором я стоял, колеблясь поднимало меня все выше и выше. Еще немного, и все бы кончилось. Но сзади меня шел кто-то. Я почуял чужой, свободный взгляд. Я не хотел; но этого нельзя было — я должен был оглянуться. Я увидал женщину, мне стало стыдно, и я остановился. Толпа не успела исчезнуть, и ветер все еще шумел по ней. Толпа не расступилась, но женщина спокойно пошла посередине толпы и не соединялась с нею. Мне стало очень стыдно, я хотел опять колебаться и говорить, но слов не было. Я не мог обманывать себя. Я не знал, кто она была, но в ней было все, что любят, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила. Она посмотрела и на меня, но только на одно мгновение. Она равнодушно отвернулась. Я смутно видел очертанья ее лица; но спокойный взгляд ее остался во мне. В ее взгляде была кроткая насмешка и чуть заметное сожаленье. Она ничего не понимала из того, что я говорил, и не жалела о том, что не понимает, а жалела обо мне. Я не мог вынуть из себя ее взгляда. Она не презирала меня. Она видела наш восторг и жалела. Она была полна счастья. Ей никого не нужно было, и поэтому я чувствовал, что без нее нельзя жить. Дрожащий мрак закрыл от меня ее всю. Я заплакал. Я сбросил с себя стыд и плакал о прошедшем невозвратимом счастье, о невозможности будущего счастья, о чужом счастье... Но в слезах этих было и счастье настоящего...

ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ

<ПЕРВОЕ НАЧАЛО>

Это было в 1807 году. Была осень. Граф Никита Андреевич еще не уезжал в Москву, а только собирался в отъезжее поле. Участники охоты собирались понемногу в его *Новые Котлы*. Многие проводили у него все лето, многие уже приехали, других ждали. По обыкновению в четверг ездили в город закупать провизию, отвозить письма и привозили почту, французские журналы, письма и «Московские ведомости». Перед вечером докипала последняя работа уборки на гумне и в поле. Управляющий, приказчики, старосты, десятник верхами и пешками сновали около скирдов и в поле, обозы в сотни лошадей гремели пустые в пыли от гумна и, поскрипывая и покачиваясь, качались навстречу пустым телегам. Мужики ждали, что их отпустят после осьмого раза, и умышленно медлили, управляющий хотел натянуть 9-й раз и мечтал о 12 скирде.

Два охотника звали в рог к котлу, и стая в 150 собак выла и лаяла на звук рога, один мешал лопатой в корытах. Бабы с песнями и серпами на плечах шли хороводами с жатвы и вязки, на дворе в больших 12-ти домах дворовых собирали скотину. Табуны и стада приближались к усадьбе в облаках пыли. Пастухи и подпаски со всех ног метались, удерживая скотину от полей, мимо которых гнали. Плотники, строившие винокурню, спорили с жидом рядчиком, сдавая работу. Наездник на золоченых, из прутиков сделанных беговых дрожечках, с заметанным комами пыли лицом, докуривая трубочку и спустив ноги, возвращался с бегу на молодом взмылившемся сером жеребце, сыне Атласного, сына Кролика, сына Сметанки. Жеребец, тонкий, еще несложившийся 4-леток, мотал головой и хвостом и ступал, точно прихрамывая. Дворовая румяная красивая девушка с холстами прошла по дороге и остановилась, чтобы дать дорогу наезднику. Наездник с дрожек шипнул ее и неожиданно улыбнулся несмотря своего усатого лица.

В кухне повар и два поваренка в белых колпаках собирались готовить ужин, а до этого затеяли игру в орлянку в саду с лакеями приезжих господ. В приспешной ставились два самовара. В девичьей шили, пряли и прислушивались, не позовет ли барыня, человек 12-ть девушек. Одна из них лежала на сундуке и плакала, другая смеялась в окно с подошедшим молодым лакеем. Старушка графиня, мать графа, раскладывала в своих покоях карты, у ней сидели

три старушки. Сестра графа, вдова, поила чаем в своих покоях двух зашедших с кружками монахов. В отделении гостей человек 8-мь были по своим комнатам, кто читая, кто играя в карты. На детской половине немец-гувернер ссорился с французом, а дети, внучки графа от умершего сына, докончивали заданный урок перед чаем. Другой сын графа, холостой, поехал кататься с гувернанткой. Сам граф Никита Андреевич только проснулся после послеобеденного отдыха и умывался водой со льдом.

<ВТОРОЕ НАЧАЛО>

Князь Василий Иларионыч был сын вельможи и сам занимал очень, очень важное место в службе; но три года тому назад он подал в отставку и уехал в деревню. О нем жалели, говорили, что и так мало людей в России, а что ж будет, когда все так будут во всем отчаиваться и все бросать. Другие говорили, что он прекрасно сделал, удалившись. «Он почувствовал, что место это ему не по силам,— говорили они.— Этого еще мало, что он честен и храбр. Отчего ж не сказать слово: он неспособен. Хотя и добрый и честный малый». Самые недоброжелательные люди как будто робко и неохотно бросали малейшую тень на этого князя Василия Иларионыча. Он был так богат, принадлежал к такой знати, был так храбр и, главное, так был прост, ровен и безобиден, непритворен в обращении, что осудить его было опасно.

Впрочем, говорили о нем первое время; потом забыли. Забыло большинство петербургское, то общество, которое не только наслаждается и умеет наслаждаться современным успехом минуты, но которое эту только жизнь считает достойной названия жизни. В числе этих борющихся, торопящихся и успевающих людей Петербурга был один человек, который живо вспомнил о Василии Иларионыче, пожалел о нем и захотел спасти его из той тины деревенской жизни, в которой с каждым годом глубже и глубже утопал Василий Иларионыч. Человек этот был одним из вновь появившихся светил на горизонте русских государственных людей — не молодой уже человек, но молодой тайный советник, коротко обстриженный, молододседеющий, гладко выбритый, сияющий здоровьем аккуратно-трудовой жизни государственного человека, в белом галстуке, с свежей второю звездой, с утра председательствующий в комитетах, заседающий в министерствах, подающий проекты, обедающий в 6 часов дома в кругу частью покровительствуемых избранных людей будущего, частью снисходительно и политично уважаемых людей прошедшего, показывающийся на рауте посланников и двора и с сложной, но легко носимой на челе думой проводящий поздние вечера за восковыми свечами в своем высоком, обставленном шкафами кабинете.

Человек этот, Иван Телошин, как его звали в свете, был женат на богатой кузине князя Василия Иларионыча. В осень 1863 года

Телошин почувствовал часто повторяющуюся боль в правом боку. Он, очевидно, несмотря на свое каменное сложение, переработал. Ему надо было отдохнуть. Именья — огромные именья его жены — находились в той же губернии, где жил Василий Иларионыч. Уставные грамоты не все были составлены и разверстаны по разным местным условиям, имели особую важность. Ему надо было самому быть там. Князь Василий Иларионыч в предполагаемом в будущем устройстве Комитета мог быть важной поддержкой, а потому Телошин вместо Ниццы решил поехать на осень в Т. губернию.

Василий Иларионыч звал его к себе года два тому назад, шутя, проездить вместе отъезжее поле.

— Он мне истинно жалок! И мы поедem к нему, ежели ты согласна, Зина? — сказал он жене.

Блажен.....

.....

Кто постепенно жизни холод

С годами вытерпеть умел.

Тот, кто в 40 лет не понимает всей глубины значения этого стиха, тот и не испытает этого тяжелого жизни холода и той борьбы за жизнь, когда мы начинаем ощущать этот жизни холод, который тем сильнее чувствуется, чем больше хорошего, любимого всеми было в молодом человеке.

Князь Василий Иларионыч боролся с этим холодом жизни и был слабее его.

«К чему мне почести? К тому, чтобы не иметь ни минуты покоя, ни минуты своей? Влияние <на> искоренение злоупотреблений! (тогда еще было то время, когда все воображали, что единственное призвание человека состоит в искоренении злоупотреблений). Я накажу 10 мошенников, а в это время 20 новых обманут меня? К чему? Любовь женщины, женитьба. К чему? Чтоб страдала жена, болели дети и я сам за них? К чему? Богатство? Боже мой, ежели бы кто научил меня, как жить без богатства, как бы я был счастлив. Богатство к тому, чтоб видеть, как вокруг тебя вьются подлецы, воры — одни подлецы — с тем чтоб одному украсть 10 копеек, а другому 10 тысяч рублей. К чему все? Гадость, грязь, обман... Лучше не трогаться и оставить их, только бы они меня оставили в покое с моим стаканом чая, рюмкой вина, с окном моим на сад, камином зимою, с книжкой глупого романа (и там люди, да не живые). Есть, правда, два человека не глупые и не подлые, да и то не надолго. И тех дай Бог видеть поменьше. Было время, когда все это было хорошо. Тогда у меня были и зубы и волосы все, и глуп я был, а теперь к чему? Желудок плохо варит — а тут смерть — вонь и ничего. К чему?»

Так думал большей <частью> Василий Иларионыч до завтрака и перед обедом, да и вечером и после завтрака немного веселее представлялась ему жизнь. Редко, редко в известные поры дня и

года, особенно осенью, находили на князя Василия Иларионыча минуты радостного расположения духа.

Только в трех случаях жизни этот страшный вопрос: к чему? не представлялся Василию Иларионычу. Это были: когда дело касалось его воспитанницы девочки, жившей с ним, когда дело касалось его брата и когда дело касалось охоты. Когда ловчий его приносил ему отнятых у мужиков волчат и, пометив, пускал их назад в остров, Василию Иларионычу не приходила мысль — к чему он осенью будет с замиранием всего существа ждать на свою свору этих меченых волчат, когда он мог истребить их еще три месяца тому назад.

Василий Иларионыч лежал, как он и проводил обыкновенно целые дни, с ногами на диване в своем кабинете и читал роман, когда англичанка гувернантка с воспитанницей вошли в комнату. Василий Иларионыч помотал ногами в знак того, что он знает, что надо было встать, и продолжал читать. Лицо его выразило досаду, и он несколько раз сопнул носом, что, как знали все в доме, означало дурное расположение.

— Совсем не рад! Совсе не рад,— сказал Василий Иларионыч англичанке, гувернантке своей воспитанницы, которую — гувернантку — он считал за пошлую дуру, но с которой несмотря на то, так <как> она одна была у него под рукой для разговора, он часто входил в самые душевные подробности.— Совсем не рад,— говорил он, получив письмо Телошина, видимо давая чувствовать гувернантке, которой дела до этого не было, что ежели Телошин думает сделать ему большую честь и удовольствие этим посещением, то он очень ошибается. И не худо, чтобы он это знал.

— Приедут сюда эти петербургские вельможи и франты с женою,— говорил он за чайным столом, обращаясь к 40-летней англичанке, но взглядывая на 15-летнюю воспитанницу, от которой, несмотря на молодость ее, он, видимо, больше ждал оценки и понимания своих слов.

Да не подумает читатель, что Василий Иларионыч был влюблен или имел похожее на начало этого чувства к своей воспитаннице, хотя полное жизни, крови и мысли подвижное молодое лицо воспитанницы и могло возбудить подобное чувство. Напротив, Василий Иларионыч каждый день говорил себе, что он сделал глупость, взяв к себе эту девочку, которая, как и вся нынешняя молодежь, Бог знает с какими мыслями и в сущности дрянь.

— Совсе не рад! Привезут с собой всю эту петербургскую сплетню и мешать мне будут. Все надо их занимать. Только уж этого никак не будет. Хочет он жить — живи, а я в Нарезное иду¹ 2-го сентября. Уж вы, пожалуйста, мистрис Джонс, приготовьте им там веря и все. Вы это умеете.

¹ Иду — охотничий термин, иду с охотой. (Прим. Л. Н. Толстого)

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

- ГМТ* — Государственный музей Л.Н.Толстого. Рукописный отдел (Москва).
- РНБ* — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Гольденвейзер* — Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959.
- Гусев, II, IV* — Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957; Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970.
- ЛН* — «Литературное наследство», т. 35–36. Л.Н.Толстой. I. М., 1939; т. 37–38. Л.Н.Толстой. II. М., 1939; т. 69. Лев Толстой. Кн. 1–2. М., 1961; т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1–2. М., 1965; т. 90. У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки» Д.П.Маковицкого. Кн. 1–4. М., 1979.
- Некрасов* — Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений: В 15 т. Л.—СПб., 1981–2000.
- Описание* — Описание рукописей художественных произведений Л.Н.Толстого. Сост. В.А.Жданов, Э.Е.Зайденшур, Е.С.Серебровская. Общ. ред. В.А.Жданова. М., 1955.
- Переписка* — Л.Н.Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, доп. Сост., вступит статья и прим. С.А.Розановой. М., 1978.
- Толстой в воспоминаниях, 1960* — Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Изд. 2-е, испр. и доп. Подготовка текста и прим. Н.Н.Гусева, В.С.Мишина, Л.Д.Опупьской; вступит. статья К.Н.Ломунова. М., 1960.
- Толстой в воспоминаниях, 1978* — Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Составление, подготовка текста и комментарии Г.В.Краснова; вступит. статья К.Н.Ломунова. М., 1978.

Тургенев — Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: В 28 т. Сочинения в 15 т. Письма в 13 т. М.—Л., 1960–1968.

Чехов — Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. Письма: В 12 т. М., 1974–1983.

Юб. — Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М., 1928–1958.

В четвертый том Полного собрания сочинений вошли повести Л.Н.Толстого «Казачи», «Поликушка» и неоконченные художественные произведения конца 1850 — первой половины 1860-х годов: «Декабристы», рассказы из деревенской жизни, «Сон», «Отъезжее поле».

«Казачи» Толстой писал, с перерывами, десять лет. При этом в 1863 г. работа оказалась скорее прекращена, чем завершена. Подобно тому, как из «Романа русского помещика» в 1856 г. было опубликовано лишь «Утро помещика», повесть «Казачи» явилась обработанной для печати частью «кавказского романа», называвшегося «Беглец», «Беглый казак», «Казачи», над которым Толстой усердно трудился в 1857–1862 гг. В сложном рукописном фонде «Казачков» отразилась и творческая история «кавказского романа». Судя по дневниковой записи 30 сентября 1865 г. («мои казачи, будущее»), замысел этого романа оставался в творческом воображении Толстого, однако больше ничего не было создано.

Рукописи «Казачков» публиковались в томе 6 Юбилейного издания (1929, доп. тираж 1936), томах «Литературного наследства» (№ 35–36, 69–1939, 1961), отдельном издании повести в серии «Литературные памятники» (1963). В настоящем издании они впервые воспроизводятся полностью и расположены в хронологическом порядке (т. 4 второй серии). Изучая этот материал, можно не только понять историю создания «Казачков», но и наблюдать идейную и художественную эволюцию Толстого от начала 50-х до начала 60-х годов.

Хотя «Казачи» входили во все прижизненные собрания сочинений, начиная с изд. Ф.Стелловского 1864 г., сам Толстой не вносил никаких поправок. Исследование рукописей позволило устранить многочисленные ошибки и искажения, проникшие в текст при публикации его журналом «Русский вестник». Эта работа проводилась для «Литературных памятников», но завершена лишь теперь.

Появившаяся в феврале 1863 г. повесть «Казачи» стала первым художественным произведением, увидевшим свет после почти четырехлетнего перерыва: строго осудив «Семейное счастье» и увлекшись педагогикой, Толстой в эти годы работал над несколькими вещами, но ничего не печатал. «Казачи» обозначили рубеж. Сразу после них опубликована повесть «Поликушка» и тогда же начат «роман из времени 1810 и 20-х годов», как названа будущая «Война и мир» в октябрьском письме 1863 г. Толстой снова почувствовал себя «писателем *всеми* силами своей души».

Работа над «Поликушкой» происходила в 1861–1863 годах и отразилась в двух рукописях: неполно сохранившемся автографе и копии, сделанной С.А.Толстой, с поправками автора. Рука С.А.Толстой как переписчи-

цы и помощницы, которой Толстой нередко диктовал, пользуясь своими черновиками, впервые появляется среди материалов данного тома. Отрывки из рукописей «Поликушки» публиковались в т. 7 Юбилейного издания (1932, доп. тираж 1936); в наст. изд. полностью воспроизведен автограф и дан исчерпывающий свод вариантов по копии. Впервые проведена критическая проверка печатного текста по рукописям и внесены необходимые исправления.

Неоконченные произведения, не публиковавшиеся при жизни Толстого, печатаются по автографам. По рукописи даются и «Декабристы», хотя они появились в 1884 г. в книге: «XXV лет. 1859–1884. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». Исследование показало, что сохранившаяся наборная рукопись, отправленная для печати в Петербург — последний момент обращения Толстого к тексту; набор и корректура проходили без его участия.

Как обычно, большие сложности возникали с датировкой неоконченных произведений. Анализ почерка, бумаги, внешнего вида рукописей позволил установить, что сохранившиеся фрагменты «Отъезжего поля» следует отнести к 1863 и 1865 г.; сделанное в 1856–1857 годах остается неизвестным, хотя работа того времени удостоверена дневниковыми записями Толстого. Споры возникали и о дате копии «Декабристов»: 1862 или 1884 г.? Изучение вопроса подтвердило раннюю дату. Переписка С.А. Толстой с Н.Н. Страховым (опубликована в 2000 г.) свидетельствует, что в середине 1880-х годов возникло намерение (неосуществленное) включить неоконченный рассказ «Идиллия» под названием «Деревенская идиллия» в том «Сочинений гр. Л.Н. Толстого». В сущности, тот же замысел осуществлялся Толстым под названием «Тихон и Маланья». В настоящем издании к этому рассказу (или повести) отнесены несколько автографов начала 1860-х годов, печатавшиеся в Юбилейном издании отдельно, среди «Отрывков рассказов из деревенской жизни» (см. комментарии).

В начале 1860-х годов была создана и первоначальная редакция «истории лошади» — «Хлыстомер», позднее переделанная; повесть напечатана в 1886 г. под заглавием «Холстомер» (см. т. 14 наст. изд.).

Неоконченные «Декабристы», вместе с «Казачками», рассказами о народной жизни, стихотворением в прозе «Сон» и «Отъезжим полем» — непосредственные предшественники книги «Война и мир». Печатая «Казак», Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен».

В конце 1870-х годов Толстой снова вернулся к замыслу «Декабристов» (см. т. 9 наст. изд.), но и тогда роман остался лишь в многочисленных рукописях.

Тексты и комментарии подготовили: *И.П. Видуэцкая* («Поликушка», «Идиллия», «Тихон и Маланья», отрывки рассказов из деревенской жизни); *Л.Д. Громова-Опудьская* («Казачки»); *Т.Ю. Пластова* («Декабристы», «Сон»); *Л.Н. Кузина, М.А. Соколова* («Отъезжее поле»).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1853–1863 гг.

КАЗАКИ

КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ

1852 года

Впервые: «Русский вестник», 1863, № 1, с. 5–154 (ценз. разр. 25 января 1863 г.). Подпись: Граф Лев Толстой.

Сохранились 571 лист автографов и копий, 7 листов материалов (записи песен и заговора).

Печатается по журнальному тексту, с исправлениями по рукописям (автографам и копиям):

С. 7, строки 17–18: закутавшись и съжившись — *вместо:* закутавшись и сжавшись (по А).

С. 10, строки 4, 7: Дмитрий Андреич — *вместо:* Дмитрий Андреевич (по А).

С. 15, строка 9: ошибки не могут повториться — *вместо:* ошибки не могут повторяться (по А и К).

С. 15, строки 38–39: сам не помня как, перелезает — *вместо:* сам не помня, перелезает (по А и К).

С. 16, строка 17: оглядевший проезжего — *вместо:* оглядевший проезжих (по А и К).

С. 16, строки 42–43: красота снеговых гор, о которой ему толковали — *вместо:* красота снеговых гор, о которых ему толковали (по А, К₁, К₂).

С. 16, строка 16: Кочкалыковский хребет — *вместо:* Кочкалосовский хребет (по А и К).

С. 20, строки 10–11: исключение из правила — праздник — *вместо:* исключение из правила (по А).

С. 25, строки 34–35: однообразно бурливший — *вместо:* однообразный, бурливший (по А и К).

С. 29, строка 12: али уряднику — *вместо:* или уряднику (по А в К).

С. 29, строка 26: пошел к кордону — *вместо:* пошел по кордону (по А в К).

С. 29, строки 43–44: пошел под окно; слышит — *вместо:* пошел; под окном, слышит (по А в К).

С. 32, строки 23–24: Равномерные ночные звуки шуршанья камышин, храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды — *вместо:* Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и теченье воды (по А, К₁, К₂).

- С. 34, строка 4: повторяли казаки — *вместо*: повторили казаки (по А и К).
- С. 34, строки 40–41: а то може — *вместо*: а то тоже (по А в К).
- С. 35, строка 32: а из-под ней — *вместо*: а из-под нее (по А и К).
- С. 38, строка 22: нынче — *вместо*: ныне (по А в К).
- С. 38, строка 40: по площади и улицам — *вместо*: по площадям и улицам (по А₁, А₂).
- С. 39, строка 30: стягивал — *вместо*: который стягивал (по А в К).
- С. 40, строка 1: жить будем — *вместо*: жить будет (по А и К).
- С. 40, строки 33–34: формы, обозначившиеся — *вместо*: формы, обозначившиеся (по А и К).
- С. 41, строка 40: Стадо еще не пригоняли — *вместо*: Стадо еще не прогоняли (по К₁, К₂).
- С. 44, строка 20: хошь ты и солдат — *вместо*: хоть ты и солдат (по К).
- С. 46, строка 21: другие армейские — голь — *вместо*: другая армейская голь (по А и К).
- С. 47, строка 2: Бают, крест выйдет. — *вместо*: Бают, крест вышлют. (по А в К).
- С. 47, строки 17–18: толкал под бок Назарку — *вместо*: толкал под бока Назарку (по А в К).
- С. 49, строки 4–5: Что будем делать! — *вместо*: Что будешь делать! (по А).
- С. 52, строка 32: очиститься должен — *вместо*: очиститься должен (по А).
- С. 57, строка 12: затянулся ремнем — *вместо*: затянул ремнем (по А в К).
- С. 63, строка 8: батюшка Илья Василич — *вместо*: батюшка Илья Васильевич (по А и К).
- С. 63, строка 39: не то как бабы — *вместо*: не то как бы (по А и К).
- С. 64, строка 25: Что же, неужли — *вместо*: Что же, неужели (по А).
- С. 66, строка 16: Шш! Теперь молчи — *вместо*: Ши! Теперь молчи (по А).
- С. 66, строка 26: Лес казался странно высоким. — *вместо*: Лес казался страшно высоким. (по А и К).
- С. 66, строка 37: спины, лица и руки — *вместо*: спины, глаза и руки (по А).
- С. 68, строка 5: Не, это мой след, а во — *вместо*: Не, это мой след (по А).
- С. 68, строки 18–19: топот галопа послышался на мгновенье из-за треска, перешел в гул — *вместо*: топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул (по А).
- С. 73, строка 16: Скоро приехали верхами — *вместо*: Скоро приехали верхом (по А в К).
- С. 73, строка 19: ваше бродие — *вместо*: ваше благородие (по А в К).
- С. 73, строка 30: Ты грамотный? — *вместо*: Ты грамотен? (по А в К).
- С. 79, строка 4: На работы и на ученья — *вместо*: На работы и на учение (по А и К).
- С. 82, строка 20: под нестянутой рубахой — *вместо*: под ее стянутою рубахой (по А).
- С. 83, строка 23: Оно было ему слишком близко к сердцу. — *вместо*: Оно было ему слишком к сердцу. (по А и К).

РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ

ТОМЪ Сорокъ ТРЕТІЙ.

1863

ЯНВАРЬ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- I. КАЗАКИ. Кавказская повесть 1862 года. **Графа Л. Н. Толстого.**
- II О НЕКОТОРЫХЪ ЯВЛЕНІИХЪ ДЕНЕЖНАГО ОБРАЩЕНІЯ ВЪ РОССІИ. **В. Н. Бездорова.**
- III. РОМАНСЪ. Стихотвореніе **А. А. Фета.**
- IV. ПЕТРЪ АНДРЕЕВИЧЪ СТАВАССЕРЪ. **Н. А. Рамазанова.**
- V. АНГЛИСКИ НАБЛЮДАТЕЛЬ ВЪ СѢВЕРНОЙ АМЕРИКѢ **А. В. Дружинина.**
- VI. ТЕОРІЯ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ВЪ МЕЖДУНАРОДНОМЪ ПРАВЕ. **М. Н. Капустина.**
- VII. СИБИРСКАЯ ТАЙГА. I — **К. Золотилова.**
- VIII. ЦВЕТЫ И НАСѢКОМЫЕ. **С. А. Раинскаго.**
- IX. ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ГЕНЕРАЛЬ-АДЪЮТАНТА МУРАВЬЕВА О ВОИНѢ 1855 г. ВЪ МАЛОЙ АЗИИ.
- X. ХОДОСТАЯ ЖИЗНЬ. Разказъ **Тольгочевой.**
- XI. ИЗЪ ДЕРЕВНИ. I—V. **А. А. Фета.**
- XII. ОТЗЫВЫ И ЗАМѢТКИ. Волскій вопросъ.

МОСКВА

Въ Университетской типографіи
(КАТКОВЪ и К°)

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСТНИКЪ», № 1 за 1863 г.
С ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИЕЙ ПОВЕСТИ «КАЗАКИ»

С. 84, строка 6: Говорят, в набег скоро. — *вместо*: Говорят, что в набег скоро. (по А в К).

С. 84, строка 7: а слышал — Криновицыну — *вместо*: а слышал, что Криновицыну (по А в К).

С. 85, строка 8: в хату Белецкого — *вместо*: в хату Оленина (по смыслу).

С. 91, строка 9: Они оглядели нового коня — *вместо*: Они осмотрели нового коня (по А).

С. 93, строки 14–17: Манил он ясного сокола на праву руку: «Поди, поди, сокол, на праву руку, За тебя меня хочет православный царь Казнить-вешать» — *вместо*: Манил он ясного сокола на праву руку. (по А). (Цenz.)

С. 94, строка 2: и уже не дразнили — *вместо*: и даже не дразнили (по А и К).

С. 96, строки 12–13: В пятницу пришла решенья, Чтоб не ждать мне утешенья — *вместо*: В пятницу пришло решенье, Чтоб не ждать мне утешенья (по К₁, К₂).

С. 96, строка 43: сожгли аул — *вместо*: зажгли аул (по А).

С. 97, строки 43–44: засыхали бурьяны и камыши — *вместо*: засыхали буруны и камыши (по А).

С. 97, строка 44: скотина, мыча, днем убегала с поля — *вместо*: скотина, мыча днем, убегала в поля (по А).

С. 98, строки 7–8: Сады глухо заросли вьющеюся зеленью, и в прохладной густой тени везде чернели — *вместо*: Сады глухо заросли вьющеюся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели (по А).

С. 98, строка 24: черными и янтарными кистями — *вместо*: черными янтарными кистями (по А).

С. 98, строка 30: слышались смех, песни, веселые женские голоса — *вместо*: слышались смех, песни, веселье, женские голоса (по А).

С. 101, строка 16: Ведь ты не пошла, я чай. — *вместо*: Ведь ты не пошла, чай. (по А в К).

С. 102, строки 22–23: Приходил бы лучше нам подсобить. С девками пороботал бы — *вместо*: Приходили бы лучше нам подсобить. С девками пороботали бы (по А).

С. 109, строки 5–6: Это еще меньше желание наслаждения — *вместо*: Это еще меньшее желание наслаждения (по А в К).

С. 112, строки 14–15: платках, обвязывающих голову и лицо — *вместо*: платках, обвязывающих голову и глаза (по А).

С. 114, строка 10: али верхом — *вместо*: или верхом (по А и К).

С. 116, строки 3–4: товарищу, слезшему — *вместо*: товарищу, слезая (по А).

С. 120, строка 22: Девки пойдут, и я приду. — *вместо*: Девки придут, и я приду. (по А).

С. 128, строки 3–4: грубым и жестким голосом — *вместо*: грубым и жестоким голосом (по смыслу).

С. 130, строки 24–25: Ведь он тебя не уцелит. — *вместо*: Ведь он тебя не узнает. (по К).

Посылая 28 ноября 1862 г. М.Н. Каткову начало «Казачков» для набора, Толстой заметил, что «орфографических ошибок переписчика — бездна», и просил обратить на них внимание корректора. Однако корректор, конечно, не смог обнаружить действительных ошибок, и дело ограничи-

лось унификацией грамматики, приведенной в соответствие с нормами того времени и с практикой журнала. В частности, существительные среднего рода (теченье, колыханье, желанье, стремление, образование и т.п.), которые Толстой почти всегда писал через мягкий знак, были унифицированы в сторону книжного варианта. Как показывает сличение копий с автографами, в этом направлении действовали и переписчики. Такие слова Толстого, как «противузаконно», «противуположный», «ежели», «достигнул», «покойно», «взбежал» также изменялись на: «противозаконно», «противоположный», «если», «достиг», «спокойно», «вбежал»; слова «мужеска», «женска» — на «мужеского», «женского». Окончания прилагательных в творительном падеже («ой», «ей») заменялись формой на «ою», «ею». Поскольку не все рукописи «Казак» сохранились (некоторые автографы, наборная рукопись и корректура не дошли до нас), нет возможности восстановить полностью авторскую грамматику и синтаксис, а всякое выборочное их исправление на основе сохранившихся рукописей внесло бы ненужную путаницу, и потому в настоящем издании, печатая повесть по тексту «Русского вестника», мы сохраняем грамматические формы этого источника (известно, что Толстой читал и правил корректуру). Во второй серии издания публикуются все рукописи, где подлинные написания, особенно если речь идет об автографах, полностью сохранены.

Действительные ошибки переписчика (и впоследствии наборщика) удаётся устранить лишь путем проверки печатного текста по рукописям. Впервые эта работа проводилась для издания повести «Казак» в серии «Литературные памятники» (М., 1963); теперь она осуществлена в полном объеме, т.е. с привлечением всех сохранившихся рукописей — автографов и копий. Очевидные опечатки «Русского вестника» исправлены без оговорок (в частности, в нумерации глав).

При публикации в журнале повесть не подверглась цензурным искажениям. Кроме одного места — песни «Из села было Измайлова», которую поет Лукашка (гл. XXVII). Еще в феврале 1858 г. Толстой просил своего бывшего батарейного командира Н.П. Алексева прислать старинные казачьи песни. 23 марта Алексеев отправил текст десяти «песен, певаемых в станице Старогладковской». В числе их находилась и песня «Из села было Измайлова», но с пропуском нескольких (выделенных курсивом) строк:

Манил он ясного сокола на праву руку:
*Поди, поди ясен сокол на праву руку,
За тебя меня хочет православный царь
Казнить-вешать.*

В следующем письме, от 8 апреля, Алексеев так объяснял случившееся: «Епишка припомнил еще старинную песню и ее вам при сем посылаю¹, также пропуск, сделанный Епишкою при проговоре песни, но тому причиной малый прием чихиря — за четвертою чапуркою он вспомнил и проговорил забытое им» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 46, Махач-Кала, 1929, с. 4). В рукописях Толстого — полный текст песни.

¹ Песня «Сиротинушка, сиротинушка, добрый молодец...», вошедшая в рукописи «Казак».

Некоторые дефекты печатного текста произошли, вероятно, оттого, что правка Толстого в корректурах не была верно понята наборщиком.

Н.О. Лернер справедливо обратил внимание на явную ошибку в гл. XVII, где Лукашка, остановившись на пороге, припирает за собою ворота (Лернер Н.О. Об ошибках в академическом издании «Казак» Толстого, рукопись, хранится в РНБ — см. «Русская литература», 1960, № 4, с. 183–184). Это место в журнале читается так:

«Лукашка не отвечал. Вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка, сказал он матери. — Ты бочонок с Назаркой пришли, припирая за собой ворота: — ребятам обещался; он пойдет».

Последняя редакция этого места в сохранившихся рукописях не содержит этой несообразности, но в ней нет и разговора о бочонке, который появился в печатном тексте.

«— Прощай, матушка, — сказал он.

Мать до ворот провожала его.

— Сало на лавке осталось, что шашку мазал, ты его спрячь, — сказал он матери, припирая за собой ворота» (в *Описании* рук. 30).

Очевидно, в корректуре Толстой заменил разговор о сале просьбой прислать на кордон бочонок, но его правка не была понята и в печати появился бессмысленный текст. Ошибка устраняется путем заимствования из рукописи композиции эпизода (совпадение полное, кроме того, что вместо сала появился бочонок).

Н.О. Лернер указывал еще на один дефект: «...Описание станицы с дымящимися трубами, казаками, идущими на работу, и Марьяной, погоняющей быков, из XVIII главы, где оно должно находиться, переместилось в начало XIX главы, благодаря чему станица оказывается вдруг в самой гуще леса». Но это перемещение было произведено самим автором, как можно судить по копии, хотя и сохранившейся не полностью (рук. 31). Никакой смысловой несообразности это перемещение не создало. Новая, XIX глава, открывается описанием станиц и картиной того, что одновременно происходит в лесу. Если же начало гл. XIX перенести в гл. XVIII, как это было сделано издателями (конечно, без ведома Толстого), в десятом издании «Сочинений» (ч. II, 1897), появится действительная несообразность: лес окажется в станице.

Есть в печатном тексте «Казак» несогласованности, которые, видимо, неизбежны, если творческая работа длилась десять лет, а рукописи правились и перекладывались множество раз. В конце гл. VI урядник говорит Ерощке: «И то, ловок стал Лукашка твой <...> Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного». Фраза вполне понятна в начальных редакциях, где убийство абрека происходило в первых (и даже в первой) главах; в окончательном тексте оно появится лишь в гл. VIII.

В главе VIII действие происходит на берегу Терека: «вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег». И вдруг неожиданно, рядом, возникает кордон, изба кордона.

Из-за несогласованности новой правки со старым текстом другой главы создалось противоречие между началом XI главы: «На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату» — и гл. XVIII, где рассказывается, как хорунжий приходит к Оленину договариваться о плате за квартиру и условливается, к досаде Ерощки, на шести монетах. То же относится и к рассуж-

дению Ерошки: «Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет». Как же никого не будет? Мальчишка-то останется. Но этот мальчишка, брат Марьяны, появился здесь в результате позднейшей правки, а конец фразы изменен все-таки не был.

Во всех этих (и подобных им) случаях никакое вмешательство в текст невозможно, и приходится сохранять «противоречия», даже если нам, в отличие от автора, их удалось заметить.

Иногда ошибка копииста или неразобранное им слово вызывали новую правку Толстого. Но позднейшие авторские варианты, конечно, немислимо отвергать в пользу первоначальных.

В речи хорунжего, например (гл. XVIII) слова «от постою» («от постою можем всегда удалиться») были разобраны переписчиком как «постепенно». Толстой не исправил ошибки, а заменил «удалиться» словом «страктоваться», и в печатный текст вошел этот новый вариант: «постепенно можем всегда страктоваться».

В описании охоты Оленина (гл. XX) говорилось, что мириады насекомых шли «...к этой темной густой зелени». В копии вместо «густой» появилось «пустой», и Толстой просто вычеркнул это слово. В другом месте (гл. XXIX) автограф дает чтение: «Марьяна <...> легла под арбой на примятую вянущую траву». Копиист не разобрал слово «вянущую», оставил пробел; автор же (не справляясь, конечно, с прежней рукописью) заполнил пропуск другим словом: «сочную». Приходится принять эту «сочную», даже если и полагать, что «вянущую» больше в данном случае подходит.

В главе XXXIV бабука Улита приглашала Оленина гулять на свадьбе и спрашивала: «Ты не уйдешь в поход?» Копиист не разобрал и написал: «Ты... и... погоди». В творческом сознании Толстого этот бессмысленный набор слов превратился во фразу: «Ты уходить-то погоди», которая читается и в окончательном тексте повести.

В другом месте переписчик не разобрал слово «росистого» («Запах кизяка и росистого тумана был разлит в воздухе») и оставил пропуск, который Толстой заполнил иначе: «чапры» (гл. XXXVIII). Там же, во фразе: «Схватившись рука с рукой, девки кружатся, не в такт песни выступая по пыльной площадке», копиист не понял слов «не в такт песни», опять оставил пропуск, и Толстой вписал здесь совсем другое: «плавно». Дальше, в разговоре Марьяны с Лукашкой, было: «Захотела, разлюбила. Ты мне не отец. Легко ли». Переписчик не разобрал это «Легко ли», автор же заполнил пропуск: «не мать». Так и в печатном тексте повести: «Ты мне не отец, не мать». Все эти примеры — из области активной авторизации, делающей невозможным возвращение к первоначальному автографу.

Перечень внесенных в наст. изд. изменений (см. выше) содержит лишь исправление смысловых и стиливых *ошибок*, не замеченных автором; при этом верное чтение всегда подтверждено рукописью — автографом или авторизованной копией.

Что касается расхождений между автографами и копиями (выполненными писцами, а на последних стадиях работы и С.А. Толстой), приходится учитывать факт, удостоверенный дневником и письмами Толстого: порою текст «копии» создавался под диктовку, обычно — с использованием материала автографов.

В истории создания «Казаков» есть и такой текстологический эпизод. Новое начало (об отъезде Оленина из Москвы) было отдано в переписку, исправлено Толстым, а потом, при подготовке к печати, первоначальный

автограф снова отдан переписчику и в новой копии, которая пошла в набор, почти не исправлялся автором. Нам все-таки ничего не остается делать, кроме того, чтобы считать авторскую правку первой копии рукописными вариантами (см. вторую серию издания) и не вводить ее в основной текст повести.

1

При публикации в 1863 г. «Казакам» дан подзаголовок: «Кавказская повесть 1852 года». По всей видимости, это хронологическое приурочение событий. Во всяком случае, не дата приезда самого Толстого в станицу Старогладковскую (30 мая 1851 г.) и не дата начала работы, определенно устанавливаемая по дневнику: август 1853 г. Важно отметить, что заглавие «Казаки» с подзаголовком «Кавказская повесть 1852 года» появилось в последней копии (1862 г.), сменив зачеркнутые там: «Молодость (Попытка романа)» и «Молодость (Кавказ. 1853)». Предполагалось, таким образом, прямое указание на связь новой повести с трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность» и замыслом «Четырех эпох развития». В других рукописях, также относящихся к 1862 г., дата событий обозначена так: «В 185. г.»; «В 1850 году».

10 августа 1851 г., находясь в Старогладковской, Толстой записал в дневнике: «Личность Марки, которого зовут однако Лукою, так интересна и такая типическая казачья личность, что ею стоит заняться. Мой хозяин, старик Ермоловских времен, казак, плут и шутник Япишка, назвал его Маркой на том основании, что, как он говорит, есть три апостола: Лука, Марка и Никита Мученик; и что один, что другой, все равно. Поэтому Лукашку он прозвал Маркой, и пошло по всей станице ему название: Марка». Далее идет подробное описание Луки Сехина, племянника Епифана (Епишки) Сехина — первообраза Ерошки в «Казаках».

Предыстория «Казаков» восходит и к замыслам 1852 г., когда, сразу после публикации в «Современнике» повести «Детство», Толстой решил писать «кавказские очерки» — «для образования слога и денег». В дневнике 19 и 21 октября была намечена программа очерков; в нее вошли и «удивительные» «Рассказы Япишки: а) об охоте, б) о старом житье казаков, с) о его похождениях в горах». Впоследствии рассказы Епишки были использованы в «Казаках», особенно широко — в черновиках «кавказского романа», но в 1852 г. ни один из очерков на темы рассказов Епишки написан не был. Да и вся программа очерков осуществилась в очень незначительной части. Если не считать раздела о войне, в композиции которого просвечивают контуры рассказа «Набег» (см. т. 2 наст. изд.), лишь начатая в октябре 1852 г. «Поездка в Мамакай-Юрт» представляет собою прямой опыт «кавказского очерка». Хотя очерк едва начат, он имеет принципиальное значение для раннего творчества Толстого. Здесь высказаны эстетические принципы, которым Толстой следовал решительно во всем, что писал о Кавказе. Вместо романтических, воображаемых картин, усвоенных по сочинениям Марлинского и Лермонтова, автор собирался представить действительный Кавказ: «Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны».

Воспроизвести поэзию действительности — эта художественная задача стала одной из главных в процессе продолжительных поисков верного тона будущих «Казачков».

Ее первоначальное решение — неожиданно прямолинейно. 16 апреля 1853 г., находясь в станице Червленной, Толстой написал стихотворение «Эй, Марьяна, брось работу!» — на манер народной песни или гребенской баллады. Переписывая стихотворение в отдельную тетрадь, немного изменил текст, но и новый вариант оценил крайне строго: «Гадко». Много лет спустя, в декабре 1904 г., отвечая П.И. Бирюкову, спросившему, писал ли он стихи, Толстой ответил: «Стихотворения пробовал писать: казачки встреча, но, слава Богу, ничего не вышло...» («Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого — *ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 119).

Однако эта, пусть неудачная, попытка воплотить замысел в стихах не случайна. Некоторое время спустя появится начало «Беглеца», написанное ритмической прозой (в размере анапеста), а в окончательный текст повести Толстой введет народные песни — отнюдь не для орнамента и не только для характеристики быта и нравов казачьей станицы. Песня станет важным звеном в развитии сюжета, будет рассказывать о судьбе героев повести и о конфликтах между ними.

В стихотворении впервые появилось (и установилось навсегда) имя героини — Марьяна. Только оно не изменялось в процессе длительной позднейшей работы. Содержание стихотворения (сборы к встрече возвращающихся из похода казаков и сама встреча) напоминает первоначальный прозаический набросок начала повести «Беглец».

Очевидно, летом 1853 г. вполне сложился замысел повести из казачьей жизни. 25 июня, определяя планы на «завтра», Толстой назвал, среди других: «Беглец». 26 июня повторено то же задание. Однако до 28 августа намерение оставалось неосуществленным. Дневник все это время велся очень регулярно, и потому с уверенностью можно сказать, что до 28 августа 1853 г. Толстой не принимался за «Беглеца». Записи 16 и 26 августа о намерении «продолжать роман» относятся не к «Беглецу» (тогда — повести), а к «Роману русского помещика».

28 августа, в день своего рождения, находясь в Пятигорске, Толстой записал: «Утром начал казачью повесть <...> Труд только может доставить мне удовольствие и пользу».

29 августа в Железноводске: «Писал Беглец утром, после обеда проспал, буду писать вечером».

30 августа: «Занимался целый день».

31 августа, снова в Пятигорске: «...Не писал почти ничего. "Встреча" нейдет как-то...».

Начало повести «Беглец», написанное в эти дни, сохранилось полностью. Оно состоит из трех глав: «Марьяна», «Губков», «Встреча». Глава четвертая без названия и лишь начата. В последующие месяцы Толстой думал вернуться к продолжению повести, но другая работа, прежде всего над «Отрочеством», оттеснила замысел «казачьей повести». К «Отрочеству», а не к «Беглецу» (как неверно говорится в т. 46 *Юб.* изд.) относится запись в дневнике 12 сентября 1853 г.: «Завтра утром пойду в парк, обдумаю главу Б. Напишу ее до обеда». Это «Б.» подразумевает главу «Бабушка» в «Отрочестве», а не повесть «Беглец» (см. т. 1 наст. изд.). Осталось невыполненным и намерение писать «Беглеца» «после обеда и вечером», отмеченное в дневнике 13 октября 1853 г.

3 декабря, записав в дневнике, что «ничего не мог начать», Толстой заметил: «Казачий рассказ и нравится и не нравится мне», а затем назвал «Казачью поэму» в числе четырех тем, которые предстоит обработать. В это время предпочтение отдавалось «Дневнику кавказского офицера», т.е. «Рубке леса».

7 января 1854 г. в дневник внесены два «Замечания к Р<ассказу>¹ Беглец» (видимо, со слов Епишки) — о разрыв-траве и о том, как Епишка табуны угонял. Обе заметки были использованы в черновиках и в окончательном тексте, но это произошло позднее.

Рукопись, содержащая три главы повести и начало четвертой — единственное, что было создано для «Беглеца» на Кавказе. Работа прервалась до 1856 г.

Первое начало повести и в сюжетных положениях, и в обрисовке образов далеко не только от окончательного текста «Казачков», но и от всех других набросков (1857 г.), носящих то же название. Марьяна здесь — замужняя женщина. Молодой офицер, влюбленный в нее, Губков (или Дубков), два года тому назад приехал на Кавказ и недавно поселился в станице, в хате, нанятой у Марьяны. Вполне обычные причины побудили его уехать на Кавказ: «Жизнь не завящего ни от кого гвардейского офицера и несчастная страсть к игре расстроили в три года службы в Петербурге его дела до такой степени, что он принужден был взять отпуск и ехать в деревню для приисквания средств выйти из такого положения». Автор иронизирует по поводу иллюзорных планов, которые строил его герой, уезжая на Кавказ, и сочувствует «горьким унижениям», которые тому пришлось испытать из-за своих недостатков, ибо их «не исправил один воздух Кавказа». В этих описаниях — много автобиографического. Как раз в 1853 г. исполнилось два года жизни самого Толстого на Кавказе. Перед отъездом и он находился, как вспоминал об этом в письме к Т.А. Ергольской от 13 марта 1855 г., в «отчаянном положении». И себе давал характеристику, очень близкую той, которая применена к Губкову: «... человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения прошедший лучшие года своей жизни, наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтоб бежать от долгов и, главное, привычек» (дневник, 7 июля 1854 г.).

Впоследствии, превратив своего героя из Губкова в Ржавского, а затем в Оленина, Толстой отодвинет на задний план эти обычные причины (долги и пр.) и сделает главным другое: нравственный порыв молодой души и презрение к светскому обществу. Это с самого начала определит идейную и сюжетную завязку произведения. По дороге на Кавказ, на пути из Саратова в Астрахань, Толстой и о себе замечал: «Последнее время, проведенное мною в Москве, интересно тем направлением и презрением к обществу и беспрестанной борьбой внутренней» (дневник, 20 мая 1851 г.)

Внешний облик героини повести в первоначальном наброске мало отличается от всех последующих описаний. Но ее внутренний мир, отношение к любви офицера — иные. Подчеркнута ее резкость, которая проявляется и в отношении к Губкову, хотя она любила его «той понятной земной любовью, которая состоит в желании всегда видеть предмет своей любви и

¹ В Юб., т. 46, с. 224, ошибочно расшифровано «Р<оману>». Замысел романа под этим названием возник лишь в 1857 г. На Кавказе Толстой именовал свое сочинение повестью, рассказом, поэмой, но никогда не называл романом.

принадлежать ему». Муж Марьяны, батяка Гурка — заурядный казак, очень мало напоминающий будущего гордеца и удалца Лукашку.

В третьей главе, рассказывая о встрече всюю станицей казаков, возвращающихся из похода, и о гулянье в доме Гурки, Толстой вывел под собственным именем дядю Епишку, весельчака, пьяницу и песельника (нет еще и намека на те глубокие рассуждения о жизни, о людях, которые потом будут вложены в уста старого казака при первом же его появлении в гл. XI).

Судя по заглавию — «Беглец» — предполагалось изобразить столкновение Гурки с Губковым из-за Марьяны и бегство казака в горы.

Лишь в 1856 г. Толстой вернулся к этой рукописи. Впервые после 3 декабря 1853 г. «Беглец» упомянут в дневниковой записи 19 февраля 1856 г.: «Пишу прежде всего Епишку или Беглеца». Повесть о беглом казаке отделяется, как и прежде, от очерков по рассказам Епишки.

Судя по сохранившимся рукописям, намерение не было выполнено, как и помеченное 15 мая 1856 г.: «С утра писать <...> казака». Но 4 июня Толстой, решив писать «Дневник помешика», «Казака» и комедию, заметил: «За первое примусь за казака». На следующий день «перечел и кой-что поправил в Казак» и собирался: «Завтра пишу сначала, пользуясь написанным только как матерьялом». 10 июня снова упомянут «Казак», но предположение отдано «Юности».

Работа на этот раз ограничилась карандашными поправками, сделанными 5 июня в рукописи 1853 года. Они коснулись всех трех глав и чрезвычайно любопытны. Как будто смутившись тем, что облик Марьяны слишком опозитивирован, Толстой чуть-чуть огрубил его. Вместо «была необыкновенно хороша» — стало: «была огромного для женщины большого мужского роста и необыкновенно хороша»; вместо «высокий рост» — «громадный рост». Совсем зачеркнута фраза: «Твердые красные губы и черные продолговатые глаза, полузакрытые длинными ресницами, выражали сознание красоты, гордость, своеобычность, если можно так выразиться, и принужденную скромность». Вместо «отвечала молодой женщиной» стало «отвечала звучным, немного пискливым голосом высокая женщина». Губков говорит приятелю офицеру, что он не просто «влюблен», а «влюблен в этого великана». Зачеркнут был конец второй главы, где объяснялось, почему Марьяна, любя Губкова, все-таки прогоняла его. Гурке придана подчеркивающая его невзрачность характеристика: «молоденький безбородый остроглазый казачонок». Так явственно намечился переход к фрагментам и конспектам, написанным за границей в 1857 г., где Терешка (затем Кирка) представлен робким и неумелым возлюбленным Марьяны. У Епишки, напротив, подчеркивается степенное достоинство. Характерна вставка в 3-й главе: «Я тебе рад, ты молодец, — с достоинством говорил дядя Епишка».

Очевидно, размышляя над характером, песнями и рассказами Епишки, Толстой записал 14 июня 1856 г. в дневнике: «Начинаю любить эпически легендарный характер. Попробую из казачей песни сделать стихотворение», а 15 июня отметил намерение «завтра утром <...> писать казака» (повествование в кавказской рукописи оборвалось как раз там, где должно было состояться близкое знакомство офицера со старым казаком — во время охоты). Ни тот, ни другой план выполнен не был.

В рукописи находятся три конспективные записи, намечающие дальнейшее развитие событий. Две: о сватовстве молодого казака к Марьяне, о походе и раннем возвращении офицера, его «вечерах у хозяев» — относятся к 1857 г. (ср. в т. 4 второй серии Конспект № 1); третья: «Объяснение Кирки

с Марьяной. Марьяна говорит, что придет. Кирка ушел на кордон. Ржавский остался в станице. Коли так, то пропадай все. Воровство табунов» — к 1858 г., когда вместо Гурки (или позднее Терешки) и Губкова (или Офицера) появились Кирка и Ржавский.

12 января 1857 г., по дороге из Петербурга в Москву, окончив дела с «Юностью», Толстой перечислял в дневнике замыслы. После «Отъезжего поля» и 2-й половины «Юности» названы: «Б<еглец>», «К<азак>». Еще сказано: «Писать, не останавливаясь, каждый день». Как и раньше, в записи 19 февраля 1856 г., повесть о беглом молодом казаке и рассказы старика Епишки разделены.

Нет никакого сомнения в том, что, уезжая 29 января 1857 г. в заграничное путешествие, Толстой взял с собой рукописи начатых сочинений, в том числе «Беглеца». За границей начался новый период работы.

14 (26) февраля 1857 г., находясь в Париже, Толстой занес в записную книжку: «Кавказское утро — горы, тени, дальние выстрелы, фазаны кричат». 22 марта (3 апреля) в дневнике появилась запись: «Думаю начать не-скольکو вещей вместе. Отъезжее поле и Юность¹ и [Кавк] Беглеца».

Рукописи заграничного периода четко выделяются из всего рукописного фонда «Казаков» (по сорту бумаги). Первая — подробный конспект, озаглавленный «Беглец» и начинающийся словами: «У казака Иляски было два сына» (см. во второй серии Конспект № 1). К работе над этой рукописью относятся дневниковые записи и заметки в записной книжке конца марта — начала апреля.

30 марта (11 апреля) задание на завтра: «До обеда и после обеда Беглеца». «Ничего» не исполнив, Толстой снова записал: «Завтра: с б писать Беглеца».

1 (13) апреля: «...целый день занимался...». В записной книжке: «Будущность России казачество — свобода, равенство и обязательная военная служба каждого».

2 (14) апреля: «Писал и обдумывал целый день. Приходится все переделывать. Мало связи между лицами».

3 (15) апреля: «Ничего не написал, но вновь передумал. Буду писать наикратчайшим образом самое дело. Выходит страшно неморально».

5 (17) апреля: «Кажется, окончательно обдумал Беглеца».

6 (18) апреля: «Кажется, Беглец совсем готов, завтра примусь».

7 (19) апреля: «Написал конспект».

В конспекте основное изложение — на левых половинках страниц; на правых — дополнения, перемены. Намечена фабула всей повести со сложной любовной интригой и драматическим развитием событий: любовь к Марьяне молодого казака Терешки (будущего Лукашки), офицера — ротного командира, не названного по имени, и простого солдата, который «служит» ей «как собака»; поход, женитьба Терешки, тщетные домогательства офицера, столкновение Терешки с офицером, ранение офицера и бегство казака в горы. Конец, видимо, не совсем еще ясный, рисовался по-разному:

1. «Прошло 5 лет. Офицер все стоял в станице, выздоровел, но уж отказался от Марьяны, она его пугнула. Ерощка подбивал его. У Марьянки родился сын, она работала много.

¹ Имеется в виду «вторая половина» «Юности».

Терешка бежал к Ахметке, сделался вожаком в другие станицы. Его боялись, им пугали. Ночью он пришел к Ерошке. Пошадил офицера. Фатализм его. Ерошка говорит, что не годится убивать людей, и про себя. Офицер расстреливает. Терешка убил его товарища».

2. «Он пошел с чеченцами, убивает многих. Его расстреливают, а она [застреливается] работает и мрачно грустит, никто ничего не знает о ее горе».

3. «Его брата убили чеченцы. Он пришел на похороны.

Марьяна вешается на него.

Любишь меня? Братец! Так прости. Я виновата...

И у сына просит прощенья...».

Образ Марьяны сложился еще в кавказской рукописи, и в конспекте о ней сказано лишь то, что она «верна, трудолюбива, цельна, упорна». Характеристика Ерошки в общих чертах близка к той, какая дается и в окончательном тексте: «Ерошка был в свое время богат и лихой казак и блядун, а теперь был бобыль, беден и стар, жена от него убежала, никто его не уважал, и он все свое время проводил на охоте и пил, ни во что не верил и не тужил ни об чем. Терешку водил с собой и научал его всему и любил за его нрав молодецкий».

Толстой однажды сказал о своих персонажах (в беседе 1883 г. с Г.А. Рузановым): «У меня есть лица, списанные и не списанные с живых людей. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры и дает им эту несравненную яркость красок в изображении. Но зато изображение страдает односторонностью» (*Толстой в воспоминаниях, 1960*, т. I, с. 298). Марьяна и Ерошка в наибольшей мере «списаны» с натуры. В первых же набросках эти образы отлились в яркие фигуры, и впоследствии Толстой старался лишь освободиться от некоторой прямолинейности, «односторонности» в их обрисовке. Два другие главные лица — офицер и молодой казак — создавались в процессе долгих поисков.

В первом конспекте офицер — «богатый молодой человек, храбрый, [честный], благородный по-своему, очень сладострастный и гордый своим образованьем». Любит он «румяками, но злобно и безнадежно». Терешка «мал ростом, худощав, но румян и молодец был на всякую шалость еще смолоду. Девки его любили за то, что голос у него был славный, и он любил девок и гостинцев им покупал, но больше всех Марьянку, дочь станичного. Станичный ее не хотел отдать за него, за то, что он был буян и в воровстве попадался. Воровство у казаков молодечество». Еще добавлено: «Он дон-жуан»; «Терешка сбитый, маленький ростом, с черными короткими руками».

8 (20) апреля 1857 г. было начато повествование о «беглеце». В дневнике за это число отмечено: «Начал Беглеца, пошло хорошо...». После заглавия «Беглец» сначала Толстой написал: «Глава 1. Казачья станица», потом, имея в виду созданные на Кавказе и поправленные в Ясной Поляне три главы, изменил: «Глава 4. Казачья станица», но, снова вернувшись к рукописи, обозначил: «1. Офицер». Рукопись представляет, таким образом, новое, второе по счету начало: «Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека и расположились стоять на зимних квартирах в грбенской староверческой станице». Работа продолжалась до 17 (29) апреля.

10 (22) апреля: «Встал в 8, пописал немного Казака».

13 (25) апреля: «Написал 1/8».

14 (26) апреля: «Немного пописал Казака».

17 (29) апреля: «Чуть-чуть написал прозой Казака».

Были написаны две главы. Их материал, после неоднократных позднейших переделок, лег в основу гл. X и XI повести «Казак». Но отличия первоначального текста от окончательного весьма существенны. Денщик офицера здесь — старичок, по имени Петров, а не будущий веселый Ванюша. Отношение казаков к пришедшим солдатам — то же, что и в позднейших редакциях. Но здесь даже хорунжий Илья, в отличие от корыстолюбивого и политичного Ильи Васильевича, «не вставая с места и едва взглянув на приезжего, мрачно сказал, что ему денег не нужно». Дяде Ерошке, с которым офицер знакомится при тех же обстоятельствах, что и в позднейших рукописях, придана «самоуверенная интонация старика и красноречивого человека». Он начинает выступать не только как самый яркий представитель казачьего мира, но и как его судья. «Наш народ ведь глуп, он тебя боится, ты, мол, неверный, русский, а по-моему все человеки», — говорит он. Подчеркнуто свободомыслие Ерошки: «Он не поклонился образам, а прямо подошел к офицеру и протянул ему свою корявую руку».

Дописывая вторую главу этого «прозаического Казака» как назван он в дневнике, Толстой, видимо, уже начал «казачью поэму», о которой мечтал на Кавказе. На другой день после писания «чуть-чуть прозой Казака», 18 (30) апреля, помечено: «Написал немного поэтического Казака, который мне показался лучше; не знаю, что выбрать».

Это новое, третье, начало написано в большей части ритмической прозой (в размере анапеста). Озаглавлено, как и прежде, «Беглец». Содержит главу «Старое и новое» и начало второй — «Ожидание и труд». Весь текст разделен цифровыми обозначениями на короткие фрагменты — строфы будущей поэмы. Рассказывается о проводках казаков в поход за Терек, поэтически рисуются отношения Марьяны с «побочином» — молодым казаком Терешкой-Урваном. Терешка «беден, гулял и некрепко держал старую веру», и потому за него не хотят отдать Марьяну. «В виноградную резку Марьяна потайком от отца два раза ходила ночью в заброшенный сад к Урвану; и Урван целовал и обнимал ее и говорил, что из похода он вернется богатым и что тогда дедука Ильюшка согласится на их свадьбу». Марьяна горюет о том, что Терешка «так простился с ней, ничего не сказал». Все это очень мало походит на то, что будет потом в повести «Казак». Об Урване говорится, что он, когда «был дома, не слушал своей матери и ничего в доме не работал, а только гулял с молодыми казаками». Дядя Ерошка называется здесь Гырчик (или Гирчик). В отличие от картины, представленной затем в «Кзаках», Марьяна, как и ее мать, грубо разговаривает с Гирчиком, а «строгий старик», Марьянкин отец, ласков с Гирчиком и чинно беседует с ним. Илья, правда, жаден, и из предложенных Гирчиком фазанов выбирает себе «одного пожирнее». Но все-таки они оба — воплощение «старого», старинных казачьих нравов. Гирчик здесь «вошел в избу, помолился и сел с стариком Ильей за стол <...> Они молитву прочли и выпили оба...». Затем Илья стал жаловаться на новые дурные времена: хлеб дорог, а чихирь дешев и т.п. Гирчик уговаривает его не тужить, хотя потом сам бранит новое, впрочем, по другой причине: «Нынче все не народ — дрян». Впоследствии хорунжий превратится в типичного представителя «нового» казачества, испорченного деньгами и грамотностью, и будет презрительно относиться к любителю старины — Ерошке.

Текст «поэтического Казака» почти совершенно не использован в окончательной редакции повести. Но это — важный момент в работе над всем

произведением. «Объективная сфера», эпическое начало, народная жизнь, ее поэзия и правда, которые будут впоследствии доминировать в «Казакх», здесь впервые выступают на первый план. До офицера, может быть, не дошел рассказ, но он даже не упоминается.

Позднее, в 1858 г., работая над «кавказским романом», Толстой держал в руках эту рукопись. На обороте последнего листа заметка: «Начало 2-го письма и то, что она не пускает его». Это говорится об офицере, отправлявшем в Москву письма своему приятелю.

22 апреля (4 мая) 1857 г. Толстой написал из Кларана П.В. Анненкову: «Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил как-то, я начал в 4-х различных тонах, каждого написал листа по 3 — и остановился, не знаю, что выбрать или как слить, или должен я все бросить. Дело в том, что эта субъективная поэзия искренности — вопросительная поэзия — и опротивела мне немного и нейдет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я пустился в необъятную и твердую положительную, объективную сферу и ошалел: во-первых, по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать; но до сих пор это обилие и разнообразие равняются бессилию. Одно, что меня утешает, это то, что мне и мысль не приходит отчаиваться, а какая-то кутерьма происходит в голове все с большей и большей силой. Буду держаться вашего мудрого правила девственности и никому не покажу и предоставлю одному себе выбрать или бросить»¹.

Через два дня после того, как было отправлено письмо, в записной книжке появилось: «К К<азаку>. Девка целует на улице ребенка. Маленькие девчонки водят хоровод». И некоторое время спустя: «К К<азаку>: Молодого, влюбленного, всеми любимого офицера, которого убьют».

Первая из этих заметок очень скоро была реализована в новой рукописи, начатой 18 (30) мая на листочках тонкой почтовой бумаги заграничной выделки. Вторая заметка не была развита, но она свидетельствует, что драматический любовный сюжет продолжал жить в творческом сознании Толстого.

Заглавие новой рукописи — «Беглый казак» (впервые появилось вместо прежнего «Беглеца»). Глава I названа: «Праздник». Текст, как и в «Поэтическом Казаке», поделен на фрагменты (здесь их десять). Вторая глава «Сиденка» лишь начата.

¹ Подлинник письма — на посланных П.В. Анненкову воспоминаниях М.И. Пушкина «Встреча с А.С. Пушкиным за Кавказом» (РНБ. Ф. 23, е.х. 6, л. 5–5 об.). Любопытно, что в письме от 14 марта 1857 г., адресованном в Париж Тургеневу и Толстому (Толстой к тому времени уже уехал из Парижа), Анненков отзывался об очерках Н.Н. Толстого «Охота на Кавказе», напечатанных в № 1 и 2 «Современника» за 1857 год (и Тургенев и Толстой находили их «прелестными»): «Кавказские рассказы Вашего брата, Толстой, страдают, по моему мнению, тем, что не имеют никакого центра. Он слишком человек только глазающий — поэтому и его превосходные картины охоты разорваны, бегут все врозь без оглядки, и читатель их догнать не может: оттого и малый успех этих, в сущности, замечательнейших описаний. Связующего элемента мысли, воззрения, события или, наконец, просто приятной авторской личности им недостает — вот что» (*Переписка*, т. 1, с. 305).

Работа над этой рукописью продолжалась в мае—июле и удостоверяется дневником.

18 (30) мая: «Немного писал Казака...».

19 (31) мая: «Писал Казака».

25 мая (6 июня): «Утром писал славно дневник путешествия, после обеда немного Казака...».

29 мая (10 июня): «Отлично обдумал Беглого казака и апробовал написанное».

30 мая (11 июня): «Написал больше после чаю 5 листков Беглого казака».

31 мая (12 июня): «На пароходе чуть-чуть пописал». В тот же день в записной книжке подчеркнуто: «Писать Казака и Отъезжее поле, не оставиваясь для красоты, а только чтобы было гладко и не бессмысленно». И два дня спустя: «Кирка решительный, но из хитрости все выспрашивает».

На полях рукописи то же: «Кирка решителен, но неумелый». Заметки были использованы в созданных затем сценах разговора с Ерошкой, когда Кирка выспрашивает, как ему вести себя с Марьяной, и затем свидания с нею.

7 (19) июня: «Писал листочка 2 Казака».

12 (24) июня, вопреки недавнему намерению никому не показывать, Толстой читал «Беглого казака» В.П. Боткину: «ему понравился». В конце записи подведен итог дня: «Ровно ничего, исключая успеха Казака».

13 (25) июня: «Написал свиданье, хорошо, кажется». Свидание Кирки с Марьяной, разительно отличающееся от соответствующего эпизода в гл. XIII «Казаков», впервые появилось в этой рукописи.

15 (27) июня в записной книжке две заметки: «Марьяна с серыми глазами, черная»; «К К<азаку>¹: Росистое поле на луне — светло прозрачно». Обе реализованы, вторая — почти буквально: «Кирка остановился. Перед ним прозрачно светлела освещенная месяцем росистая поляна».

В соответствии с заглавием, в первой, довольно просторной главе рукописи повествуется о праздничном дне гребенской станицы (станция, как и прежде, не названа). Рассказ медлителен, как сама изображаемая жизнь. Об офицере — ни слова (речь до него не дошла). В центре — Кирка. О нем сказано, что это «высокий, весьма стройный, гибкий и красивый казак, но робкий и неумелый». Увидев Марьяну, Кирка «закраснелся, не знал, что сказать и, опустив глаза, стал неловко переминаясь с ноги на ногу». Эта робость Кирки особенно удивляет в сравнении с гордым удалством Лукашки, в которого он превратился позднее и о котором рассказано на полях и между строк этой же рукописи, при правке части ее в 1858 и потом 1862 г.

Первоначально, придя на станичную площадь с Ерошкой, Кирка «неловко взялся за пояс, за папаху, и все лицо его покрылось яркой краской, которая особенно поразительна была при его белых бороде и ресницах». К молодому казаку обращает здесь Ерошка слова, которые затем скажет Оленину: «вот и ходишь, как ты, нелюбимый какой-то». Кирку убеждает он и в том, что если уставщик, т.е. поп, в книжке почитает да монет с него слупит за венчанье, душенька слаще любить не станет — все это «фальшь». Лукаш-

¹ В *Юб.*, т. 47, с. 212, расшифровано: К<азакам>, но это неверно. Заглавие «Казаки» появилось позднее.

ка не будет нуждаться в таких поучениях. Во внешнем облике Кирки подчеркнуты «шеголеватость и изящество». Его душевные переживания, детально выписанные, аффектированы и ненатуральны. После разговора с Ерешкой: «Молодой казак был в сильном волнении. Глаза его огнем блестели из-под белых ресниц, гибкая спина согнулась, руки оперлись на колена, он, беспрестанно прислушиваясь к удаляющимся шагам старика и к песням с площади, поворачивал то вправо, то влево свою красивую голову и, разводя руками, что-то шептал про себя».

Закончив 6 (18) июля рассказ «Люцерн», Толстой снова взялся за «Беглого казака».

9 (21) июля: «Написал листочка 2 Казака. Я решительно разбрасываюсь и оттого ничего не сделаю».

10 (22) июля: «Чуть-чуть пописал Каз<ака>...».

В облике Кирки появлялись новые черты.

11 (23) июля. В записной книжке: «К К<азак>. Он не стыдлив, а дик». В дневнике: «Казак — дик, свеж, как библейское предание».

В 1858 г. эта рукопись исправлялась и стала главой второй: «Глава 2. На другой день после события на кордоне в станице был праздник». В повести «Казаки» ее материал вошел в гл. XIII и XXXV.

2

По возвращении Толстого в Россию, в августе 1857 г., произошло событие, решительно изменившее планы «кавказской повести».

Еще 17 (29) июня 1857 г., отвечая на взволнованное письмо с рассказом о потрясшем Толстого в Париже зрелище смертной казни, В.П. Боткин советовал: «Из этого современного политического и религиозного хаоса одно только спасение — в мире искусства, и горе тому человеку, для которого заперт этот выход: изноет и разорвется его сердце от озлобления, противоречий, ненависти и бессилия. <...> Можете представить, как освежительно подействовало на меня чтение “Одиссеи” (нужды нет, хоть и в переводе Жуковского), которую я взял с собой из России. Я читаю ее по вечерам, на ночь: усладительная детская сказка, от которой веет чем-то успокоительным, умиротворяющим, гармоническим. Есть со мной и “Илиада” — тоже благодатный бальзам от современности». Далее следовала просьба: «Продолжайте непременно начатый, и так превосходно, — роман свой, ради Бога — не охлаждайтесь к нему» (*Переписка*, т. 1, с. 216–217).

Когда дома уже русская действительность больно поразила Толстого, он, видимо, вспомнил рецепт Боткина и принялся читать «Илиаду». Результат оказался поразительный. Толстой вдруг понял, что нельзя продолжать «Беглого казака» так, как он начал его за границей.

Вот следующие одна за другой записи этого времени:

15 августа: «Читал Илиаду. Вот оно! Чудо! <...> Переделывать надо всю Кавк<азскую> повесть».

17 августа: «Илиада заставляет меня совсем передумывать беглеца».

18 августа: «Читал Илиаду. <...> Кавк<азской> я совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним. — Один выход».

Выход не назван, хотя и совершенно ясен — новые поиски. Они начались в те же дни.

12 августа: «Написал вечером легко листочек Казака».

14 августа: «Чуть-чуть пописал...».

17 августа в записной книжке задание: «от 6 до 9 писать К<авказскую> п<овесть>».

24 августа: «Немного попробовал пописать, но не то. Читал Гомера. Прелестно».

29 августа: «Дочел *невообразимо прелестный* конец Илиады. Всё мысли о писанье разбегаются, и Каз<ак>, и О<тъезжее> п<оле>, и Ю<ность>, и Люб<овь>. Хочется последнее, вздор. На эти 3 есть серьезные матерьялы».

2 сентября: «Встал рано, попробовал писать, нейдет Казак».

6 сентября: «О своем писанье решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать».

В осеннем письме 1857 г. к Боткину и Тургеневу Толстой бранил обличительное направление современной литературы и возмущался словами Щедрина о том, что «для изящной литературы теперь прошло время, <...> что во всей Европе Гомера и Гете перечитывать не будут больше». Но там же называл «нашу литературу, т.е. поэзию» если «не противузаконным, то ненормальным явлением». Сам он с равной неприязнью относился и к политической тенденции, и к попыткам уйти от современности в «чистое искусство».

Боткина, конечно, порадовали нападки Толстого на обличительное направление; но рассуждения о «поэзии» испугали, и он спешил уверить, что здесь дело обстоит благополучно: «поэзия» удовлетворяет «малейшее меньшинство, и этого достаточно». Снова спрашивал о «кавказском романе»: «Вы ни слова не упоминаете о том, пишется ли Ваш кавказский роман? Вы перебиваете его другими работами — неужели у Вас не лежит к нему сердце?» И дальше советовал: «Напишите-ка Ваш Кавказский роман так, как Вы его начали, — и Вы увидите, как Щедрины и Мельниковы тотчас будут поставлены на свои места. В это я так же верю, как в действие солнечного света» (*Переписка*, т. 1, с. 229–231).

В те же дни Тургенев написал Толстому: «Боткин мне очень хвалил начало Вашего Кавказского романа. Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделали только литератором. Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо» (*Тургенев*. Письма, т. 3, с. 170). Толстой ответил Тургеневу, но письмо не сохранилось. Ответ Боткину известен:

«Кавказский роман, который Вам понравился, я [почти]¹ не продолжал. Все мне казалось не то, я и еще после два раза начинал снова. Для меня, я всегда замечал, самое лучшее время деятельности от января до весны, и теперь работается, но что выйдет, не знаю» (4 января 1858 г.).

Упомянутые здесь новые начала — две рукописи, созданные уже в России (пятое и шестое начала). Одно называется «Беглый казак»; при правке

¹ В автографе письма слово «почти» вписано и зачеркнуто.

зачеркнуто и появилось: «Терская линия». Другое озаглавлено — впервые — «Казак».

Работа несколько раз отмечена в дневнике 1857 г.

1 ноября: «Начал писать — нейдет. <...> Опять пробовал писать К<казака>, чуть-чуть написал».

9 ноября: «Чуть-чуть пописал».

13 ноября: «Утром писал немного».

2 декабря: «Немного пописал».

3 декабря: «Немного писал».

6 декабря: «Писал немного».

Пятое начало открывается описанием казачьей станицы, давшим впоследствии материал для гл. IV повести. Во второй главе здесь всего несколько строк: «Я приехал жить в Червленную. Квартеру мне отвели у казачьего офицера. Встретил меня мужчина [высокий, стройный] лет тридцати, с острой бородкой, в полинялом лиловом шелковом бешмете, синих узких портках и старенькой желтой папахе. Это был хозяин дома». Шестое содержит одну главу — «Праздник». Дается поэтическое описание праздника в станице; участвуют молодой удалец Епишка и его товарищ Кирка.

Оба автографа относятся к тому моменту работы, когда Толстой решил сделать главным героем молодого Епишку. Во второй рукописи этот факт очевиден; в первой он выясняется из того, что хозяину, в доме которого отвели квартиру офицеру, «лет тридцать». Во всех других редакциях, и ранних и позднейших, хозяин дома — пожилой человек, хотя и моложе Епишки (или Ерошки). В дальнейшем рукопись не была продолжена. На полях — другим почерком, другими чернилами позднейшие конспективные заметки к «кавказскому роману».

Под влиянием «Илиады» общий замысел «Казак» (само это название появилось после чтения «Илиады») решительно изменился. В качестве одной из главных выдвинулась задача — раскрыть историю и характер казаков как особенного народа. Форма, как всегда, пришла не сразу: в ее поисках Толстой начал с этнографического описания; затем несколько искусственно сместил исторические рамки повествования и решил омолодить Епишку, в облике которого воплотился особенно ярко жизненный идеал казачьего мира. Впоследствии многие черты молодого Епишки будут переданы Лукашке, а Ерошка выступит как великолепное воплощение доживающей истории, в значительной мере чуждой новой станице. Но эпически величавый тон этих фрагментов 1857 года понадобится в повествовании «Казак».

К концу 1857 — началу 1858 г. относится еще одна рукопись — продолжение четвертого начала, созданного за границей. Озаглавлено оно уже «Казак», а открывается главой II «Кордон» (в полном соответствии с тем, что начало главы второй «Сиденка» в той рукописи просто зачеркнуто). Глава III «Марьяна» изображает весенние работы в садах, разговоры Марьяны с подругой — то, что впоследствии, в ином виде, составит XXIX и XXX главы «Казак». Все это писалось впервые. Хотя в сюжетном плане рукопись продолжает четвертое начало, по смыслу, тону и обрисовке персонажей она ближе ко второй редакции главы «Праздник» (с молодым Епишкой).

К работе над этой рукописью, а может быть, и к переделке ее, относится заметка в записной книжке 11 декабря 1857 г.: «Кирка не должен быть влюблен». После сентиментальных томлений Кирки, о которых рассказы-

валось в первой главе заграничной рукописи, неожиданными, но вполне оправданными новым характером персонажа оказываются такие, например, детали его поведения: «Кирка полтора месяца безотлучно провел на кордоне. Один раз только, посланный за чихирем, он ходил в станицу. Но станичные все были в садах, и он не видал ни Марьяны, ни матери». В третьей главе о нем сказано: «Кирка купил коня, ездил в станицу, но не сватал Марьяны. Тужила ли о нем Марьяна? Никто не знал этого».

Молодечество дается пока ценой отказа от любви, хотя молодечество это, в сравнении с удалью будущего Лукашки, не столь велико. Выстрелив в абрека, «Кирка в первую минуту не мог говорить от волнения, и лихорадка била его». Когда же каюк с телом пригнали на казачий пост, Кирка проговорил: «Ведь тоже человек был, за что убил его?» В окончательном тексте жалеть убитого станет Ерошка: «Джигита убил, — сказал он как будто с сожалением»; про Лукашку будет сказано иное: «Тожe человек был! — проговорил он, видимо любясь мертвецом».

Одновременно Толстой продолжал обдумывать сюжет и форму всего «кавказского романа». 11 ноября 1857 г., под влиянием трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра», перевод которой прочел ему Фет и тем «разжег к искусству», в дневнике отмечено: «Надо начать драмой в казаке». И затем 14 ноября: «Эврика! для казаков — обоих убили». Предполагалось, по этому замыслу, что убит будет и казак Кирка, бежавший в горы и затем вернувшийся в станицу, и офицер, полюбивший его жену.

К этому времени следует отнести Конспект № 2. Рукопись сохранилась неполно: оборвано обозначение первых трех глав (видимо, там были уже созданные: «Праздник», «Кордон», «Марьяна»). Намечены три части. В первой, после зачеркиваний, остался такой текст:

«Гл. 4. Вечер, приезжают в станицу. Играют с девками, гуляют, вечеринка у Степки, Марьяна уходит. Утром у забора проходит, — любит М<арьяну>».

Гл. 5. Г<убков> и Д<ампиони>».

Гл. 6. Вкратце поход. Марьяна работает.

Гл. 7¹. Тревога, рана».

2-я часть — совсем кратко: «Офицер с его точки зрения. Приход, любовь, свиданья. Столкновение». 3-я часть обозначена, но не раскрыта.

В конце 1857 г. Толстому советовал работать над «кавказским романом» не один Боткин, но и Некрасов (также находился летом этого года за границей и знал начало). Критикуя переданный в «Современник» рассказ «Альберт» («Погибший»), редактор журнала обращался к Толстому 16 декабря: «Эх! пишите повести попроще. Я вспомнил начало Вашего казачьего романа, вспомнил двух гусаров — и подивился, чего Вы еще ищете — у Вас под рукою и в Вашей власти Ваш настоящий род, род, который никогда не прискучит, потому что передает жизнь, а не ее исключения; к знанию жизни у Вас есть еще психологическая зоркость, есть поэзия в таланте — чего же еще надо, чтоб писать хорошие — простые, спокойные и ясные повести?» (Некрасов. т. 14, кн. 2, с. 99–100). Толстой ответил 21 января 1858 г.: «Кавказский роман все переделываю в плане и не подвигаюсь».

2 февраля 1858 г. появилась первая, после почти двухмесячного перерыва, запись, относящаяся к «Казакам» (в записной книжке): «Для

¹ В автографе описка: 6.

каз<аков> след<ующая> форма. Соединение рассказа Епишки с действием».

Уезжая вскоре из Москвы в Ясную Поляну, Толстой отметил встречи в ресторане гостиницы Шевалье с Б.Н. Чичериным («Чичерин говорил, что любит меня»; «Провел ночь у Шевалье перед отъездом. Половину говорил с Чичериным славно»), заставляющие вспомнить будущее начало «Казак». Но такое начало пока далеко впереди (первая рукопись датируется 1860 г.). Снова вернувшись в Москву, Толстой записал 24 февраля в дневнике: «Еще 3 дня в деревне, очень хорошо провел. Старое начало казаков хорошо, продолжал немного». 25 февраля: «Написал листок Казаков». 26-го: «Писал рассказ Еп<ишки> о переселении с Гребня. Нехорошо. <...> Писал Ерошку». К этому времени относятся и несколько зачеркнутых строк, сохранившихся в автографе рассказа «Три смерти» (л. 8 об.): «Дедунка Бурлак колдун был. Его весь полк знал. И батюшка уважал. Без [него] его приказу [на охоту] за зверем и не ходи».

«Старое начало» — это две главы второго начала: «Две роты пехотного кавказского полка пришли из-за Терека...». Теперь оно было дополнено еще двумя главами (см. т. 4 второй серии). Третья продолжает повествование о денщике, «уладившем все свои дела», его разговоре со старой казачкой и Марьяной; потом действие переносится на улицу, где обсуждается приход солдат в станицу. Четвертая глава — с живописными рассказами Ерошки о переселении казаков при Иване Грозном с Гребня, об отце, о «колдуне» — дедуке Бурлаке и об охотнике, убившем кабана весом в 25 пудов. Все это еще очень далеко от соответствующего текста гл. XIV и XV «Казак», хотя было использовано в дальнейших рукописях «кавказского романа». Полюбившееся же Толстому начало о приходе двух рот в станицу закрепилось до конца 1858 г.

К февралю 1858 г. относится, очевидно, и Конспект № 3 — первой части романа. Предполагалось 9 глав. Первая: «Рота приходит в станицу. Свиданье К<ирки> с Мар<ьяной>». Последняя: «Абреки, слух о смерти. Марьяна прогоняет офицера». Впервые намечено письмо офицера (гл. 2): «Письмо офицера, его взгляд на прежнюю и теперешнюю жизнь, описание лиц». На обороте листа добавлено: «Письмо. Я люблю. Случилось событие, которое открыло мне глаза. Я был у нее [она не пустила] в садах, она обещала. Слава Богу, что я иду в поход».

Этот конспект в значительной мере реализован в первой законченной редакции первой части «кавказского романа», работа над которой началась тогда же.

1858 год — время наиболее интенсивного писания «кавказского романа». Сохранилось большое число рукописей, почти все — автографы; один из них (в *Описании* рук. 13) пронумерован Толстым постранично: 1–66.

В дневнике с 18 марта по 9 мая — постоянные записи об этой работе.

18 марта, по приезде из Петербурга в Москву: «Перебирал писанье. <...> Поехал в 8 домой и писал *Казак<ов>* до часу».

19 марта: «Утром писал *Казак<ов>*. <...> После обеда писал немного...».

21 марта: «Пописал немного. Я весь увлекся Каз<аками>».

22 марта: «Писал немного».

11 апреля: «Писал с увлечением, письмо офицера о тревоге».

«Письмо офицера о тревоге» — это «2-е письмо офицера», заключительная глава в первой, законченной на этот раз, редакции первой части

романа¹. В рукописях ей предшествуют 11 пронумерованных глав. Приходится говорить «в рукописях», потому что многие листы первой редакции позднее переключивались и вновь исправлялись. Но текстовые связи, нумерация глав, имена персонажей позволяют восстановить первоначальный состав (и его композицию) полностью. Недостаёт лишь небольшого фрагмента, видимо, утраченного — начала 9-й главы. Заглавие, уверенно установленное: «Казачи». Первая глава — о двух ротах пехотного кавказского полка, приходящих в станицу. Текст писался заново, с большими переменами. Дело теперь происходит в праздник. Время — жаркий полдень, сперва октябрьский, потом июньский; в этой рукописи последний вариант — майский. Все последующие главы тоже создавались заново, некоторые — впервые. Начиная с 6-й главы офицер получил фамилию Ржавский, оставшуюся неизменной в течение всего 1858 г. Просматривая первые главы, Толстой и там местами изменил: вместо «офицера» — Ржавский.

Молодой человек открыл в станице совершенно новый для себя мир. «Напрасно вы все так сокрушаетесь обо мне...» — так начинает он письмо к приятелю (гл. 11), отправленное спустя полтора месяца после прихода в станицу. Далее следует резкая критика оставленной светской жизни, рассказ о станице, окружающих ее степях и лесах, о ее народе. Затем Ржавский пишет о Ерощке, о его рассказах и песнях, о Марьяне и о прелести охоты в местном лесу. «Дочь моего хозяина... (Эти слова были зачеркнуты в письме)» — так заканчивается глава с первым письмом. Впоследствии почти весь текст письма был зачеркнут Толстым, а его материал вошел в повествовательные — от лица автора — главы. Лишь начало, после изменений и сокращений, стало тоже началом единственного письма, вошедшего в напечатанную повесть (гл. XXXIII).

Отец Марьяны, хорунжий, «жиденький невзрачный старичок с седвешей бородкой и бегающими глазками», называется в этой рукописи Илья Васильевич (Иляска). Вместо Степки появилась Устенка, франтиха и хоютунья, близко напоминающая подругу Марьяны в окончательном тексте повести. Ее возлюбленный — не Иляс, а Назарка; упоминается и «солдатский барин» (будущий Дампиони, а потом Белецкий). Про Кирку сказано, что он «казался очень скромн. Он был одет просто и бедно. На нем была широкая красная черкеска, на ногах спущенные ноговицы и прорванные чуваки и старая шапка. Но в этой простой одежде еще поразительнее представлялись замечательная красота его лица и сложенья. Он стоял, отставив ногу и засунув оба большие пальца за туго стянутый пояс и немного склонив на бок голову. Он засмеялся звучным смехом, когда Марьяна ударила Назарку, и, еще раз поклонившись, подошел к ней». Так в последнем слое рукописи; среди зачеркнутого — множество вариантов портретной характеристики этого лица, которое было чрезвычайно важно для романтической интриги и обдумывалось вновь и вновь. Первоначальное «отвечал Кирка, улыбаясь», например, заменено ярким и выразительным: «отвечал Кирка, улыбкой открывая белые сплошные зубы. Красивое лицо его вдруг осветилось счастливым молодым блеском». Когда ефрейтор проводил по улице солдат, «Назарка отступил, но Кирка насмешливо оглянулся и не тронулся с места. — Люди стоят! Обойди, — проговорил он». Все это уже близко —

¹ В *Юб.*, т. 48, с. 430, неверно сказано, что это очерк «Тревога», набросанный в Севастополе в 1854 г. («Как умирают русские солдаты»). См. т. 2 наст. изд.

по тону, а иногда по тексту — к соответствующим сценам гл. XIII повести «Казачи». Убийства абрека здесь пока нет.

Заново написано свидание Кирки с Марьяной (в три последующие рукописи эти листы просто переносились, подвергаясь некоторым изменениям). Впервые появился (гл. 7) изумительный эпизод с ночными бабочками, летящими на огонь, и Ерешкой. Исправленный несколько раз и в этой рукописи, он дошел до окончательного текста.

В главе 10 иначе изображен разговор хорунжего с Ржавским (в присутствии Ерешки) о плате за квартиру. Хорунжий охарактеризован близко к окончательному тексту: «Илья Васильевич был не только грамотный, но школьный учитель в другой станице, странно соединявший в себе казачье хвастовство и самонадеянность с политичностью подьячего». Отношения его с Ерешкой, которого он называет, щеголяя знанием Библии, Нимвродом Египетским и «ловцом пред господином», что означает попросту охотник, ироничны и даже враждебны. Появился эпизод охоты Ржавского с Ерешкой. При позднейшем просмотре рукописи на полях Толстой помечил: «Не нужно охоты. Скрылись в лесу». Эти листы не вошли в наиболее полную, пятую, редакцию первой части и остались в рукописи № 12 (по *Описанию*), куда они были последний раз переложены. Но при подготовке повести к печати этот замечательный эпизод был отредактирован Толстым, отдан в переписку, в копии вновь переделан и составил гл. XVIII и XIX «Казачков».

Во втором письме Ржавский рассказывает о своей любви, разговоре с Марьяной, а на следующее утро — тревоге в станице, нападении абреков. Кирка, «хоть и не начальник, сдвинув шапку, весь красный, повелительно кричал товарищам». Когда казаки с гиком бросились на чеченцев, «Кирка был впереди всех». Его ранят. Марьяна, как и в окончательном тексте повести, прогоняет офицера: «Уйди, что тебе, никогда ничего тебе не будет от меня. Уйди, постылый». Кирку берется лечить «татарин с мудрым лицом». Последняя фраза письма: «Никто не удивляется, что Марьяна стоит у ворот и плачет». Позднее заключительные строки письма вычеркнуты и появились: «[Она ненавидит меня.] Трудно тебе сказать, что я передумал в это время, но я понял одно. Я понял, что тут идет жизнь, серьезная, нешуточная, а я так. Она мне дала минуту счастья, но минута не повторится, и мысль эта ужасно тяжела для меня. Я знаю, что было бы дурно, тем более, что Кирка мне обязан, роман мой кончен. Я был счастлив, но мне грустно».

На полях письма о тревоге различные пометы. Среди них одна зачеркнутая: «Когда она уже замужем». Видимо, замысел состоял в том, что любовь Ржавского к Марьяне разовьется в сильную страсть, о которой он писал теперь, лишь после ее замужества. На обороте последнего листа — конспект, озаглавленный «Кирка» (судя по всему, название второй части романа), намечающий дальнейшее развитие событий (см. во второй серии Конспект № 4).

Размышления о «кавказском романе» Толстой одновременно заносил в дневник и записную книжку.

14 апреля: «...уяснил себе конец романа. Офицер должен разлюбить ее». 20 апреля: «У Кирки сестра немая». 23 апреля: «Предлагает жениться Марьяне».

В бумагах «Казачков» сохранились конспекты (№ 5, 7), где обозначены события «2 ч.» и «3 ч.», а в конспекте 7-м даже и «Эпилога» (казнь казака).

Вероятно, к 5-му конспекту, начинающемуся словами «И опять пришла любовная весенняя ночь, и опять муки...», относится дневниковая запись 12 апреля: «Писал с [удовольствием] богатством содержания, но неаккуратно. Бегство в горы не выходит». И 13 апреля: «Заколodило на бегстве в горы».

«Запнувшись» на «бегстве в горы», т.е. на второй части, Толстой вернулся к первой.

15 апреля: «Написал 2 листа. Переписка».

16 апреля: «Написал лист и не совсем хорошо. Нечего делать. Буду продолжать; стараясь лучше, но не передельывать клоками».

17 апреля: «Написал 1½ листа...».

18, 19 апреля: «Писал мало и дурно».

23 апреля: «Писал немного письмо Ржавского».

24 апреля: «Писал письмо Ржавского». Идет на лад...»

25 апреля: «Писал конец письма. Небрежно, но идет».

В этот день Толстой получил от своего бывшего батареяного командира Н.П. Алексеева второе письмо с текстами «песен, певаемых в станице Старогладковской» (первые пять были направлены раньше, в ответ на просьбу Толстого). Начиная с этого времени, со второй именно редакции, песни, варьируясь, начали входить в «кавказский роман». Некоторые останутся и в напечатанной повести.

26 апреля: «Перечитывал все и передельвал. <...> Поотделал Кордон, много новых мыслей. Христианское воззрение».

И наконец 30 апреля: «В романе дошел до 2-й части, но так запутанно, что надо начинать все сначала или писать 2-ю часть».

Запись фиксирует окончание второй редакции первой части.

Заново были написаны гл. 12 (окончание первого письма Ржавского), начало 13-й — о впечатлении, произведенном на Кирку и станичников поступком офицера («Слышь, Кирке 50 монетов бросил поручик-то») и новое второе письмо Ржавского, помеченное как глава 14.

Начальный фрагмент 13-й главы обрывается фразой: «Кирка стоял на посту на Тереке». Но глава «Кордон» уже имела в прежних рукописях (продолжение четвертого начала) и на этот раз была лишь исправлена. На полях, например, вписано: «Сова, через два взмаха крыльями хлопая крыло о крыло, пролетела в лес вдоль Терека, потом чаще, каждый раз хлопая крыло о крыло, она влетела в деревья, зашуршала и села». Вставка точно соотносится с дневниковой записью 20 апреля 1858 г., сделанной в Ясной Поляне: «Прелестный день, прет зелень — и тает последнее. Грустил и наслаждался... Сова пролетела, через раз хлопая крыло о крыло, потом чаще и села».

Второе письмо Ржавского, которое в предыдущей редакции рассказывало о тревоге и ранении Кирки, теперь посвящено вечеринке. Здесь впервые появляется поручик Дампиони, «малый довольно хороший, немного образованный или, ежели не образованный, то любящий образование и на этом основании выходящий из общего уровня офицеров». Далее Ржавский признается: «А я, ты знаешь, имею природное отвращение ко всем битым дорожкам, я хочу жить хоть трудно, мучительно, бесполезно, но неожиданно, своеобразно, чтоб отношения моей жизни вытекали сами собой из моего характера». О Марьяне Ржавский сначала говорит лишь то, что ему «интересно следить за романом, который происходит между Киркой и хозяйской дочерью». О Кирке сообщается, что «он отличился с месяц тому

назад, убил чеченца и с тех пор, как кажется, и загулял. У него уже есть лошадь и новая черкеска». «Странное дело, — замечает по этому поводу Ржавский, передавая возникшие у автора «христианские» мысли, — убийство человека вдруг дало ему эту самонадеянность, как какой-нибудь прекрасный поступок. А еще говорят, человек разумное и доброе существо. Да и не в одном этом быту это так, разве у нас не то же самое. Война, казни. Напротив, здесь это еще меньше уродливо, потому что проще». Рассказывает Ржавский и о том, что он был на кордоне, когда выкупали тело. О брате убитого сказано: «Трудно тебе описать ту молчаливую строгую ненависть, которую выражало его худое лицо. Он ни слова не говорил и не смотрел ни на кого из казаков, как будто нас не было. На тело он тоже не смотрел. Он приказал приехавшему с ним татарину взять тело и гордо и повелительно смотрел за ним, когда он нес его в каюк с казаками. Потом, не сказав ничего, он сел в каюк и переплыл на ту сторону».

Все это даст материал для гл. XXI «Казак», где заменится повествованием от авторского лица (правда, Оленин будет присутствовать при сцене выкупа тела). На верхнем поле первого листа этого автографа помета: «Не нужно письма».

Заканчивалось письмо словами: «Я хочу не ходить больше к хор<унжу>. Она слишком хороша. Она... Ничего, ничего, молчание». Потом весь последний абзац зачеркнут. Осталось: «С тех пор, как я дал деньги Кирке, я замечал, что хозяин стал со мной любезнее и приглашает к себе и приглашал с ними в сады на работы».

К этому периоду относятся, по всей видимости, еще одна рукопись (в *Описании* № 16), представляющая собою третье письмо. На полях заголовок: «[Письмо]». Все оно — рассказ о любви: «Я давно не писал тебе, потому что не мог писать. Со мной случилось необыкновенное и до сих пор продолжается и надеюсь, продолжится на всю жизнь...» Потом такое вступление вычеркнуто, на полях помета: «холоднее и спокойнее». Новое начало: «Ты предполагал, что кончится тем, что я влюблюсь в казачку, и угадал; но угадал совсем не то, что случилось». Кончается письмо взволнованными словами: «Да нет, я теперь счастлив, как никогда не был в жизни. Стоит мне вспомнить ее в то время, как она сказала: "А куда Кирку денем?", безумные надежды передо мной, и я счастлив, как никогда не был в жизни».

Во время переделки текста написана вставка, прямо перекидывающая мост ко второй части романа: «Я знаю, что, по прежним понятиям моим, то, что я делаю, скверно и глупо. Что будет с Киркой, что будет с ней, что будет со мной. Но пусть будет, что будет. Мгновенье счастья с этой женщиной и больше ничего не хочу от жизни». На полях вопрос: «Но настоящее ли это?», намекающий на события третьей части, где офицер должен был разлюбить Марьяну.

Все три письма Ржавского написаны очень взволнованно и горячо. Чувствуется, что Толстой высказывал здесь свои заветные мысли и сильные переживания. Отразились и тогдашние увлечения: роман с яснополянской крестьянкой Аксиньей Базыкиной.

В печатной редакции эта рукопись 1858 г. даст материал для второй части письма Оленина. Вторая половина письма преобразится в гл. XXXIV — от лица автора.

Обилие писем — главная отличительная черта второй редакции. По конспекту (№ 6) этого времени предполагалось, что во всем романе, трех

его частях, их будет восемь. Помимо трех, еще пять: «4-е. Абреки, благодеяние oblige <обязывает>. Я ухаживал за ним. 5-е. Из похода, она вышла замуж. 6-е. Опять я вижу ее. 7-е. Ты, верно, слышал. Я виноват. 8-е. Я видел казнь».

Однако последующая работа пошла по иному, более объективному руслу.

29 апреля 1858 г. Толстой перечитал свой кавказский дневник. 30 апреля отмечено: «Напрасно я воображал, что я такой милый там мальчик. Напротив, а все-таки, как прошедшее, очень хорошо. Много напомнило для кавказского романа».

1 мая: «Ничего не писал, но нашел значительную перемену. Марьяна должна быть бедная, также как и Кирка. Отчего это так, Бог знает». Дальше задание, как и 2 мая, «писать роман». В тот же день в письме А.В. Дружинину сказано кратко: «Копаясь за романом и хозяйничаю немножко, и соловьи, и природа, и чтение, и музыка — дел не оберешься».

Третья редакция, составленная в это время, включила четыре главы предыдущих (1 — «Две роты кавказского пехотного полка...»; 2 — «К вечеру хорунжий явился с рыбной ловли...»; 3 — «Между тем народ возвратился с работ...»; 4 — «Ржавский весь этот вечер и часть ночи провел с дядей Ерощкой...»); 5-я глава — авторское описание станицы (она названа — Новомлинская) и казачьей жизни: «Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро...». В шестой главе — два письма Ржавского. Первое — переложенное из прежней рукописи, второе — новое: об охоте в кавказском лесу и о том, как, заблудившись, он вышел на кордон. Много говорится о голосе и пении Кирки. Здесь он впервые поет ту самую песню — «Из села было Измайлова», полный текст которой Толстой получил лишь 25 апреля (см. с. 267). На полях запись о намерении Ржавского: «Я хочу его сделать христианином». О Ерощке сказано: «Дядя Ерощка был для него <Ржавского> выражением всего этого нового мира, и слова его производили сильное влияние на молодого человека. Чего ни испытал, чего ни видал этот старик? И несмотря на то, что за спокойный эпикурейский взгляд был виден во всех красноречивых словах его, во всех певучих самоуверенных интонациях». Впоследствии это вычеркнуто, потому что заменялось живыми картинами, сценами. Вообще рукопись позднее сильно и много правилась, в частности, при включении в наиболее полную — пятую редакцию первой части «кавказского романа», где Кирка был переименован в Лукашку.

3 мая в дневнике записано: «Еще обдумал К<азаков>. М<арьяна> Соболька¹. Хочу попробовать последние главы, а то не сойдется». 9 мая намерение было выполнено: «Немного невнимательно пописал — Возвращение К<ирки>».

Автограф на четырех листах небольшого формата, написанный почти без помарок, сохранился. Начинается словами: «Прошло два года <первоначально: "почти шесть лет"> с тех пор, как Кирка бежал в горы». Это

¹ Соболька — молодая казачка станицы Старогладковской. Мать ее звали Улита, как и в повести «Казачки». Сослуживец Толстого, штабс-капитан А.П. Оголин, живший в доме бабушки Улиты, в письме от 16 сентября 1854 г. (Толстой в это время уже уехал с Кавказа) в числе разных новостей сообщал о бабуке Улитке, о том, что она передает поклон, а Соболька из своего угла искоса поглядывает.

фрагмент третьей (не второй, как сказано в *Описании*, рук. 18) части романа.

Сообщается, что в станице ничего не знали про Кирку. «Говорили, что в прошлом году видели его между абреками, которые отбили табун и перерезали двух казаков в соседней станице; но казак, рассказывавший это, сам отперся от своих слов. Армейские не стояли больше в станице. Слышно было, что Ржавский выздоровел от своей раны и жил в крепости на Кумыцкой плоскости. Мать Кирки умерла, и Марьяна с сыном и немой одна жила в Киркином доме». Так был осуществлен записанный 3 мая замысел, что Марьяна должна быть «бедная». Ни в одной из рукописей первой части романа, как и в окончательном тексте повести, нет ситуации, чтобы Марьяна еще девушкой была «бедная, как и Кирка».

Далее рассказывается, как в мокрый и темный осенний вечер Ерошка, возвращаясь с охоты, заходит к Марьяне. Про Марьяну говорится, что «она теперь только, казалось, развилась до полной красоты и силы. Грудь и плечи ее были полнее и шире, лицо было бело и свежо, хотя тот девичий румянец уже не играл на нем. На лице была спокойная серьезность». «Курчавый мальчишка ее сидел с ногами на лавке подле нее и катал между голыми толстыми грязными ножонками откушенное яблоко. Совсем то же милое выражение губ было у мальчика, как у Кирки». В лице Марьяны «была кроткая грусть и сознание того, что она угасивает старика». Ерошка выпрашивает у нее Киркино ружье, Марьяна не отдает: ружье понадобится сыну, как он вырастет. Старик укоряет Марьяну, зачем она пана от себя отбила, и обещает разведать про Кирку.

Неожиданно, в эту же ночь, Кирка с чеченцем приходит в станицу и стучится в окно к Ерошке. Рассказывается их встреча. Марьяна увидела Кирку и просит Ерошку пустить ее. Войдя в хату, она «упала в ноги мужу». Не ожидая добра от этого свидания, Ерошка крикнул, что станичный идет с казаками. Кирка и чеченец убежали.

На третий день, в праздник, Кирка появился в часовне. «Два казака сзади подошли, схватили; он не отбивался».

Далее — конспект письма Ржавского, тема которого намечалась в плане восьми писем: «Я вчера приехал, чтобы видеть страшную вещь. К<ирку> казнили. Что я наделал! и я не виноват, я чувств...».

В 1860 г. Толстой еще раз напишет эпизод возвращения Кирки; но обе рукописи останутся достоянием архива.

К апрелю — маю 1858 г. следует, видимо, отнести еще три небольших фрагмента, сохранившихся среди автографов «Казаков» (в *Описании* рук. 22–24).

25 апреля в дневнике отмечено: «Теперь все переделать надо в лето». Одна из рукописей так и начата: «Был август месяц». Изображается работа в садах, резка винограда.

Рассказ о весенней работе Марьяны и ее подруги Степки в садах, их разговор в тени персикового дерева был уже однажды написан (гл. III «Марьяна» в продолжении четвертого начала). Теперь Толстой решил ввести в этот эпизод офицера и разговор его с Марьяной. Попробовав в старой рукописи исправить текст и продолжить рассказ, скоро отказался от этой мысли, взял чистые листы бумаги и стал писать заново. Рукопись (в последнем слое) уже близка к гл. XXIX–XXXII окончательной редакции «Казаков». Развязка эпизода здесь, однако, иная. В «Казаках», после разговора с Марьяной в садах, Оленин всю ночь провел на дворе, тщетно дожидаясь ее,

потом постучал к ней и был застигнут Назаркой. Марьяна там, как всегда, величаво-спокойна: «Один раз в полусвете ему показалось, что она оглянулась на него». — В рукописи ситуация другая:

«Поздно вечером, вернувшись домой, Марьяна до ужина вышла за ворота, но постояльца не было на крыльце на своем обычном месте. Ей было досадно, что он не договорил ей того, что начал. Проходя назад, она заглянула в окно его хаты. Было пусто и темно.

— А где пан твой? — спросила она у Петрова, который сидел на завалинке.

— А Бог его знает, пришел, оседлал лошадь и поехал куда-то. Ничего не боится. То-то глупость».

Как обычно в рукописях, еще нет многих выразительных художественных деталей, которые появятся в окончательном тексте.

Например, нет характерных реплик матери и отца Марьяны в их разговоре со Ржавским:

«— Приходи, шепталок дам, — сказала старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, — сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи, — в России, я думаю, не только шепталок, сколько ананазных варений и мочений кушали в свое удовольствие».

Позднее появилась такая деталь описания: «Зарывшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть». И яркая сцена: «Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в которой все ягоды сплющились одна на другую, не находя себе места, он показал Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда».

В автографе много зачеркиваний, вставок, помет на полях. Например: «Влияние офицера на Марьяну. Проводы в набег»; «Проводы. Кирка приходит сватать. Офицер сидит»; «Известие о ране Кирки. Как это случилось».

Другой фрагмент (помечено: «Глава») — новое описание станичного праздника, близкое к гл. XXXV–XXXIX окончательной редакции, также относится к весенней работе 1858 г.: герой постоянно называется Киркой. В рукописях, созданных осенью этого года, появится Лукашка.

В автографе довольно большая правка и заметки, относящиеся к более позднему времени: «Покуда Л<укашка> за табуном, разговор с Назаркой о М<арьяне> и с д<ядей> Е<рошкой>». Действие происходит ранней осенью: «Осенняя ночь свежа и безветренна...». Перед заключительным абзацем — строка точек: эпизод вечеринки уже находился в более ранней рукописи и был там поправлен.

Нет еще некоторых песен, которые появятся в печатном тексте. Две из присланных Н.П.Алексеевым в марте песен («Из-за лесяку, лесу темного...») и «Как за садом, за садом») будут вписаны в последнюю сохранившуюся копию «Казаков» (в *Описании* рук. 39).

Третий фрагмент — тоже автограф, обозначенный как «Глава 5»: «Было 5 часов утра. Петров раздувал голенищем самовар на крыльце хаты». Это будущая XXIV глава «Казаков», и тексты близки. На полях предпоследнего листа помета: «Письмо», явно отсылающая к одному из писем Ржавского, уже находившемуся в бумагах Толстого.

Описывается утро Ржавского, приход Дампioni (Белецкий появится лишь в 1862 г.) и приглашение на вечеринку. Весь текст написан заново, хотя и с использованием второго письма Ржавского к приятелю.

О Ржавском, возвращающемся после купанья в станицу, здесь сказано: «Он чувствовал, что хорош и ловок». Позднее, при подготовке рукописи к печати, будет добавлено: «И похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат». Беседа с Дампioni, Ржавский говорит о себе, что до отъезда на Кавказ он «был слишком серьезно занят одной женщиной», которую «любил и уважал», чтобы теперь «мог заниматься другими», и признается, что не может уважать казачек. Что касается Дампioni, он по-прежнему веселый, добродушный малый. Перед вечеринкой, сидя у себя в квартире, он занят «стрельбой в окно по воробьям» (его преемник, Белецкий, будет лежать на кровати и читать «Трех мушкетеров»).

Все три рукописи (до настоящего издания никогда не публиковавшиеся) можно считать кусочками текста четвертой редакции первой части «кавказского романа», написанными заново в связи с решением отнестись времени действия к сбору урожая.

Летом 1858 г. работа над «Казачками» приостановилась. 12 июня, после почти месячного перерыва в записях, в дневнике отмечено: «Все это время ничего не писал. Занимался хозяйством, но больше беготней...». В записной книжке продолжали появляться заметки: «Казачка молча ночью стоит перед ним и жмет крепко его руки, ломает пальцы...»; «К К<азакам>: Ему кажется, что он не любит ее, кажется, что он притворяется. Вдруг она изменяет». Все это — об отношениях офицера и Марьяны после бегства Кирки.

Осенью, вероятно, после 20 сентября, когда Толстой возвратился из Москвы в Ясную Поляну, работа возобновилась. К сожалению, дневник в это время велся очень нерегулярно. За два с лишним месяца — от 20 сентября до 27 ноября — всего три записи. В одной из них, от 30 октября: «Переписывал Казака. Надо еще раз». И 27 ноября: «Вечер писал отлично секрет и вижу в будущем все хорошо».

Упоминание главы «Секрет», однажды уже написанной, поправленной («Кордон»), но теперь выполненной снова, позволяет отнести к этому времени автограф (в *Описании* рук. 19), начинающийся так: «Глава I. Молодой гребенской казак стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста...». Опять новое начало! Время действия этой главы — июль. Текст, в особенности в первом его слое, без позднейшей правки, достаточно далек от соответствующих мест напечатанной повести. Это начало пятой редакции «кавказского романа».

Кажется странным, что сочинение называется в дневнике «Казак» (не «Казачки»). И 6 декабря тоже: «Привел в порядок бумаги. До обеда буду переделывать начало Казака...». В копии нового начала (сохранился маленький фрагмент): «Беглый казак». Видимо, в этот момент Толстой так хотел назвать весь роман.

В новом автографе молодой казак сначала носит имя Кирка. Но вдруг, дойдя до известного и по печатному тексту эпизода, когда казаки обсуждают, кому же идти в секрет, и Ерошка спрашивает: «А кто у вас в секрет идет?», слышится:

«— Марка, Марка твой идет, — ответил шутник, указывая на» Затем Толстой написал было: «Кирк» и тем же взмахом пера: «Лукашку».

Далее читается так: «— А, Лука-Марка. Ну [ладно] карга, карга, — отвечал старик, [называвший К<ирку>] прозванный Лукашку Маркой же потому, что [два], по его мнению, Лука-Марка, два святителя, было одно и то же». Потом до конца рукописи — Лукашка (правда, встречаются описки, тут же исправленные, иногда оставшиеся).

Сохранился вариант окончания главы, тоже с Лукашкой.

В повести «Казак» сцены на кордоне составят четыре главы (VI–IX) и будут существенно отличаться (богатством художественных деталей, портретных характеристик, реплик) от этой, уже не первой редакции всего эпизода.

Видимо, сначала Толстой предполагал второю главой сделать «Праздник» и в заграничной рукописи 1857 г. появилось: «На другой день после события на кордоне в станице был праздник». Рукопись была сильно исправлена. Но там же на полях намечен конспект всего романа (№ 8), где первым пунктом стоит «Секрет», а вторым «Солдаты». К этому конспекту примыкает и другой, написанный на отдельном листе (№ 9). Обозначены 14 глав: восемь — для первой части, еще шесть — для второй. В первой части глава 1-я — «Кордон», 2-я — «Солдаты».

В прежней рукописи первая фраза «Две роты пехотного кавказского полка...» была изменена: «На другой день после описанного события две роты пехотного кавказского полка...» И дальше выправлен весь текст главы (см. варианты в т. 4 второй серии). Кирка заменен Лукашкой. Ржавский пока остался. Правка, хотя и большая, в основном уже стилистическая.

В дальнейшем для пятой редакции некоторые фрагменты писались заново, иногда по несколько раз, но чаще редактировались прежние рукописи.

Появились главы: 10-я, рассказывающая о беседе Лукашки с Ерошкой; 11-я — Ерошка в доме Лукашки, разговоры с матерью, заботящейся о том, как женить сына, проводы его на кордон. Все это в исправленном виде войдет в XVI–XVII главы повести. Вместо немой сестры Лукашки в первоначальных этих рукописях действует золовка, жена брата, сердитая рябая баба.

Для разговора с Ерошкой есть и вариант, куда Толстой включил заговор от убийства, который сохранился в бумагах «Казак» на отдельном листочке (автограф) — «Здравствуйте живучи в Сиони» и вошел в печатный текст гл. XVI. В рукописном тексте 1858 г., видимо, по памяти: «Радуйся, живучи в Сиони...».

К 1858 г. следует отнести и две впервые появившиеся в истории «Казак» копии (в *Описании* рук. 31 и 33). Но это уже новая, шестая по счету редакция. Глава 1-я открывается здесь такими словами: «В 184. г., в июле месяце, две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в гребенскую староверческую станицу». Глава 2-я: «Одному из офицеров, поручику Ржавскому, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, или Ильяса, как его звали в станице». Глава 3-я: «Вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли...». В *Описании* сказано, что это копия с несохранившегося оригинала. Скорее — диктовка (судя по опискам, явно слуховым). К этому фрагменту Толстой позднее не возвращался. Вторая копия — повествование, соответствующее гл. XIX–XXII и XXVIII окончательной редакции. В ней — позднейшие, 1862 г., поправки; в частности, Ржавский заменен Олениным (впервые Оленин появился в авто-

графу нового начала, созданного в 1860 г.: отъезд из Москвы). Самое любопытное в этой копии — ее заключительный фрагмент, озаглавленный: «Часть 2-я. Глава 5-я». Текст начинается так: «Ржавский был прав, полагая, что Лукашка любит его...». Дальше рассказывается, что Лукашка не знал, ходила ли мать сватать его за Марьяну, и беспокоится об этом. Потом — что мать Марьяны «была совсем другая женщина в семейном кругу». Словом, то, что известно по печатному варианту «Кзаков». Как и позднейшие конспекты (см. ниже), этот фрагмент свидетельствует, что в 1863 г. появилась не одна первая, а две части «кавказского романа», преобразившиеся в единую повесть. Только в конце повести вместо романтического «бегства» Кирику изображен неизбежный отъезд Оленина.

В декабре 1858 г. И.А. Гончаров написал Толстому из Петербурга: «Вас и от Вас ждут многого, между прочим Кавказского романа (нескромность друзей!). Все здесь, Вас недостает, и в каждом собрании Ваше имя произносится, как на переключке» (*Переписка*, т. 2, с. 121).

Судя по всему, в 1859 г. Толстой не прикасался к своему «кавказскому роману». Первые месяцы были отданы другому роману — «Семейное счастье», а горькие переживания после его публикации в мае этого года на некоторое время вообще охладили к литературной деятельности. Осенью началось увлечение Яснополянской школой, педагогикой.

Правда, в дневнике и записной книжке «Кзака» упоминается несколько раз: 9 апреля («И казака»), 28 мая («Сейчас хочу пописать Казака»), 9 октября («заняться романом вечерком»), 10 октября («начать бы Казака»), но эти намерения не были исполнены.

28 сентября А.В. Дружинин попросил хоть что-нибудь в «Библиотеку для чтения» и спрашивал: «Что Ваша большая повесть и не написали ли Вы чего-нибудь еще в эти месяцы?» (*Переписка*, т. 1, с. 287). Толстой ответил 9 октября: «Я не пишу и не писал со времени “Семейного счастья” и, кажется, не буду писать. Лышу себя, по крайней мере, этой надеждой. Почему так? Длинно и трудно рассказать. Главное же — жизнь коротка и тратить ее в взрослых летах на писанье таких повестей, какие я писал — совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы было содержание такое, которое томило бы, просилось наружу, давало бы дерзость, гордость и силу — тогда бы так. А писать повести очень милые и приятные для чтения в 31 год, ей-богу, руки не поднимаются».

3

В начале 1860 г. настроение и положение дел изменились.

2 февраля Фет написал из Москвы Толстому: «Любезный граф и ментор! Как сердечно обрадовался я, когда от Сергея Николаевича узнал, что Вы снова принялись за “Кзаков”. Язык мой слаб для того, чтоб вызвать Вас на Вашу прежнюю писательскую сочинительскую стезю, но не Вам одному, а всем я говорю, что верю в Ваши силы. Вы многого от себя требуете и дадите так многое. Дай Бог Вам. Звать Вас в Москву не хочу; зачем, — а пишите, работайте при тихой лампаде; и да благо Вам будет. А я люблю ловкие вещи, а если Вы скажете, что ночь в “Двух гусарах” вздор, то скажете несуразность. Этот стоячий пруд так и стоит в этой лунной ночи» (*Переписка*, т. 1, с. 336).

Мрачно сосредоточенный тон письма к Дружинину, где Толстой сообщил об отказе от литературной работы, сменился вдруг брызжущим весельем в ответном письме Фету (15 февраля):

«Дяденька!
Не искушай меня без нужды
Лягушкой выдумки твоей.
Мне как учителю уж чужды
Все сочиненья прежних дней.

Показания Сережи несправедливы, никаких казаков я не пишу и писать не намерен. Извините, что так, без приготовления, наношу вам этот удар. Впрочем, больше надейтесь на Бога и вы утешитесь. А ожидать от меня великого я никому запретить не могу».

Между тем «показания» С.Н. Толстого были справедливы. В начале 1860 г. возобновилась работа над «Казаками». Объясняя ту странность, что Толстой отрицал в письме действительный факт, Н.Н. Гусев справедливо заметил: «Объяснить это можно только тем, что, удовлетворяя своему непреодолимому влечению к художественному творчеству, Толстой на этот раз писал только для себя и потому желал избежать всяких дальнейших расспросов и переписки относительно этого» (*Гусев, II*, с. 358–359). Он претворял в жизнь то, о чем 13 декабря 1858 г. записал в дневнике: «Литература, которую я вчера понюхал у Фета, мне противна. <...> Надо писать тихо, спокойно, без цели печатать».

16 февраля 1860 г., после двухнедельного перерыва в дневниковых записях, задание: «Писать казаков утром <...> Писать казаков или о книгопечатании до чаю...».

17 февраля: «Вчера все исполнил. <...> Писать казаков (главное, не отставливаясь)».

Затем до 22 мая снова перерыв в подневных записях, но работа над «Казаками», видимо, продолжалась. 26 мая характерное признание: «Странно будет, ежели даром пройдет это мое обожание труда». Это «обожание» явственно дало о себе знать в «Казаках» — в созданном тогда новым началом и в написанных в 1860 и 1862 гг. главах третьей части романа.

Выяснить, что было сделано в начале 1860 г., помогает рукопись, датированная самим Толстым 1 сентября 1860 г. и представляющая собою фрагмент третьей части романа (возвращение Кирки в станицу). В ней действуют Оленин и Ванюша, хотя в последних рукописях, относящихся к 1858 г., оставались еще их предшественники — Ржавский и Петров. Стало быть, в начале 1860 г. было написано что-то и для первой части романа — с этими новыми именами.

Анализ рукописей позволяет отнести к 1860 г. главы, содержащие новое начало романа: отъезд Оленина из Москвы, его дорога на Кавказ, приезд в станицу, вечер в станице и вариант третьей главы, начинающейся словами: «Чем дальше уезжал Оленин...» (в *Описании* рук. 25 и 26). Наконец появилось начало, которое, после небольших изменений, перейдет в печатный текст. Имя героя тоже останется неизменным. К этому времени можно приурочить два конспекта (№ 10, 11), открывающиеся главой «Отъезд». Во втором содержании первого пункта: «Отъезд из Москвы, его положение в свете, его странное Николаевское развитие, отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хочется» — полностью соответствует тому, как рассказывается об Оленине и его отъезде из Москвы в первых двух главах нового начала

романа. Любопытно, что слуга Оленина назван в этом конспекте Васька (уже не Петров, но еще и не Ванюша).

Новое начало озаглавлено «Марьяна» — видимо, название первой части «кавказского романа». Содержит семь глав: 1. Отъезд; 2. Оленин; 3. Воспоминанья и мечты; 4. Терская линия; 5. Станица; 6. Кордон; 7. — не названа. При этом 6-я и 7-я лишь начаты и оставлено пустое место: эпизоды на кордоне, убийство абрека, приход казаков вечером в станицу, разговоры с девками на площади уже существовали в прежних рукописях.

В новом начале — одна несогласованность как раз с прежними рукописями. В последних автографах 1858 г. (с Ржавским) уже появился Лукашка. Здесь вдруг название 6-й главы «Кордон» исправлено: «Кордон, на котором стоял Кирка» и в предыдущей главе упоминается Кирушка. Возможно, после длительного перерыва Толстой забыл о Лукашке; может быть, решил снова вернуться к прежнему имени. Кирка будет фигурировать и в рукописи фрагмента третьей части, датированной: «Иер. 1 сентября 1860». Потом снова исчезнет. Впрочем, сюжет о «беглом казаке», в течение долгого времени (и многочисленных рукописей) связанный с именем Кирки, останется жить в творческом воображении Толстого и после публикации повести «Кзаки».

Автограф первых глав нового начала близок к печатному тексту «Кзаков», но есть и существенные отличия. Оленин, например, думает о своей несостоявшейся любви к «барышне»: «Но Боже, зато я теперь и всегда буду любить ее как человека, а она возненавидит меня — и поделом!» В рассказе об Оленине много автобиографических черт — гораздо больше, чем останется потом. Ему так же, как и Толстому, «никакая попытка не обошлась так дорого, как попытка семейного счастья». В дороге Оленин составляет «план мирного покорения Кавказа», занимавший в свое время и Толстого.

Нет еще поэтического описания гор, поразивших Оленина. «А все так же величаво стоят горы и все белее и молочнее выказываются на темнеющем закате» — это все, что сказано здесь о горах.

В августе 1860 г., находясь за границей, Толстой записал в дневнике: «Как будто образуется форма романа». Вскоре после этого был создан фрагмент третьей части. В отличие от написанного в 1858 г. эпизода, возвращению Кирки в станицу здесь предшествует не разговор Ерошки с Марьяной, а его ссора с офицерами после охоты — из-за того, что Ерошка присвоил свинью, убитую не им одним. Впервые в этой рукописи появляется Ванюша. Рассказывается, как Марьяна открыто живет с Олениным.

К этому замечательному фрагменту, написанному с большим творческим подъемом, почти без помарок, Толстой в дальнейшем не возвращался.

27 ноября (9 декабря) 1860 г. в письме к Т.А.Ергольской просьба: «И еще, пожалуйста, пришлите мне мои бумаги, которые оставались на столе в корке “Кавказский роман”. Я просил об этом Сережу, но он забыл, должно быть, а теперь мне это очень нужно. Одно — я боюсь, чтобы это не пропало как-нибудь, поэтому надо просить Иван Ивановича¹ подробно узнать как и что. Ежели же это будет стоить дорого, рублей 10, то это ничего». Сообщался адрес: Nyeres.

¹ И.И.Сахаров, переписчик.

Рукописи, вероятно, не были присланы. Во всяком случае, нет никаких материалов, подтверждающих дальнейшую работу Толстого над «Казакми» во время этого второго заграничного путешествия.

Возвратившись в Россию, Толстой отметил 12 мая 1861 г. в дневнике: «Приехал домой и забирает [написать] писать казака».

Работа, однако, начата не была. 29 июня этого года Толстой написал М.Н. Каткову: «Повесть, которую я вам обещал, до сих пор лежит нетронуто за кучею дел, заваливших меня со дня приезда — хозяйство, школы, будущий журнал¹ и мировое посредничество.<...> Обещать не люблю положительно, но самому хочется спихнуть с шеи неоконченную работу, а что печатать негде, кроме в “Русском вестнике”, в этом вы сами виноваты».

Катков напомнил 26 ноября: «Вы мне говорили прежде, что у вас приходит к концу литературный труд, почти обещав его “Русскому вестнику”. Я не хотел приставать к Вам с напоминаниями об этом деле, более важно для меня, чем для Вас. Но Вы, может быть, сочли бы жестоким равнодушием с моей стороны, если бы я вовсе не стал напоминать Вам об этом обещании. Повторю, что я говорил Вам не раз прежде: не забывайте Вашего истинного призвания, а кто знаком с тем, что уже сделано Вами, тот не может сомневаться в истинном призвании Вашем» (*ГМТ; ЛН*, т. 37–38, с. 196). В январе следующего года, критикуя педагогическую статью Толстого, Катков снова заметил: «Пишу Вам откровенно, именно в силу моего уважения к Вам, к Вашему таланту, к тому значению, которое Вы имеете и должны иметь в нашей литературе» (там же).

Тогда же произошло событие, о котором сам Толстой рассказал в письме к В.П. Боткину от 7 февраля: «Я здесь — в Москве — отдал всегдашнюю дань своей страсти к игре и проиграл столько, что стеснил себя; вследствие чего, чтобы наказать себя и поправить дело, взял у Каткова 1000 руб. и обещал ему в нынешнем году дать свой роман — Кавказский. Чему я, подумавши здраво, очень рад, ибо иначе роман бы этот, написанный гораздо более половины, пролежал бы вечно и употребился бы на оклейку окон. Что было бы лучше, вы мне скажете в апреле». Рад был и Тургенев, известный из Парижа 5 (17) марта А.А. Фета: «Толстой написал Боткину <...>, что он в Москве проигрался и взял у Каткова 1000 руб. сер. в задаток своего кавказского романа. Дай-то Бог, чтобы хоть эдаким путем он возвратился к своему настоящему делу!» (*Тургенев. Письма*, т. 4, с. 353).

Предполагалось, стало быть, что в апреле 1862 г. роман будет напечатан. Уезжая из Москвы в Ясную Поляну, Толстой написал своей тетушке Александре Андреевне: «Дела у меня пропасть и по посредничеству, и по школе, и по журналу, и по роману, который я обещал напечатать в нынешнем году в “Русском вестнике”».

Считая, что написанного ранее материала достаточно на две части, Толстой принялся опять за третью часть. 15 февраля 1862 г. (авторская дата на первом листе) начата рукопись, озаглавленная: «Часть 3-я». В ней содержатся три первые главы и повествование доведено до момента возвращения Кирки (главы, рисующие это возвращение, были созданы раньше).

¹ «Ясная Поляна».

Третья часть «кавказского романа», таким образом, оказалась написана полностью, если не считать заключительного эпизода — казни беглого казака.

Товарищ Кирки назван в этой рукописи Лукашкой, хотя в старых рукописях первой части это имя уже было дано самому герою. Устенка замужем за вестовым Дампиони, ставшего штабным офицером. Но жизнь станицы идет по-прежнему. «Из всех старых лиц больше всех переменялся Оленин. Ему было 28 лет, но в эти три года он перестал быть молод. Молодость его была истрачена. Тот запас молодой силы, который он носил в себе, был положен в страсть к женщине, и страсть эта была удовлетворена». Вскоре после бегства Кирки он писал приятелю из похода, что счастлив. Но, вернувшись в станицу, почувствовал, как многого еще недоставало для счастья. Прошло три года, и он теперь тяготится любовью Марьяны. Уже Марьяна напоминает ему про обещание жениться.

Очевидно, ко времени создания этих глав третьей части относятся конспекты (№ 12 и 13), в которых развивается план любви к Оленину княгини Воронцовой и при этой ситуации излагается окончание первой части («Из похода Оленина послали с донесением к главнокомандующему») и содержание второй и третьей частей романа. Во втором конспекте намечался финал, мелькнувший у Толстого еще в 1858 г., — после казни Урвана (так назван здесь герой) убийство Марьяной Оленина: «Вечер; он дома, она прошла. Она все-таки хороша. Преступно хороша. Он ходит, идет под окно. Выстрел, он убит. Она бежит. Она пришла: “меня вяжите, я убила”. Солдат...». Солдат, влюбленный в Марьяну, должен был взять вину на себя.

Во всем повествовании сказалось то увлечение поэзией крестьянского быта, которое переживал в ту пору Толстой. В письме к приятелю Оленин признается: «Тем-то удивительна жизнь, что курица не может жить в воде, а рыба в воздухе, что Н.Г. не может жить без тротуара, оперы, а я без запаха дыма и навоза». В описании того, как работал Ерощка, виден автор рассказов из крестьянской жизни, которые Толстой начинал в 1860–1861 гг. и все оставил незавершенными: «Дело его так и спорилось, он не торопился, но от одного точчас же переходил к другому». В рассуждениях Ерощки появляются мысли, которые войдут потом, несколько измененные, в окончательный текст «Казак»: «И зачем она война есть? То ли бы дело, жили бы смирно, тихо, как наши старики сказывали. Ты к ним приезжай, они к тебе. Так рядком, честно да лестно и жили бы. А то что? тот того бьет, тот того бьет. Наш к ним убежит — пропал, ихний к нам бегаёт. Я бы так не велел». Появляется новое действующее лицо — пожилой капитан Иван Алексеевич, неравнодушный к Марьяне.

К работе над этим фрагментом Толстой впоследствии не возвращался.

Несмотря на обещание передать в апреле роман для печати, Толстой все не мог взяться за его отделку. 11 апреля 1862 г. написал Каткову: «Я принялся только на днях за свой запроданный роман и не мог начать раньше. Напишите мне пожалуйста, когда вы желаете иметь его. Для меня самое удобное время — ноябрь, но я могу и гораздо раньше. Ежели вам это неудобно, напишите прямо, я вам возвращу деньги (я теперь в состоянии это сделать) и все-таки отдам роман только в “Русский вестник”. Ежели бы и вовсе раздумали, то я с удовольствием бы и вовсе отказался. Пожалуйста, напишите мне обстоятельно и *совершенно откровенно*». Редактор-издатель журнала ответил 15 апреля: «Что же касается до Вашего романа, то как бы

ни хотелось мне видеть его поскорее в своих руках, я буду ждать его терпеливо. Вы пишете о взятых Вами из редакции деньгах: Вы бы очень огорчили и обидели меня, если бы вздумали предлагать мне их назад...» (Юб., т. 60, с. 423).

12 мая с учениками Василием Морозовым, Егором Черновым и слугою А.С.Ореховым Толстой уехал на кумыс в самарские степи. Проведя несколько дней в Москве, посетил Каткова. Не приходится сомневаться, что разговор шел не только о журнале «Ясная Поляна», печатавшемся в катковской типографии, но и о «кавказском романе».

Летом работа продолжилась. 28 июня Толстой писал Т.А. Ергольской из Каралыка: «Я нашел приятеля Столыпина атаманом в Уральске и ездил к нему и привез оттуда писаря, но диктую и пишу мало». Вероятно, диктовалась не только статья «Воспитание и образование», но и «Казак». К этому времени следует отнести два новых начала, созданных, по всем признакам, под диктовку (в *Описании* рук. 34 и 35). Первое озаглавлено «Марьяна» и далее следует: «Часть 1. Глава 1-я. Приезд в станицу». Текст начинается словами: «[Это было в 185. г.] В 185. г., в мае месяце, перекладная тройка почтовых лошадей, которой правил оборванный широкоскулый ногаец, въезжала в станицу Гребенского полка, в которой стояла пешая батарея». Действуют Оленин и Ванюша. Во втором начале, с тем же заглавием, название первой главы «Дмитрий Оленин» зачеркнуто, оставлена лишь цифра «1», а текст выглядит немного иначе: «В 1850 году [28 февраля] была выдана подорожная по собственной надобности от Москвы до Ставропольской губернии города Кизляра канцелярскому служителю Т-ого депутатского собрания, коллежскому регистратору Дмитрию Андрееву Оленину...». Но позднее в переписку были отданы не эти фрагменты, а исправленный автограф 1860 г. К этому периоду относится и последний сохранившийся конспект первой части (№ 14), где главой первой обозначен «Отъезд», а последней, 13-й, «Вечеринка».

Затем обыск в Ясной Поляне, женитьба отвлекли Толстого на некоторое время от литературных занятий. 9 октября 1862 г. он снова обращался к издателю «Русского вестника»: «Романа своего я в этом году кончить не могу. Могу, однако, напечатать его первую часть, составляющую больше 5 листов, но это мне было бы неприятно». Далее предлагалась для публикации повесть «Поликушка» и обещан роман, «когда он будет кончен». 18 октября в письме к брату С.Н. Толстому сказано: «Писать мне хочется роман, но от Каткова, которому я писал, не получал ответа. А ответ должен решить дело».

Ответ, полученный в ближайшие дни (не сохранился), решил дело в пользу печатания. Началась напряженная работа: исправление копий, дописывание некоторых фрагментов, сокращение всего лишнего, замедляющего действие, художественное усовершенствование всего текста. 21 октября Софья Андреевна замечала в письме к сестре Т.А. Берс: «Левочка тебе не пишет, потому что некогда, писать надо...» (ГМТ). Сохранился автограф (в *Описании* рук. 29), начинающийся словами: «Лукашка только что вернулся из гор, куда он с помощью кунака только что сбыл трех лошадей, угнанных из ногайской степи» (будущая глава XXXVII повести), где в середине — текст рукой С.А. Толстой, явно под диктовку. Последние стадии работы отражены в нескольких копиях (в *Описании* № 36 и 37 — первые главы, рукой писца; № 38 и 39, почти полный текст, рукой писца и С.А. Толстой); все они — с исправлениями Толстого. Любопытно, что главы об

Оленине в станице переписывались с рукописей, где он назывался Ржавский, и лишь в копии (рук. 38) фамилия изменена. О размерах авторской отделки текста можно судить по внушительному своду вариантов, который дают эти копии (см. во второй серии). Была еще рукопись, отправленная в печать, но она не сохранилась. На этих последних стадиях работы «кавказский роман» превратился в «Кавказскую повесть 1852 года», окончательно озаглавленную «Казаки».

1 ноября 1862 г. в московском литературно-юмористическом журнале «Развлечение» появились «Заметки свистуна. Новости и слухи», где говорилось о скором появлении в «Русском вестнике» нового романа Толстого, автора «Отрочества». Не зная ни этого объявления, ни, тем более, про договоренность о «Казаках» с М.Н. Катковым, 6 января 1863 г. А.А. Григорьев, «принадлежа к числу самых искренних и жарких поклонников» таланта Толстого, вспоминал в письме личную встречу 1856 г. на кунцевской даче В.П. Боткина и просил новую вещь для журнала «Время»: «Мы слышали, что у Вас есть роман, — и думая, что Ваши убеждения в существенных пунктах не расходятся, а сходятся с нашими — желали бы приобрести его, на условиях, какие Вы сами, разумеется, положите» (*Переписка*, т. 2, с. 150). Неизвестно, отвечал ли Толстой; письмо Григорьева от 6 января 1863 г. осталось его единственным личным обращением к создателю «Казаков». Сочинения Толстого находились постоянно в поле зрения Григорьева, начиная со статьи «Русская изящная литература в 1852 году» («Москвитянин», 1853, т. I, № 1, кн. I) с отзывом о «Детстве» — до 1864 г., когда в последней своей публикации критик отозвался и о «Казаках»; в журнале «Время», № 3 за 1863 г., появился разбор Я.П. Полонского (см. ниже).

28 ноября Толстой написал Каткову: «Посылаю вам начало повести, любезный Михаил Никифорович. Первая часть у меня вся готова, и дело только за переписыванием. Первая часть составляет как бы отдельное целое. По моим расчетам, она составит листов 7. Чем скорее вы напечатаете, тем для меня лучше. Следующую половину первой части я вышлю в понедельник. Корректуры я прошу прислать мне. Я, как всегда, чрезвычайно недоволен этой повестью и поправлял и переправлял ее до тех пор, что не чувствую возможности над ней более работать <...> Очень желаю, чтобы вам понравилось, и с нетерпением жду вашего мнения; но я просил бы вас до печати никому не давать читать ее». Продолжение рукописи было отправлено не в понедельник, а в воскресенье 8 декабря: «Посылаю вам 2-ю половину 1-й части. Я не послал ее в понедельник, потому что увлекся новыми поправками и дополнениями. Она много выиграла от этого замедления. Этой половиной я гораздо менее недоволен, чем первой. Пожалуйста, поскорее отвечайте мне. Когда будет напечатано, пришлите мне корректуры, и как вам нравится? Я буду в Москве перед праздниками и тогда увижусь тотчас же с вами и продержу 2-е корректуры».

19 декабря 1862 г. в дневнике отмечено: «Кончил казаков 1-ую часть».

Конец декабря, весь январь и начало февраля Толстые находились в Москве. В дневнике дважды упоминаются корректуры «Казаков» — 15 и 23 января 1863 г.: «Поправлял Казаков — страшно слабо. Верно, публика поэтому будет довольна».

В последней сохранившейся копии конец — автограф, написанный на полях и отдельном листе. Завершается так: «Оленин отдал ему флинту и [ухал] тронулся».

— Что передавали ему, старому черту, — сказал Ванюша, — все мало. Попрошайка старый!»

Лишь в наборной рукописи или корректуре появилось окончательное:

«Флинт-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику! — ворчал Ванюша, — все мало! Попрошайка старый. Все необстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь. — Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клетки, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!* — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захохотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай, буду помнить тебя, — кричал Ерощка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерощка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

Произведение, работа над которым продолжалась, с перерывами, десять лет, было завершено.

19 января 1863 г. петербургская «Северная почта» поместила корреспонденцию «Из Москвы», сообщавшую о передаче Толстым в редакцию «Русского вестника» новой повести и о скором выходе журнала.

24 февраля 1863 г. в № 42 «Московских ведомостей» появилось объявление о выходе первого номера; в перечне содержания: «Казачья Кавказская повесть 1852 года. Графа Л.Н. Толстого» (в самом номере опечатка: 1862 года — см. в наст. изд. с. 265).

25 февраля С.А. Толстая сообщила сестре, что «Левочка начал новый роман» (будущая «Война и мир»).

Толстой вспоминал «Казачков» в 1865 г., во всю работая над этим «романом из времени 1810 и 20-х годов», как названа «Война и мир» в октябрьском письме 1863 г. к А.А. Толстой. 30 сентября 1865 г. в дневнике рассуждение: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — *Bradford*, мои казаки, будущее...». Но это «будущее» никогда не наступило, и все связанное с драматическим сюжетом «беглого казака» осталось в черновиках «Казачков». Хотя сам казак помнился всю жизнь. В конце 1904 г., отвечая на вопрос П.И. Бирюкова, Толстой сказал: «Слышал я — это факт, — что казак, который убежал в горы и абреком стал, и убивал казаков, соскучился, пришел в деревню и дался прямо в руки, и его казнили, повесили, и он твердо, спокойно умер» (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 119).

Мысли о казачестве внесены в записную книжку 13 августа 1865 г.: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. <...> Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную. Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах *казаков*. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит: пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана» (*Юб.*, т. 48, с. 85).

2 ноября того же года, как отмечено в дневнике, Толстой «с наслаждением» перечитал «Казачков» и «Ясную Поляну».

Из литераторов первым, и восторженным, ценителем «Казачков» стал А.А. Фет. 15 марта 1863 г. он написал Толстому: «У Борисовых видел “Казачков”, но не стал читать отрывками, пожую с удовольствием дома, когда получу “Вестник”. Борисов¹ говорит, что это лучшее, что Вы написали. Давай Бог, я верю в Вас, и чем Вы несуразнее, тем более верю. <...> О “Казачках” беседуя поподробнее с Вами» (*Переписка*, т. 1, с. 359–360). 4 апреля — письмо, отправленное уже по прочтении повести: «Сколько раз я Вас обнимал заочно при чтении “Казачков” и сколько раз смеялся над Вашим к ним неблаговолением! Может быть, Вы и напишете что-нибудь другое — прелестное, — ни слова, — так много в Вас еще жизненного Еруслана, но “Казачки” в своем роде *chef d'oeuvre* <шедевр>. Это я говорю положительно. Я их читал с намерением найти в них все гадким от А до Z, и кроме наслаждения полнотою жизни — художественной — ничего не обрел. Одна барыня из Москвы пишет мне, что это прелестно, но не возвышает дух, и видно, как будто автор хочет нас сделать буйволами. Матушка! Тем-то и хорошо, что автор ничего не хочет. Разумеется, так же мало подобные барыни понимают Оленина. Да это и не их дело. Эх! как хорошо! И Ерошка, и Лукашка, и Марьянка. Ее отношение к Лукашке и к Оленину — верх художественной правды.

Я нарочно по вечерам читаю теперь “Рыбаков” Григоровича. Все эти книги убиты Вами. Все повести из простонародного быта нельзя читать без смеха после “Казачков”. <...> когда Оленин, полон надежд, приходит к ней, она говорит только: “У, постылый”. Как это все свято, верно. <...> Неизъяснимая прелесть *таланта*. Талант — это чистый цвет лотоса или хоть крапивы — все равно, но цвет. <...> “Казачки” должны явиться на всех языках <...> Вы мастер, и Вам книги в руки (там же, с. 361–362). В следующем письме Фет снова вернулся к повести (критикуя одновременно «Поликушку»): «“Казачки” — Аполлон Бельведерский. Там отвечать не за что. Все человечно, понятно, ясно, ярко — сильно» (там же, с. 363). Не сразу отвечая на эти восторженные письма («Я живу в мире столь далеко от литературы и ее критики»), Толстой заметил в письме от начала мая: «“Поликушка” — болтовня на первую попавшуюся тему человека, который “и владеет пером”; а “Казачки” — с *сукровицей*, хотя и плохо».

Новое художественное сочинение Толстого, появившееся в печати после четырехлетнего молчания (со времен «Семейного счастья»), с нетерпением ждал Тургенев. Из-за ссоры 1861 г. переписка с Толстым прекратилась (до 1878 г.), но в письмах другим лицам Тургенев много говорил о «Казачках». В январе 1863 г., узнав о свадьбе Толстого, писал его брату Сергею Николаевичу: «...Помните, я видел его жену еще молодой девочкой в доме ее отца. От души желаю ему счастья — и с нетерпеньем ожидаю его возвращения на литературное поприще: говорят, в “Русском вестнике” скоро явится его роман» (*Тургенев, Письма*, т. 5, с. 91). И в феврале — И.П.Борисову: «С нетерпением жду появления “Казачки” Л. Толстого в “Русском вестнике”» (там же, с. 106). 10 марта Борисов (служивший на Кавказе вместе с братьями Толстыми) ответил: «Мне кажется, что это есть лучшее

¹ И.П.Борисов, орловский помещик, муж сестры Фета, приятель Тургенева, Фета и братьев Толстых.

из его писаний и что едва ли он когда-либо что напишет подобное. Оленин он сам — это всякий прочтет и увидит, но как он мастерски верно до дна изобразил Лукашку, дядю Ерошку (т.е. Епишку) или его хозяина, ученого хорунжего, его семейную жизнь! — А природу-то Терека в садах, в степи, в станицах — воздух этот с гарью кизяков. Удивительная, непостижимая просто очевидность всего этого мира. — Так я уверен, что Вы насладитесь этими «Кзаками», что не буду больше и говорить. Это дивная повесть» (там же, с. 561). Наконец 7 (19) апреля Тургенев написал А.А.Фету и И.П.Борисову: ««Кзаков» я читал и пришел от них в восторг (и Боткин также). Одно лицо Оленина портит общее великолепное впечатление. Для контраста цивилизации с первобытной нетронутой природой не было никакой нужды снова выводить это возящееся с самим собою, скучное и болезненное существо. Как это Толстой не сбросит с себя этот кошмар!» (там же, с. 113). Несогласие с толстовским психологизмом оставалось, но летом 1864 г., перечитав «Кзаков», Тургенев «опять пришел в восторг. Это — вещь поистине удивительная и силы чрезмерной» (там же, с. 262). В 1865 г., когда под названием «1805 год» появились первые главы будущей «Войны и мира» и Борисов сообщил, что Толстой ставит «Кзаков» «гораздо ниже» своего последнего сочинения, Тургенев ответил: «И он ставит этот несчастный продукт выше «Кзаков»! Тем хуже для него, если это он говорит искренно» (там же, с. 364–365). В следующем, 1866 г., Тургенев снова писал Борисову: «Я зачитал с г-жой Виардо «Кзаки» Толстого — и сугубо наслаждаюсь: экая неподдельная поэзия и красота!» (Тургенев, Письма, т. 6, с. 60).

Содействовал Тургенев и переводу «Кзаков» на европейские языки. Еще в 1866 г., отвечая на первое письмо английского историка литературы и критика В.Ролстона, Тургенев написал ему: «Я не могу не порадоваться Вашему намерению более широко знакомить ваших соотечественников с нашей литературой. Не говоря уже о Гоголе, я полагаю, что произведения графа Льва Толстого, Островского, Писемского, Гончарова могут представить интерес, поскольку в них отразилось новое понимание поэзии и способов ее выражения...» (там же, с. 389). Два года спустя в Предисловии к роману Максима Дюкана «Утраченные силы» (появился в «Собрании иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык, издаваемом Е.Н.Ахматовой», т. I, СПб., 1868) сравнивал Толстого с Бальзаком: «... Что великий талант может существовать рядом с непониманием художественной правды в одном и том же человеке — этому поразительный пример Бальзак. Все его лица колют глаза своей типичностью, выработаны и отделаны изысканно, до мельчайших подробностей — и ни одно из них никогда не жило и жить не могло; ни в одном из них нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в «Кзаках» нашего Л.Н. Толстого» (Тургенев, Соч., т. 15, с. 97–98).

Немецкому журналисту и переводчику Л.Кайслеру Тургенев послал «Кзаков» и в письме от 22 марта (3 апреля) 1870 г. спрашивал, понравилась ли повесть. Оценка самого Тургенева оставалась неизменной до конца его жизни. В 1874 г. он собирался «непрерменно напечатать» в «Revue des Deux Mondes» или «Le Temps» повесть Толстого: «Чем чаще перечитываю я эту повесть, тем более убеждаюсь, что это chef-d'oeuvre Толстого и всей русской повествовательной литературы» (Тургенев, Письма, т. 10, с. 206–207). В начале 1875 г. Толстому было направлено из Парижа письмо с известием: «Гг. Виардо и Тургенев переведут в течение лета «Кзаков»» (там

же, т. 11, с. 27). Замысел не осуществился, но в этом году «Le Temps» поместила перевод «Двух гусаров», с восторженным предисловием Тургенева.

В октябре 1878 г. (после примирения) Тургенев писал Толстому из Буживаля: «Вам уже, вероятно, известно, что Ваши “Казачки” вышли в английском переводе (в Лондоне и в Америке) — и, по дошедшим до меня слухам, пользуются большим успехом». Сообщив далее, что «Казачки» печатаются также во французском переводе в «Journal de St.-Petersbourg» (об этом известила Тургенева переводчица Е.И. Менгден), предлагал посредничество для публикации его во Франции: «Мне будет очень приятно содействовать ознакомлению французской публики с лучшей повестью, написанной на нашем языке» (там же, т. 12, с. 361–362).

Эта высокая оценка была вполне искренней и в глазах Тургенева несколько не преувеличенной. Однако Толстой, переживавший в то время, в 1878 г., острый духовный кризис, поглощенный религиозными и философскими исканиями, отнесся недоверчиво и безразлично к похвалам. «Пожалуйста, не думайте, что я гримасничаю, — ответил он, — но, ей-богу, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятно сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются». Пораженный этими словами, Тургенев продолжал настаивать на своем. Отвечая Толстому 15 (27) ноября, он повторил, что «Казачки» доставляли ему всегда «большое удовольствие» и «взбуждали удивление» (там же, с. 383). И в конце года снова излагал план нового французского перевода повести.

В 1891 г. двоюродному брату А.А. Долженко А.П. Чехов советовал: «Пока живешь у нас, почитай Толстого. Он на полке. Найди рассказы “Казачки”, “Холстомер” и “Поликушку”. Очень интересно» (Чехов, Письма, т. 4, с. 226).

В те же годы С.М. Степняк-Кравчинский, выступая в США с лекциями о русской литературе, упомянул в одной из них «Казачков» и заметил: «В этих ранних вещах обнаруживается та же философия, которая позднее выступит на первый план. Она проявляется и в сердитых выпадах против цивилизации, и в тяге к чему-то лежащему за пределами интеллектуальных стремлений человека» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 553).

В 1902 г., за четыре года до смерти, В.В. Стасов писал Толстому: «Я перечитываю нынче поминутно разные ваши прежние вещи и смакую их слово за словом, точно какой-нибудь пьяница горький, который полчаса пьет одну и ту же рюмку, все маленькими глоточками, все маленькими глоточками, и еще иной раз возьмет да поднимет рюмку против света и любуется: “Ах, какой и цвет-то чудный!” И опять глотнет. Я таким пьяным образом почитываю то “Казачков”, то “Власть тьмы”, то “Холстомера”, то “Двух гусаров”, то “Плоды просвещения»» (Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929, с. 292).

И.А. Бунин говорил о «Казачках»: «Это нечто сверхчеловеческое! Я прямо руками развожу. Как можно так писать! Нет, нет! Толстому надо подражать, подражать, подражать, самым бессовестным, самым беззастенчивым образом. Если меня будут упрекать в подражании Толстому, я буду только рад. Все его якобы недостатки, о которых говорят критики, — это величайшие достоинства» («Яснополянский сборник», Тула, 1960, с. 131).

Выступая в 1908 г. на вечере в Тенишевском зале, рассказывая, как он встретился с Толстым на пароходе «Св. Николай» (в 1902 г.), А.И. Куприн говорил об «очаровательном дяде Ерошке, от которого так уютно пахло

немножко кровью, немножко табаком и чихирем» (*Толстой в воспоминаниях*, 1978, т. 2, с. 282). Он же позднее, в 1910 г., писал Ф.Д. Батюшкову: «А я на днях опять (в 100-й раз) перечитал “Казачи” Толстого и нахожу, что вот она, истинная красота, меткость, величие, юмор, пафос, сияние». Отзываясь на смерть Толстого, Куприн снова вспомнил эту повесть: «Старик умер — это тяжело..., но... в тот самый момент... я как раз перечитывал “Казачи” и плакал от умиления и благодарности» (Куприн А.И. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4, М., 1958, с. 782–783). В 1913 г. Куприн создал рассказ «Анафема», где чтение дьяконом «Казачков» играет такую важную роль в сюжете.

Отзывы литературной критики, особенно 60-х годов, не были столь доброжелательными и единодушными. Современники были поражены подчеркнутой незлободневностью «Казачков». Представленное в повести столкновение образованного человека с миром простых людей, «цивилизации» с «природой» воспринималось как анахронизм, напоминало кавказские поэмы Пушкина и Лермонтова, романтическую литературу вообще. Упоминались и «Цыганы» Пушкина — отчасти справедливо: только в 1854 г., уже после начала работы над своим «Беглецом», Толстой оценил пушкинскую поэму, которой он «не понимал» прежде. Перечитывая два года спустя Пушкина, Толстой опять повторил в дневнике, что «Цыганы» «прелестны». Заглавие «Казачи», очевидно, появилось не без воздействия этой поэмы. И все же в 1857 г., обдумывая идею «кавказской повести», Толстой отверг как недостаточные сложившиеся было у него мысли: что дикое состояние хорошо (у Пушкина: «Мы дики; нет у нас законов...») и т.д.; что те страсти везде (у Пушкина: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет»); что «добро — добро во всякой сфере» (у Пушкина: «Мы не терзаем, не казним... Мы робки и добры душою»). Толстой искал для своего сочинения новых идей, созвучных своему времени.

Но глубинные основы мирозерцания Толстого, воплотившиеся в «Казачках», оказались мало доступны критикам тех лет. Художественная сила признавалась при этом почти всеми.

Первым выступил в журнале «Время» (1863, № 3) Я.П. Полонский: «По поводу последней повести графа Л.Н. Толстого — “Казачи” (Письмо к редактору “Времени”)». Издателем-редактором журнала был М.М. Достоевский, его брат принимал ближайшее участие в редактировании. Ф.М. Достоевский ни в статьях, ни в письмах не обмолвился ни одним словом о «Казачках». Но статья Полонского, видимо, была предварительно согласована. Во всяком случае, в первом же абзаце автор писал: «Я не критик, но, по желанию вашему, пишу и посылаю к вам критические замечания по поводу только что прочитанной мною повести “Казачи”...».

Толстой читал статью Полонского, известен отзыв в письме Фету: «А Полонский-то, бедный, как плохо рассуждает во “Времени”».

Первый тезис статьи категоричен: «Повесть “Казачи” есть произведение замечательного художника и в то же время не есть художественное произведение» («Время», 1863, № 3, с. 91). Затем давалась оценка Толстому как писателю: «Граф Л.Н. Толстой не лирик и не совершенно объективный писатель; что бы он ни писал, во всех его произведениях мелькает его личность, выступает собственная мысль его: так иногда он сам себе мешает, впутывая самого себя в свои произведения» (с. 93). Отрицательно расценивалась та черта, какую сам Толстой так высоко ценил в искусстве. Заговорив о «наших трудных днях», когда «потребность наслаждаться искусствами заглушена иными потребностями, которые вопиют и требуют удовле-

творения», Полонский писал, что, «задушевная мысль, проводимая автором», не нова и повторяет «Цыган» Пушкина: «У Пушкина Алеко — сильный характер, и читатель имеет полную возможность подозревать, отчего он не ужился с обществом; у графа Толстого герой без всякой силы. Это маленький себялюб, скорее избалованный жизнью, чем огорченный ее противоречиями, маленький Гамлетик, способный только на минутные увлечения. <...> Автор казнит его не за какое-либо преступление против свободы, как казнит Пушкин своего Алеко, а просто за то только, что он развитее казаков» (с. 94–95). И далее: «Оленин далеко не представитель лучших людей нашего времени. Он человек явно отживающего поколения, нечто вроде бледного отражения лучших людей Пушкинской эпохи» (с. 95–96). Впрочем, вспомнив свои впечатления от Кавказа, казачек, Полонский заметил: «Их образы стали для меня яснее после прочтения повести Л.Н.Толстого». Рядом сказано, что «красоты этого произведения перевешивают его недостатки; от всего рассказа веет кавказским воздухом», но потом, на следующей странице, утверждается, что лучшие эпизоды (убийство абрека и др.) «составляют почти отдельную повесть; читая их, забываешь и Оленина и все остальные части. Эти эпизоды — повесть в повести. Такая сложность разбивает, двоят внимание читателя» (с. 96–97).

Закончил изложение своего «личного мнения» Полонский словами: «Вообще весь рассказ изобилует теми мелочами, из которых каждая сама по себе — прелесть, но совокупность которых, как излишнее богатство, по временам утомляет нетерпеливого читателя» (с. 98).

Так в год выхода повести в свет начался спор, продолжавшийся затем десятилетиями: кто важнее и кто прав в «Казаках» — Оленин или эпически изображенный мир народной жизни.

Также в третьем номере, но другого журнала, «Библиотека для чтения», появилась статья Е.Н.Эдельсона. Полагая, что толстовские «записки о Севастополе» «порождены случайными обстоятельствами», а «Метель» не имеет «глубокого внутреннего содержания», критик далее писал: «Если хотите, пожалуй, и направления определенного в сочинениях Л.Н. Толстого нет, т.е. нет того яркого направления, какое можно указать в Тургеневе, Островском, еще более в Щедрина или, например, Успенском. <...> А между тем несомненно же, что в каждом его сочинении виден ум наблюдательный и испытующий, талант яркий и симпатичный, стремление к истине серьезное» («Библиотека для чтения», 1863, № 3. Раздел «Современная летопись», с. 3). Особенность толстовского дара — в том, чтобы, «подойдя к первому встретившемуся человеку, открыть в нем сразу самые интересные черты, показать именно те стороны души, которые заставят вас узнать в нем родственное вам существо — брата вашего» (с. 5).

Перейдя к разбору «Казаков», критик утверждал: «Под мастерским пером автора перед нами восстает какая-то новая, вовсе незнакомая нам жизнь, о которой все прежние описания Кавказа не давали никакого понятия» (с. 14). «Главную, основную мысль новой повести» Толстого Эдельсон определил как «очевидную»: «Это столкновение хорошей, но поломанной искусственно цивилизацией души с бытом грубым, но свежим, цельным, крепко сплоченным — причем победа остается, конечно, на стороне последнего» (с. 20). Впрочем, такой подход, узкий и односторонний, и самому критику представлялся недостаточным, если речь идет о подлинно художественном создании: «Более широкое содержание повести Л.Н.Толстого есть мастерский анализ того обаяния, которое вообще в не испорченной до

конца условными понятиями душе должна производить полная, цельная, естественная жизнь — жизнь среди природы и сообразно требованиям природы» (с. 20). «Психологический анализ всех переворотов, совершавшихся в душе Оленина до и по встрече его с кавказскою жизнью и Марьяною — есть сама по себе задача, достойная пера художника. С другой стороны, быт Кавказа, его природа, эти различные казацкие и неприятельские типы, ряд картин, изображенных поэтически, с любовью, но без малейшей тени пристрастия — есть другая задача, счастливое исполнение которой сделало бы честь любому писателю» (с. 22).

Далее Эдельсон поставил важный вопрос, касающийся национального своеобразия толстовского героя: «Так ли же бы отнесся цивилизованный иностранец к той грубой и, очевидно, низшей среде, с которою привелось столкнуться Оленину? А если нет, то какие же особенности отличают цивилизованных русских людей от цивилизованных немцев, французов, англичан? Наконец, в пользу или не в пользу русской природы говорит эта легкость Оленина, с которою он так скоро и без сожаления решаетя променять блага высшей цивилизации, им уже испытанные, на простую и грубую жизнь казаков? Принадлежит ли Оленин к поколению, уже отжившему свой век, или мы можем возлагать надежды на людей этого склада?» (с. 22).

Заканчивалась статья характеристикой высоких художественных достоинств «Казаков»: «... Мастерские изображения природы, не расплывающиеся в описаниях и картинах, но в двух, трех самых типических чертах сразу рисующие вам характер местности вместе с впечатлением, какое оно неизбежно производит на душу. Еще более ценим мы его высоко правдивые, не жеманные, но вместе с тем и сопровождаемые чувством глубокой меры изображения всех вещей и отношений. Кого, например, может оскорбить это почти античное благоговение Оленина пред молодою и свежюю красотою Марьяны или некоторые страстные сцены между ними; а описание трупа убитого черкеса! — Только такие художественные изображения помогают нам видеть прямыми и ясными глазами жизнь и природу, а не загаживают их от нас красивыми, но без толку расписанными ширмами» (с. 23).

В 1863 г. газета «Голос» поместила статью «Современные повести и современные герои (Письмо к редактору "Голоса")»:

«Талантливый автор и здесь, как и в прежних своих произведениях, является истинным художником, рисуя характеры, нравы и вольную, удалую жизнь казаков среди дико-роскошной природы Кавказа, которая оживает перед читателем в поэтически описаниях автора. Жаль только, что герой повести графа Толстого, как говорится, не удался. Характер его задуман широко; но эта-то ширина, как мне кажется, и испортила все дело. Видишь не живого человека, <...> а ряд идей, быстро сменяющих друг друга, быстро и как-то механически меняющихся в голове главного действующего лица, а следовательно, и в голове читателя. Психологический анализ порою слишком тонок, и притом заметно, что этот анализ делан не над самим героем, а применен к нему по аналогии, не всегда верной» («Голос», 1863, 27 апреля, № 101, с. 393. Подпись: В. — кин). В картинах кавказской жизни, напротив, «действуют живые лица, слышатся живые речи, выходят наружу живые, естественные чувства» (с. 394).

В том же 1863 г. с обзором «Современная беллетристика» в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 144 и 145, 27 и 28 июня) выступил П.В. Анненков. Критик начал с общей характеристики творческого дара Толстого, отчасти

повторив давние оценки Н.Г.Чернышевского: «С именем Толстого (Л.Н.) связывается представление о писателе, который обладает даром необычайно тонкого анализа помыслов и душевных движений человека и который употребляет этот дар на преследование всего того, что ему кажется искусственным, ложным и условным в *цивилизированном* обществе. Сомнение относительно искренности и достоинства большей части побуждений и чувств так называемого образованного человека на Руси, вместе с искусством передать нравственные кризисы, которые навещают его постоянно — составляет отличительную черту в творчестве нашего автора».

Довольно пронизательно охарактеризовал Анненков тогдашний толстовский идеал: «Душа его отдана всему, что еще не выделилось вполне из природного состояния, из оков материи и из фатализма истории, всему, что развивается бессознательно, покоряясь, с одной стороны, врожденным и, стало быть, искренним побуждениям своего организма, а с другой — удовлетворяя духовную свою природу только теми нравственными представлениями, только той наукой, поэзией и философией, которые сложились в течение веков, неведомым образом и сами собой вокруг человека, как различные пласты его родной почвы».

Перейдя затем к повести «Казачи», критик утверждал: «Если постоянная идея графа Толстого хорошо выражается всеми видами его деятельности, то уже в романе “Казачи” она обнаружилась с такой поэтической силой и в такой изумительной художественной форме, что способна покорить себе самый холодный и осторожный ум. <...> Десятки статей этнографического содержания вряд ли могли бы дать более подробное, отчетливое и яркое изображение одного оригинального уголка нашей земли, где все условия человеческого существования далеко не походят на те, которые образованный мир считает необходимыми для нравственного достоинства и благополучия».

Вопреки мнению, установившемуся в публике, Анненков считал характер Оленина «столь же глубоко задуманным и превосходно изображенным, как и все другие лица и части замечательного романа гр. Толстого».

Закачивал критик статью утверждением: «Мы удерживаем за романом право называться капитальным произведением нашей литературы <...> Искание европейских литератур выходит из заботы поддержать существующее здание навеки в первоначальной красоте, новизне и свежести; наше искание есть еще странствование в пустыне за обиталищем, которое, по мнению писателей, и завоевывать не надо, которое нас ждет совсем устроенное для того, чтобы успокоить все наши требования и стремления».

Одновременно со статьей Анненкова в «Отечественных записках» (№ 6) появилась статья Евгении Тур (гр. Е.В.Салиас-де-Турнемир), которая совсем иначе смотрела на предмет.

Начав с восхваления художественных достоинств «Казачков»: «В этой повести бездна поэзии, художественности, образности. Повесть не читаешь, не воображаешь, что в ней описано, а просто видишь; это целая картина, нарисованная рукою мастера, колорит которого поразительно ярок и вместе верен природе; в нем с ослепительною яркостью соединена правда красок <...> Это — сама жизнь с ее неуловимой прелестию» (с. 242–243), — Евгения Тур затем резко критически отозвалась о содержании повести и действующих в ней лицах. По мнению писательницы, «Казачки» — это «поэма, где воспеты не с дюжинным, а с действительным талантом отвага, удаль, жажда крови и добычи, охота за людьми, бессердечность и беспощадность

дикаря-зверя. Рядом с этим дикарем-зверем унижен, умален, изломан, изнасилован представитель цивилизованного общества» (с. 266–267). Оленина Евгения Тур назвала «онемечившимся монголом», который «мало чем по своей жизни и наклонностям разнится от животного». Казаки же — «воры и пьяницы» (с. 248–251). Толстой «рьяно и храбро принялся поэтизировать пьянство, разбой, воровство и жажду крови» (с. 272).

Нельзя не согласиться с Н.Н. Гусевым, который находил «странным» (*Гусев, II*, с. 608), что мнение Ф.И. Тютчева до известной степени приближалось к суждениям Евгении Тур. Сохранился список его эпиграммы (разумеется, неопубликованной) на «Казаков»:

Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.

Журнал «Современник» в 1863 г. (№ 7) напечатал статью секретаря редакции А.Ф. Головачева. Критический пафос этого выступления определялся не только идейными расхождениями с автором, но и его отходом от «Современника»: повесть Толстого появилась в стане враждебном — катковском «Русском вестнике».

Отметив, что писатели «волей-неволей стали покоряться требованию общества, которое в последнее время особенно настоятельно спрашивает, почему

Который уж век
Беден, несчастлив и зол человек?»,

автор статьи не нашел в повести Толстого ни вопроса, ни ответа: «Эта повесть является не протестом, а сугубым непризнанием всего, что совершилось и совершается в литературе и в жизни» (с. 37, 41). Иронически пересказав содержание «Казаков», критик вполне банально определил их смысл: «Умысел автора, по-видимому, именно был — изобразить, что вот как хороши отношения людей между собою и к окружающему их миру в их первобытном, так сказать, диком виде, но что люди, испорченные нашей цивилизацией, хотя и могут понять и оценить все это, но уже не могут наслаждаться тем счастьем, которое дает эта первобытность, между тем как тут только и есть истинное счастье» (с. 48).

В конце статьи Головачев сформулировал идею, которая будет затем долго повторяться революционно-демократической критикой: «Граф Л.Н.Толстой все-таки беллетрист хороший — его можно читать без скуки. Он хороший рассказчик и ловкий, хотя и поверхностный наблюдатель, но он плохой мыслитель» (с. 54).

19 сентября 1863 г. в газете «Северная пчела» (№ 247) была напечатана статья «Русская критика и художественная этнография» (подпись: А.). Раньше этот же критик, подписавшийся «Дилетант», поместил в газете «Заметки о русских журналах» («Северная пчела», 26 августа, № 227), где недоумевал по поводу того, что журналы противоположных направлений — «Современник» и «Отчужденные записки» — совпали в отрицательном мнении о повести Толстого. Теперь, вспомнив «Военные рассказы», критик написал о «Казаках»: «Тот же спокойный, джентльменский рассказ, та же кристальная чистота и вместе здоровая, трезвая и скупая простота речи». Повесть Толстого противопоставлена Марлинскому и сравнивается с Лер-

монтовым: «это картины, предчувствовать которые дал, и то слегка, Лермонтов» («Кисловодск, Грушницкий, старичок Максим Максимович и драгунский капитан Иван Игнатьевич»). Оленина критик не принимает, как и лермонтовского Печорина. Всю повесть он отнес «к так называемой художественной этнографии, обогатившей давно литературы английскую и американскую».

В 1864 г. А.А. Григорьев в последней своей статье «Отживающие в литературе явления», посвященной Д.В. Григоровичу, затронул и Толстого. Упомянув молчание художника после «Семейного счастья», Григорьев оценил его педагогическую деятельность как «органически необходимый исход крайне своеобразного и даже капризного таланта, который запутался в анализе до психических “чертиков”» («Эпоха», 1864, № 7, разд. VII, с. 6–7). Критически отозвавшись об «Альберте», «Трех смертях» и «Люцерне», Григорьев высоко поставил «Казakov»: «Дело в том, что художник, т.е. выразитель жизни с ее стремлениями и типами, в Л. Толстом — как в таланте настоящем, а не эфемерном взял все-таки верх над аналитиком; и хотя мирозерцание его несколько не расширилось, но мы вновь имели наслаждение любоваться его мастерством художественным и в “Казакax” и в “Поликушке”. <...> Одним словом — качества таланта все те же, что и были. Пожалуй, что и движения вперед нет, — ни в основном мотиве творчества, ибо герой “Казakov” — близкая родня и Нехлюдову и другим лицам, с которыми, как с основными мотивами анализа, привыкли мы встречаться в литературной деятельности писателя, — да уж зато нет и шага назад. Ну, — да ведь двигаются всё вперед и вперед, осмысливают всё яснее и яснее окружающую жизнь только таланты гениальные, таланты с таким своим словом, которое вместе с тем есть и слово целого периода, развития целого цикла...» (с. 7). В «Казакax» и «Поликушке» критик увидел преобладание художника над аналитиком и писал об искренней любви «ко всему народу и ко всему в народе» Пушкина, С. Аксакова, Островского, Достоевского, Тургенева, Писемского и Толстого.

В 1865 г. «Отечественные записки» (№ 1 и 2) поместили обширную статью Е.Л. Маркова «Народные типы в нашей литературе». Отнеся повесть «Казак» к разряду истинно-художественных, всегда важных и всегда интересных произведений, критик анализировал типы, выведенные Толстым. На первом месте — Ерошка, «тип Шекспировской школы — тип без добродетели, без приличий в том узком смысле, в каком эти слова понимаются большинством; сырой, почвенный человек, управляющийся преимущественно темпераментом». (№ 1, кн. 2, с. 339). Далее Марков справедливо утверждал: «Ерошка у гр. Толстого вышел именно всем *тем, чем не является* Куперов Патфайндер и чем между тем он необходимо должен бы был явиться: человеком своей среды, своего ремесла, своего прошедшего. Этими условиями реализм отличается от романтизма...» (с. 340). Затем характеризуется образ казака Луки: «В Лукашке много сухой серьезности, односторонности и прозы. Это идеал казака, упорно верующий в малейший догмат казачества, не знающий ни в чем отступления, сомнения, колебаний». Потом мамука Марьянка: «В типе Марьянки нет ни малейшего недостатка определенности; она нам ясна до осязательности» (с. 357). Лукашку критик противопоставлял простонародным образам Марко Вовчка, а Марьяну — героиням Жорж Санд. «Нельзя не удивиться при этом тому редкому в нашей литературе чувству правды и художественности, которое удержало автора от малейшей попытки сообщить фигуре героини более

нежный колорит. Подобные попытки соблазняют даже высокоталантливых писателей, вроде Диккенса; и они очень понятны» (с.361).

Особый раздел статьи посвящен Оленину: «Тип Оленина не есть одно бездушное олицетворение известных мыслей. Оленин — лицо очень живое и очень распространенное. Он действительно не очень образован школою, и в этом отношении есть по преимуществу наш современный, русский тип. Его выработка предоставлена жизни, поэтому должна быть исполнена противоречий, резких перемен и неправомерностей. Это — судьба и история всех нас» (февраль, кн. 1, с. 456–457).

Заканчивалась статья общей оценкой: «Я более всего в романе “Казак” удивляюсь отваге мысли гр. Толстого. Он не задумавшись освобождается от преданий нашей моды и воспитания; он твердо и сразу стал обеими ногами на точку зрения совершенно самобытную и, пожалуй, рискованную. <...> У гр. Толстого для вина нового взяты мехи новые, чего еще не сделал до него ни один из наших писателей. Гр. Толстой понял, что из сферы более или менее искусственной не выйдет безыскусственный, чисто почвенный человек, каких болгар ни выбирай для этого. Отличие всех вообще взглядов гр. Толстого, как педагогических, так и социальных, — это <...> проведение их до крайности; он всегда старается дойти до того места, где бабы на небо белье вешают, всякий другой горизонт его не удовлетворяет. Ему нужна была природа, и он черпнул ее полным ковшом в самое живое, со всего размаху своей руки; и из его руки зато действительно полилась природа, а не иллюминированные картиночки. Этою верностью себе он, мне кажется, стоит выше Руссо, к которому вообще близок по общей тенденции. <...> Он — человек XIX века, то есть реалист, человек русский, а главное — большой художник» (с. 469).

Статье Маркова возражал Д.И.Писарев в «Русском слове» (№ 3): «Прогулка по садам российской словесности». Не касаясь повести Толстого, Писарев высмеивал некоторые задиристые суждения Маркова, статью которого редакция «Отечественных записок» нескромно назвала в примечании «превосходным этюдом». Не нравились Писареву нападки Маркова «на отрицателей чистого искусства». Тогда же и Толстой читал статью Маркова. «Критика Маркова — плохо. Дорожит мыслью и сердится», — отмечено в дневнике 20 марта 1865 г.

В «Современнике» напечатал статью А.П.Пятковский, посвятив ее двум частям «Сочинений гр. Л.Н.Толстого», изданным в 1864 г. Ф. Стелловским (во второй части помещены «Казак»). После критики «Семейного счастья» автор заявлял: «Еще более пострадали от тенденций и лирических вставок повесть “Люцерн” и роман “Казак”. И дальше: «Картины природы и очерки кавказской жизни замечательны по своей художественной отделке; впечатления героя романа, испытанные им по приезде в эту полудикую страну, переданы верно; но самый характер Оленина слаб донельзя, а движущая идея романа еще того хуже». Эта идея виделась критику в подражании пушкинскому «Кавказскому пленнику»: «Но что было привлекательно и своевременно в двадцатых годах нашего столетия, то пахнет анахронизмом в шестидесятых. Поздненько вздумал г. Толстой реставрировать старые картины» («Современник», 1865, № 4, с. 328–329).

В № 6 «Современник», откликаясь на изданный Н.В. Гербелем трехтомник «Байрон в переводе русских поэтов», вновь вспомнил «Казак», назвав Оленина запоздалым Алеко и отметив «идеализацию» Толстым, по примеру Руссо, простой жизни.

О «Казаках» писали критики в связи с выходом отдельного оттиска «Тысяча восемьсот пятый год». Анонимный автор «Книжного вестника» довольно развязно заявлял: «Но гр. Толстой решительно изменил своему объективному таланту с тех пор, как пустился проводить в своих сочинениях известные нравственные («Семейное счастье») и общественные («Казаки», «Люцери») тенденции. <...> О романе «Казаки» мы не говорим: устарелый байронизм этого произведения, совершенно вроде «Кавказского пленника», заставляет даже забыть некоторые удачные места и недурно очерченные характеры» («Книжный вестник», 1865, № 13, с. 256–257).

В следующем году совсем иначе откликнулся Н.Н. Страхов, напечатав большую статью «Наша изящная словесность».

О персонажах, подобных Оленину, Страхов писал: «Разлад происходит не у всех, а именно только у тех, кого гр. Толстой избирает своими героями. Другие юноши легко сливаются со своею средою. Так брат Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступает на путь своего отца. Так Белецкий, встретившись с Олениным среди казаков, не чувствует ни малейшего разлада с жизнью. <...> Немудрено; между этими людьми нет ничего общего. Один принадлежит окружающей жизни, другой от нее оторвался. Один легко ко всему прилагивается, для другого всякое жизненное явление составляет задачу» («Отечественные записки», 1866, № 12, кн. 2, с. 799). И далее: «Что же делают герои графа Толстого? Они буквально бродят по свету, нося в себе свой идеал, и ищут идеальной стороны жизни» (с. 806). Страхова волновал вопрос, «какие живые начала обнаруживает здесь русская душа, какой нравственный и эстетический склад она проявляет, выбиваясь из-под какого-то давящего ее недуга» (с. 814). Вопрос остается без ответа: к разбору «1805 года» Страхов тогда не приступил; в 1869–1870 гг. журнал «Заря» опубликовал цикл статей о «Войне и мире», где концепция критика была развита вполне.

Позднее Орест Миллер посвятил «Казакам» раздел главы о Толстом в книге «Русские писатели после Гоголя». Здесь есть любопытные наблюдения. Например, слова Лукашки об убитом чеченце: «тоже человек был» сопоставлены с тем, что говорит в «Записках из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского солдат над трупом арестанта: «тоже мать была». А поведение в той же сцене Ерошки явило, по мнению автора, «ту черту народного характера, которую подметил в русском человеке еще Пушкин: глубокое сочувствие ко всякому страданию и старание, где только возможно, избежать пролития крови, ту черту, в силу которой каждая смерть кажется народу напрасной» (Миллер Орест. Русские писатели после Гоголя. СПб., 1886, с. 257). По общему обыкновению, Миллер сопоставлял «Казаков» с «Цыганами», Оленина с Алеко. В конце разбора сделано справедливое замечание: «Говорят, что «Казаки» остались неоконченными. Может быть, автор и имел намерение выставить тех же людей еще и в других положениях. Как бы то ни было, смысл этой повести представляется вполне выясненным и завершенным» (с. 270).

Р.А. Дистерло назвал «Казаки» «прелестной, замечательно-поэтической повестью», а главную мысль характеризовал так: «она отправляется не от противоположения западной и славянской культур, не от предпочтения основ народной жизни, — она берет цивилизацию вообще и видит в ней какое-то злое начало, нарушившее правду и гармонию природы» (Дистерло Р.А. Граф Л.Н. Толстой как художник и моралист. СПб., 1887, с. 92).

А.М.Скабичевский, историк «новой русской литературы», уже знавший творчество Толстого 80-х годов, отметил сходство некоторых мыслей Оленина (гл. XX, в лесу) — с тем, что будет потом: «Не правда ли, все эти размышления буквально тождественны с теми “просияниями” и “озарениями новым светом”, какие мы встречаем в сочинениях гр. Толстого последних лет?» Впрочем, находил и «весьма существенную разницу»: «В 1852 году он не думал, что стоит только дойти до подобных мыслей и проникнуться ими, чтобы и действительно возродиться к новой жизни» (Скабичевский А.М. История новейшей русской литературы. 1849–1890. СПб., 1891, с. 166). К герою Толстого критик народнического толка отнесся резко отрицательно («ветхий человек»).

Историк русского романа К.Ф.Головин отнес «Казак» к тому «циклу повестей и рассказов, где уже на первом плане стоит тревожный вопрос о настоящей цели жизни, о том, что следует делать человеку, чтобы жить и умереть хорошо» (Головин К. Русский роман и русское общество. СПб., 1897, с. 141). При этом «Казак» — повесть о том, «как лучше, т.е. проще жить» (с. 144). Повторил Головин и сравнение «Казак» с «Цыганами»: «Пушкин и Толстой, несмотря на то, что первый развил свою тему на романтической почве, а второй доводит реализм описания почти до грубости, говорят одно и то же, говорят, что не к лицу человеку столицы искусственно подлаживаться к чуждой ему обстановке, потому что такая попытка сама ничто иное, как ложь» (с. 144–145). Подчеркнул автор и то, что Толстой в оценке казаков «остаётся вполне правдивым, как настоящий реалист и великий писатель» (с. 146).

Немного позднее, и вполне положительно, о том же стремлении к простоте писал Н.А.Энгельгардт: «Страстное влечение к простоте, естественности, силе и правдивости непосредственных явлений жизни — вот идеал Толстого. Воплощение этой идеи у Толстого разнообразно, но постоянно и непрерывно. Идея глядит отовсюду в его произведениях. Она стоит невидимо за всеми видами и формами его творчества. В частности, она дает смысл повести “Казак»» (Энгельгардт Николай. История русской литературы XIX столетия. Том 2. 1850–1900. СПб., 1903, с. 70).

Историк русской литературы XIX века В.Ф.Саводник заметил, что в «Кзаках» «впервые отразились некоторые взгляды Толстого, получившие впоследствии дальнейшее развитие и особенное значение во всем строе его миросозерцания» (Саводник В. Очерки по истории русской литературы XIX века. Ч. 2. Изд. 4-е. М., 1908, с. 180). Главное из этих новых взглядов — «отрицательное отношение к современной культурной жизни, в которой Толстой видит одну лишь фальшь и обман», «мечты об опрощении» (с. 185, 187). Тут Саводник указывал на предшественников Толстого — Руссо и «многих романтиков», хотя оговаривался: «Миросозерцание Толстого в его целом настолько своеобразно и настолько проникнуто отпечатком его личности, что он, вероятно, пришел бы к подобным же взглядам и без всякого знакомства с идеями Руссо» (с. 186). В позднейших произведениях, начиная с «Войны и мира», эти мысли будут иметь в основе не стремление к счастью, как у Оленина, а «мотивы моральные, т.е. понятия нравственного долга, требования совести, человеческой солидарности и т.д.» (с. 187).

Автор, сопоставлявший Толстого и Ф.Ницше, обратил внимание на философское содержание «Кзаков»: «Толстой сочувствует философии старого казака, охотника Ерочки, который доказывал, что все люди равны, нет греха в пользовании благами природы и что нужно жалеть всех людей

и особенно любить природу» (Щеглов В.Г. Граф Л.Н. Толстой и Фридрих Ницше, Ярославль, 1898, с. 11). Д.С. Мережковский также особенно высоко оценил образ дяди Ерошки: «Эту первобытную мудрость воплощает действительный герой повести, старый казак дядя Ерошка, одно из величайших и совершеннейших созданий Л. Толстого, которое дает возможность заглянуть в самую темную, тайную, его собственному сознанию, может быть, никогда не открывавшуюся глубину существа его» (Мережковский Д.С. Л.Толстой и Достоевский. СПб., 1901, с. 23). Дальше Мережковский вспоминал Ерошку много раз, когда писал о «язычестве» Толстого, его стихийной художественной силе «тайновидца плоти».

В том же 1901 г., когда появилась книга Мережковского, статья о Толстом вошла в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Здесь С.А.Венгеров определил «Казачьи» как «первое из произведений, в которых великий талант Толстого дошел до размеров гения»: «Впервые во всемирной литературе с такою яркостью и определенностью была показана разница между изломанностью культурного человека, отсутствием в нем сильных, ясных настроений — и непосредственностью людей, близких к природе. <...> «Казачьи» не были своевременно оценены. Слишком тогда все гордились «прогрессом» и успехом цивилизации, чтобы заинтересоваться тем, как представитель культуры спасовал перед силою непосредственных душевных движений каких-то полудикарей» (Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 65. СПб., 1901, с. 453–454).

В 1900-е годы продолжали появляться журнальные, газетные статьи, где разбирались «Казачьи». Е.А. Соловьев, печатавшийся под псевдонимом В.Мирский, утверждал, что мысли, высказанные в повести, стали основой и сутью всего мирозерцания Толстого: «уже ясно слышны раскаты приближающихся громов против изолгавшейся культурной жизни» («Журнал для всех», 1902, № 11, стлб. 1336).

В статье 1907 г. «На закате дней. Величайший мастер слова» В.В.Розанов упомянул «Казачьи» рядом с «Войной и миром», «Анной Карениной», «Детством и отрочеством»: здесь «выразился чистый “дар Божий”, без того “приумножения” его, какого от человека требует Бог» («Русское слово», 1907, 12 сентября, № 209). И в следующей статье, с подзаголовком «Л. Толстой и быт», говоря о «доброй памяти», вместе с «Детством и отрочеством» назвал «Казачьи»: «...Кажется, тоже имеют причину написания себя в живом воспоминании» (там же, 5 октября, № 228).

Ю.И. Айхенвальд писал в связи с «Казачьи» — «одним из самых гениальных проявлений» творчества Толстого — о роковой «отторженности человека от природы» (Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. Вып. II. М., 1908, с. 125–126). «... Истинный смысл призыва назад, к природе, состоит не в том, чтобы вернуться в среду первобытных людей, а в том, чтобы природа была внутри нас, чтобы естественно было сердце, непосредственны и наивны были самые помыслы. Недаром у Толстого так часты мотивы обновления, страстное искание совершенства» (с. 128).

В.В.Вересаев, автор статьи «И да здравствует весь мир», в «Казачьи» нашел подтверждение своим идеям. Об Оленине в лесу здесь сказано: «Средь прекрасного мира — человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, целостного единства» («Современный мир», 1910, № 10, с. 180). Сравнивая героя Толстого с Мышкиным из романа Достоевского «Идиот», Вересаев отдавал предпочтение Оленину: «Для Толстого же этот

праздник — свой, родной. Он рвется в самую его гущу, как ласточка в воздух» (с. 181). Впрочем, по мнению Вересаева, «кончается роман тускло и нудно»: «Он навсегда уезжает из станицы. Жалок его отъезд. С глубоким равнодушием все смотрят на уезжающего, как будто он и не жил среди них. И ясно: Оленин стал всем чужд не потому, что не сумел удержаться на высоте своего самоотвержения, а потому, что в нем не оказалось жизни, — той жизни, которая ключом бьет в окружающих людях, — в Лукашке, Марьяне, дяде Ерощке» (с. 193).

В «Истории русской литературы XIX века», появившейся в год смерти Толстого, статью писал Р.В.Иванов-Разумник: «Подобно всем произведениям Л.Толстого, автобиографична и эта повесть: Оленин — слишком явный Лев, чтобы это стоило доказывать. Два героя в этом произведении: Оленин — Толстой, попавший в первобытную, нетронутую среду и радостно смыывающий с себя все румяна цивилизации, и второй герой — непосредственная, первобытная природа, представителями которой являются казаки и прежде всего дядя Ерощка» (История русской литературы XIX в. под ред. Д.Н.Овсяннико-Куликовского. Т. 5. М., 1910, с. 333). Сославшись на письмо Толстого 1863 г. Фету, автор утверждал: «Прошло еще тридцать лет, прежде чем Толстой вновь поставил и решил для себя те вопросы, которые ставил Оленин вслед за героем "Юности"... <...> Эта "сукровица" была в Толстом по существу одна и та же и в 1852 и в 1902 году» (там же, с. 334).

Переводы «Казак» на иностранные языки начали появляться в 1870-х годах.

Газета «Русские ведомости» 26 мая 1870 г. в заметке «Иностранные известия» извещала о предстоящем выходе в Брюсселе избранных повестей русских авторов в переводе на французский язык. В первом выпуске предполагался «Набег» и «Метель», в одном из следующих — «Казак». Издание, видимо, не состоялось.

В 70-е годы появился перевод на польский язык (отрывки) в газете «Dziennik Warszawski» (см. ЛН, т. 75, кн. 2, с. 253). В августе-сентябре 1878 г. «Journal de St.-Petersbourg» напечатал французский перевод Е.И.Менгден.

Английский перевод «Казак» вышел в Нью-Йорке в 1872 г.: «The cossacks: a tale of the Caucasus in 1852». Transl. by E.Schuyler; в 1878 г. издание было повторено и одновременно вышло в Лондоне. В том же 1878 г. в Нью-Йорке появился перевод Л.Винера (повторен в 1904 г. в собрании сочинений); в 1888 г. Л. Е. Кендэлл, Н.Х. Доула (этот повторен в 1889 г. в собрании сочинений). В 1910 г. серия «The world's classics», выходящая в Лондоне, опубликовала перевод Л. и Э.Моод.

Первый переводчик, бывший консул США в Москве Ю. Скайлер располагал краткими биографическими сведениями о Толстом и поместил их во вступительной заметке (первая публикация такого рода). В октябре 1878 г. И.С.Тургенев известил Толстого о большом успехе нью-йоркского и лондонского изданий перевода «Казак» (см. выше с. 303).

Появление английского перевода «Казак» вызвало информационные заметки учено-библиографических лондонских изданий — «Athenaeum» и «Academy». Русский перевод статей поместил Ф.И.Булгаков в изд. «Граф Л.Н.Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» (Изд. 2-е, ч. II. М., 1886, с. 102–106). В журнале «Academy» говорилось: «Граф

Лев Толстой, очевидно, гениальный человек. Рассказ не совсем удовлетворительно переведен на английский язык, но и в этой неудачной передаче нельзя не заметить в рассказе художественного чувства, силы и симпатичного направления». И затем приводился отзыв Тургенева, воспроизведенный Скайлером. В предисловии к третьему американскому изданию (1887) сам Скайлер заметил, что недостатки его перевода «не смогли заслонить великих достоинств автора».

Американский писатель Уильям Дин Хоуэлс писал, что его знакомство с Толстым началось с «Казаков», «этого вдохновенного описания природы и смутных, не вполне осознанных порывов юноши, стремящегося достичь гармонии с божественным идеалом истины и добра» (*ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 86).

Биограф и секретарь У. Уитмена Гораций Тробель передает разговор с поэтом в декабре 1888 г. Уитмен согласился с мнением собеседника: «Сущность Толстого, в конце концов, Уолт, это суть “Листьев травы”» (Traubel H. With Walt Whitman in Camden. N.Y. 1961. Vol. 3, p. 336). Позднее, в 1900 г., английский врач и писатель Генри Эллис заметил о «Казаках»: «Книга своими великолепно написанными картинами красоты природной мощи и здоровья напоминает иногда лучшие фрагменты произведений Уитмена» (Ellis H.H. The New spirit. Chicago, 1900, p. 94). См. Алексеева Г.В. Л.Н.Толстой и У.Уитмен: ретроспектива типологических сходжений и генетических контактов. — Толстовский сборник 2000. Материалы XXVI Международных Толстовских чтений. Ч. 1. Тула, 2000, с. 337.

Английские и американские авторы, писавшие о Толстом, много раз касались «Казаков». Ч.Э.Тёрнер в книге «Count Tolstoi as novelist and thinker», вышедшей в Лондоне в 1888 г., заметил: «Различие между культурой и природой, освящение грубой невозделанной природы духовным началом, на чем с таким энтузиазмом настаивает Толстой, формирует тему в рассказах о диких племенах Кавказа». И о герое повести: «Оленин забыл об одном: куда бы он ни направился, ему не уйти от самого себя, как бы ни изменились обстоятельства его жизни, сам он останется прежним» (с. 30–31).

В предисловии к сборнику, изданному в 1890 г., Эдмунд Госс писал о значении Кавказа в творчестве Толстого: «Это был край, овеянный романтической меланхолией, наполненный пушкинскими и лермонтовскими реминисценциями, куда Толстой, гений совершенно другого склада, отправился в 1851 г. Здесь и рождается Толстой как писатель, хотя он не опубликовал ничего из своих кавказских произведений до того, как покинул Кавказ в 1853 г.» (Work While ye Have the Light. By Lyof Tolstoi. With intr. of Edmund Gosse. London, 1890).

Несколько лет спустя Г.Перрис, соотечественник Госса, выпустил книгу под характерным заглавием «Великий мужик». Здесь о «Казаках» говорится: «Это безусловно великолепное художественное произведение с явными отзвуками Пушкина и Лермонтова, которое уносит нас далеко от этих поэтов байронической традиции и их чудного лиризма. Это проза о контрасте между цивилизованным человеком и естественным. <...> Здесь нет ни проповеди искусства для искусства, ни моральной дидактики. <...> Постепенное осознание власти исконных человеческих порывов и бессмысленности всех попыток скрыть их под покровом изящного или театрального — повторяющийся мотив в “Казаках”. <...> Оленин, немощное дитя цивилизации, в естественной среде оказывается беспомощным. Он явно проигрывает на фоне такой фигуры, как Ерошка <...> на фоне природной кра-

соты Марьянки и сообразительного и безжалостно-отчаянного казака Лукашки» (Perris G.H. Leo Tolstoy. The grand mujik. A study in personal evolution. London, 1898, p. 49).

Позднее Перрис писал об «отвращении от цивилизации», посетившем Толстого раньше и нашедшем на Кавказе подтверждение: «Главным результатом этих впечатлений стали “Казаки”» («The Bookmen» Booklets. Leo Tolstoy. By G.K.Chesterton, G.H.Perris etc. London, 1903, p. 12).

Год спустя американец Эдвард Штайнер выпустил книгу «Толстой как человек»: «Две мысли, которые Толстой начинает утверждать с самых первых рассказов, ярко выражены в “Казаках” и с еще большей силой получают развитие в каждом из последующих произведений. Первая мысль касается очищения и роста личности через освобождение от предрассудков и порочных наслоений нашей культуры. Вторая говорит о том, что при отсутствии влияния культуры мы обнаруживаем достоинства, которыми общество должно обогатить себя ради собственной эволюции и спасения. Он везде соединяет эти две мысли одним и тем же образом. Первую — воплощая в тщательном анализе собственного я, в котором видит не только самого себя, но и всех людей своего класса, запутавшихся в сетях цивилизации, испорченных культурой, которых он неутомимо анализирует, оценивает и обвиняет. Вторую мысль он развивает, рисуя характеры простых людей, которых видит чистыми, не испорченными культурой, будто они только что вышли из рук Творца. Подобно скульптору, который находит подходящий сорт глины и, нежно, но твердо касаясь ее, придает ей форму, Толстой использует этот сырой материал, чтобы выявить то прекрасное, что в нем сокрыто, забывая, однако, подобно скульптору, что это прекрасное он создает сам» (Edward A. Steiner. Tolstoy the man. N.-Y., 1904, p. 71).

В том же году в Лондоне и Нью-Йорке вышла книга Т.Ноулсона, где ранний период сопоставлялся с поздним. «Значение “Казаков” в неутомимой любви к естественной жизни <...> это чувство, столь характерное для современного толстовства, тогда только зарождалось <...> Жажда жить по законам природы заставила его предпринять длительное путешествие туда, где, казалось, все можно было оставить в прошлом, и по мере того, как он приближался к Кавказу, внутренний голос говорил ему: теперь начинается новая жизнь» (T. Sharper Knowlson. Leo Tolstoy. A biographical and critical study. L. and N.-Y., 1904, p. 37).

Всплеск переводов приходится на середину 80-х годов и связан с появлением статей и книги Мельхиора де Вогюз о русском романе. В 1886 г. вышло сразу два французских издания: «Les cosaques. — Souvenirs de Sébastopol», повторенные затем в 1890, 1901 и 1903 гг. В 1901 г. повесть была издана в серии «Auteurs célèbres», а в 1902 г. в переводе Ж.В.Бинштока с комментариями П.И. Бирюкова вошла в собрание сочинений.

Мельхиор де Вогюз, оценивая значение повести в истории русской литературы, написал: «“Казаки” начинают новую литературную эпоху, провозглашают окончательный разрыв с байронизмом и романтизмом в центре тех самых укреплений, где в продолжение тридцати лет удерживались эти могучие власти» (Вогюз Мельхиор де. Современные русские писатели. Толстой — Тургенев — Достоевский. Лев Толстой. М., 1887, с. 14–15). Имелся в виду Кавказ. Толстой «заменил лирические видения своих предшественников прямым взглядом на вещи и людей» (с. 16). По поводу образа Марьяны Вогюз заметил: «Тот, кто изучал восток и убедился в лживости восточных типов, сфабрикованных европейской литературой, найдет

в «Казаках» поразительное отражение этого нравственного мира, столь несходного с нашим» (с. 17). И далее утверждал, что никогда впоследствии Толстой, посвятивший себя изучению человеческого сердца, не находил в себе такого глубокого чувства природы, наплыва пантеизма.

Ромен Роллан, в конце 80-х годов увлеченный русскими писателями и философом Спинозой, подлинными откровениями «божественности жизни», нашел в «Войне и мире» и «Казаках» «ту же веру в жизнь в сочетании с великой любовью ко всему живому» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 79). Позднее в работах о Толстом Роллан с восторгом отзывался о «Казаках».

В 1885 г. «Казаки» были изданы в Берлине: «Die Kosaken. Kaukasische Novelle». Übers. v. G. Keuchel; издание повторено в 1886, 1888, 1890, 1893 гг. В 1889 г. появился перевод Л.А.Гауффа, в 1891 г. — Г.Роскошного, тогда же — Р. Лёвенфельда (повторен в 1897, 1901, 1910 г.). В издании 1908 г. перевод и вступительная статья Ф.М. Балте.

Немецкий критик Е.Цабель (его книга «Очерки литературной России» появилась в 1885 г.) назвал повесть «Казаки» «перлом среди кавказских рассказов» (Цабель Евгений. Граф Л.Н. Толстой. Литературно-биографический очерк. Перев. с нем. Владимира Григоровича. Киев, 1903, с. 50). «...Содержание этой повести, целиком взятое из действительной жизни, по меньшей мере столь же поэтично, как и традиционная романтика» (с. 52).

Рафаил Лёвенфельд биографическую книгу о Толстом, вышедшую в 1892 г., закончил разбором «Казаков». Известно, что, работая над этой книгой: «Graf Leo Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung», автор встречался с Л.Н. и С.А.Толстыми, а Толстой просматривал корректуры. Подтвердив автобиографическую суть повести, Лёвенфельд заметил: «Впрочем, в основу самой фабулы рассказа легло событие не из жизни Толстого, а из жизни одного офицера, который рассказал о нем Льву Николаевичу ночью во время совместного путешествия» (Лёвенфельд Рафаил. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. Перев. с нем. С. Шклявера. СПб., 1896, с. 72). Далее сказано: «В «Казаках» Толстой раскрыл перед нами целую область своей душевной жизни» (с. 82). Но, по мнению биографа: «В этом рассказе Толстой говорит уже не от себя: сила его творчества так окрепла, что он в состоянии отделиться даже от пережитого им лично и изобразить это пережитое как нечто для него чужое. «Казаки» самое зрелое из всех произведений первого периода литературной деятельности Толстого» (с. 84–85). Заключил свой разбор критик словами: ««Казаки» представляют собою произведение настолько законченное, что почти невозможно представить себе его продолжение. Неудивительно поэтому, что Толстой не осуществил своей мысли. Вторая часть не сделала бы его произведение более сильным и глубоким, а, вероятно, только нарушила бы чудное равновесие его частей» (с. 85).

На датском языке «Казаки» были впервые изданы тоже в 1885 г.: «Kosakkerne. Novelle fra Kaukasus». Overs. af W.Gerstenberg. Издание повторено в 1890 г. В 1886 г. изданы вместе с рассказами «Три смерти» и «Набег». В 1910 г. появился новый перевод М.Иенсена.

В 1886 г. повесть вышла в Стокгольме на шведском языке: «Kosackerna». Övers. av O.H.D. и в Амстердаме на голландском: «De kozakken. — Tafereelen uit het beleg van Sebastopol». Vert. door F. van Burchvliet. Позднее на шведском издавалась в 1903 и 1910 г., на голландском в 1904, 1908 и в 1905 г. (в переработанном переводе J. van Duuren).

Голландский почитатель Толстого Стенли Уизерс писал 28 января 1889 г.: «Не могу удержаться, чтобы не сообщить Вам, с каким восторгом встречают мои соотечественники ваши книги, которые стали выходить у нас по-английски. Многие из нас имели счастье познакомиться с ними несколько лет назад во французских переводах, но теперь, когда их переводят и на наш язык, интерес, с которым читающая публика встречает каждый ваш том, ни с чем не сравним. “Утро помещика”, “Казаки”, “Смерть Ивана Ильича” — вот пока то, что издано г. В. Скоттом» (*ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 337).

В специальной статье, посвященной Толстому, видный историк литературы Конрад Бюскен Хьюэт писал о русских романистах (Гоголе, Тургеневе, Достоевском, Толстом) как «сочетающих искусство и природу, глубокие познания и оригинальность, изящество и силу». В «Казаках» отмечал личный опыт автора «не столько в изображении молодого казака, сколько в образе молодого русского светского человека, сына века, полу-скептика, полу-верующего, тонко настроенной, ищущей души». В картинах казацкой жизни критик увидел «тонкость наблюдения, правдивость, живость» и выдвигал на первый план в Толстом и русской литературе вообще изобразительную силу писателя, а не идеи («*Litterarische Fantasien en Kritieken*», 23, Haarlem, 1886, p. 164–172).

Другой голландский автор, Frédéric Lyncée (наст. имя F. Lapidoth) в этюде «История развития Толстого» выделял свойственное создателю «Казаков» «настоящее чувство красоты природы», видел в Оленине «духовного брата, если не alter ego Толстого»: «Непреодолимая пропасть разделяет природного и цивилизованного человека. На этом основывается простая интрига, придуманная Толстым, чтобы эстетически оправдать и связать многочисленные описания природы» («*Los en Vast*», 1886, № 4, p. 360–364). (Сообщено Эриком де Хаардом.)

В 1886 г. отрывок из «Казаков» напечатан в румынском журнале «*Revista generala*»; в 1887–1888 гг. отрывки в сербскохорватских изданиях «Обзор» и «Неманья». Полный перевод на сербскохорватский язык появился в 1904 г. в газете «Дневни лист»; в 1905 г. издана книга (перевод А. Харамбашича).

В 1889 г. в Праге вышел чешский перевод: «*Kozáci*». Pfel. B.V. a L.K. — Spisy. Sv. I; повторен в 1899 г. В 1908 г. появился новый перевод Борживоя Прусика.

В 1892 г. в Мадриде испанский: «*Los casacos (Colección de libros escogidos. 48)*»; в 1905 г. — в т. 2 собрания сочинений.

В 1893 г. «Казаки» изданы в Японии. Перевод выполнил писатель Таяма Катай с «плохого американского издания», как заметил сам переводчик в следующем издании — 1904 г. В той же вступительной заметке 1904 г. говорил о: «“Казаки” Толстого — замечательное произведение. Толстой создает своего героя, молодого офицера из дворян (самого себя), и его глазами смотрит на жизнь людей, дает этнографические очерки Кавказа. Этого достаточно, чтобы узнать, как этот северный титан, мыслящий очень чисто, в молодости страдает».

В 1906 г. японец Сираянаги Сюко, писатель и публицист социалистической ориентации, поместил в журнале «Кабэн» («Огненный кнут»), № 4, статью «Толстой как литератор». Отметив «большое влияние» на молодого Толстого идей Руссо, японский критик писал о столкновении в «Казаках» естественной и неестественной жизни: «Молодой человек, увлекавшийся поверхностной цивилизацией, втайне презирал первобытное сознание простых людей, в станице он хотел предпринять какое-нибудь цивилизованное

дело, удивить их. Но ни в уме, ни в силе он не может превзойти этих естественных людей. В конце концов он надеялся, по крайней мере, на победу в любви, но и здесь был отвергнут как человек неприятный и слишком изнеженный». (Сообщено Янаги Томико.)

В 1895 г. появился итальянский перевод, затем — в 1900, 1903, 1904. В 1900 г. — венгерский (перев. М. Rósná); в 1904 г. — болгарский; в 1907 г. — финский; в 1908 г. — словенский.

С. 7. *В одном из окон Шевалье...* — Гостиница и ресторан И. Шевалье находились в Москве в Старогазетном переулке (Камергерский, 4).

С. 14. *...с образами Амалат-беков...* — Амалат-бек — герой одноименной повести (1832) А.А. Бестужева-Марлинского.

С. 18. *...лычи и раины...* — Лыча, или алыча, дерево из породы сливовых; раина — ракета, южный пирамидальный тополь.

...кордоны... — В рукописях «Кзаков» пояснено: «Казачий промежуточный пикет».

...буруны... — В рукописях пояснение Л.Н. Толстого: «Бурунами называются песчаные невысокие горы, которыми начинается Ногайская степь, лежащая на север линии».

С. 20. *...бешмет...* — Восточное платье; у женщин — верхнее, у мужчин сверх него носится черкеска.

С. 21. *...с высокими князьками.* — Князек — верхний стык стропил и скатов, гребень, конек.

...лозы травянок... — Травянка — несъедобная узкая и длинная тыква, из которой делают сосуды для жидкости.

С. 22. *...скрипящую арбу...* — Арба — телега или повозка, обычно двухколесная.

...серебристых шамаек... — Шамая (шамайка) — рыба из семейства карповых.

...дым кизяка. — Кизяк — высушенный навоз, употребляемый на Кавказе как топливо.

Бабука... — В рукописях есть пояснение Л.Н. Толстого: «В гребенских станицах всех безразлично называют уменьшительными именами, но учтивость требует прибавления слов: нянюка для девки, бабука для бабы, батяка или дедука для мужчины, смотря по годам».

С. 23. *...из закуты...* — Закута — хлев для скота.

...молоко переделывается в каймак... — Каймак — густо уваренные сливки или молоко.

С. 26. *...ноговицы...* — Часть одежды, защищающая ноги.

...джигитам. — В рукописях «Кзаков» пояснение: «Молодец-наездник».

С. 27. *...чихирь...* — Красное вино домашнего изготовления.

С. 28. *...замордую...* — Замордовать — затравить.

С. 31. *...карга...* — См. объяснение в гл. XI.

С. 33. *...пльвущие по нем карчи.* — Карча — коряга, дерево с корнями, подмытое и снесенное водою.

...расставил подсошки... — Подсошка — подпора, подставка, на которую опирают ружье при стрельбе.

С. 34. *Дай натруску...* — Натруска — пороховница, прибор для подсыпания пороха на полку ружья.

С. 36. *...каюк...* — Небольшая лодка.

- ...монета... — Или монет, металлический рубль.
- ...байгуш... — Бедняк, нищий.
- С. 37. ...чакалка... — Шакал.
- С. 38. *Фуришаты*... — Солдаты, ведающие военным обозом.
- С. 43. ...кунаки... — Друзья.
- С. 45. ...няюка... — См. прим. к с. 22.
- ...ливер... — Насос для натягивания напитков из бочки.
- С. 48. ...дедука... — См. прим. к с. 22.
- С. 49. ...уставицики длиннополые... — В рукописях пояснение Л.Н. Толстого: «Уставщик — раскольничий поп».
- С. 50. *Мамука*... — Гребенская казачка.
- С. 53. ...царица была... — Екатерина II, российская императрица в 1762–1796 гг.
- С. 55. ...белом курпее на шапке... — Верх на шапке из овечьей шкурки (мерлушки).
- ...сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля... — В рукописях пояснение Л.Н. Толстого: «Гребенские казаки—раскольники, и их брак не признается нашим правительством».
- С. 57. ...чамбары... — Штаны из выделанной козьей кожи.
- С. 59. ...живучи в Сиони. — Сион — юго-западная часть Иерусалима. В фольклоре Сионом назывался Иерусалим.
- С. 60. ...несколько пустых хозырей... — Хозырь — нашивки на черкеске для патронов.
- С. 63. ...Нимврод Египетский ~ Ловец пред господином. — В ветхозаветной мифологии богатырь и охотник, «ловец пред Господом». Быт. 10: 8, 9.
- С. 64. ...дары Терека. — Название стихотворения М.Ю.Лермонтова. «Дары Терека» (1839) «принадлежит к циклу песен и баллад, навеянных мотивами гребенского казачьего фольклора, с которым поэт познакомился во время поездок по предгорьям Кавказа» (Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 126).
- ...испить родительского... — Родительское — виноградное вино (которым поминают и родителей).
- С. 67. *Карагачевый*... — Карагач — черное дерево.
- С. 68. ...о Куперовом Патфайндере... — Герое романа Ф.Купера «Следопыт» («The Pathfinder»).
- Рогаль!* — Олень.
- С. 71. ...зарьявшая собака... — Зарьять — задохнуться, надорваться с перегону или от жажды.
- ...лактать... — То же, что лакать,— пить.
- С. 74. ...коробчит. — Коробчить — воровать, обманывать.
- С. 77. ...мюрид... — Послушник у мусульман.
- С. 81. ...охленью... — Верхом без седла.
- С. 84. ...*Les trois mousquetaires*. — Роман А.Дюма.
- С. 96. ...тавлинская песня. — Горская песня (таvlo — гора). У.Б.Далгат в книге «Л.Н.Толстой и Дагестан» сделала пояснение: «Упоминаемый Толстым в “Казаках” припев “тавлинской песни” — “Ай, дай, далалай” — действительно очень распространен в Дагестане и является почти неотъемлемой принадлежностью большинства дагестанских песен. По этому припеву многие дагестанские песни так и называются “Даллай”. Несомненно, что самому Толстому не раз приходилось слышать этот типичный даге-

станский припев народных песен, который он и запечатлел с абсолютной точностью в своих "Кзаках".

В те времена, когда Толстым писались "Кзаки", дагестанская песня-припев "Даллай" еще нигде не была записана. Обстоятельство это полностью подтверждает нашу уверенность в том, что песню эту Толстой слышал и записал вполне самостоятельно. Упоминание же этой песни в печатных источниках появилось только спустя несколько лет после записи Толстого, когда в Тифлисе стал издаваться "Сборник сведений о кавказских горах". Любопытный Толстой не упустил пометить эту песню в "Сборнике" и кроме того записал ее и в своей записной книжке, относящейся уже к 1896 г.» (Далгат У.Б. Л.Н.Толстой и Дагестан. Махачкала, 1960, с. 16-17).

...логнал баранту... — Баранта — стадо овец.

С. 98. Запах чапры... — Чапра — виноградный сок.

С. 102. ...шепталок дам... — Шептала — сушеные персики.

С. 105. ...запахом душицы... — Душица — лесное растение, употребляется как пряность.

С. 115. ...за нитку монистов... — В рукописях пояснение Л.Н. Толстого: «Нитка с украшениями — большей частью серебряными или золотыми монетами, которую казачки» (фраза не закончена).

С. 125. ...вел проездом... — Проезд — ход лошади между шагом и бегом.

С. 126. ...предсмертную песню. — В статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», первом ее разделе, появившемся в январской книжке журнала «Ясная Поляна» (вышла в феврале 1862 г.), Толстой писал о своих рассказах детям «об абреках, о казаках, о Хаджи-Мурате»: «Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. "Зачем же он песню запел, когда его окружили?" — спросил Семка. "Ведь тебе сказывали — умирать собрался!" — отвечал огорченно Федька. "Я думаю, что молитву он запел!" — прибавил Пронька. Все согласились».

С. 127. Ана сени! — Кумыцкое ругательство, означающее: Да умрет твоя мать!

ПОЛИКУШКА

Впервые: «Русский вестник», 1863, № 2, с. 587-644 (ценз. разр. 29 марта 1863 г.). Подпись: Граф Лев Толстой.

Рукописный фонд составляет 106 листов.

Печатается по тексту «Русского вестника» со следующими исправлениями:

С. 143, строки 17-18: подергивая бородкой — *вместо*: поддерживая бородку (по А).

С. 154, строка 10: подступил с сжатыми кулаками — *вместо*: подступил с сжатым кулаком (по А).

С. 155, строка 14: Ни от чего в свете столько греха, как от денег — *вместо*: Ничего в свете столько греха, как эти деньги (по К).

С. 158, строка 12: немытом платье — *вместо*: но мятом платье (по А).

С. 160, строки 34-35: эту разнородную толпу женщин, стариков, детей — *вместо*: эту разнородную толпу женатых, стариков, детей (по А и К).

С. 165, строка 34: отталкивая руку Дуняши — вместо: отыскивая руку Дуняши (по А).

Повесть «Поликушка» входила во все прижизненные собрания сочинений Толстого, начиная с двухтомника изд. Ф.Стелловского (СПб., 1864).

Точная дата начала работы Толстого над повестью неизвестна. Впервые она упомянута в дневниковой записи 6 мая 1861 г.: «Завтра с утра Поликушка и читать положения». Некоторые данные говорят о том, что к этому времени скорее всего уже существовала черновая рукопись и в записи, сделанной в Ясной Поляне, речь шла о намерении продолжить работу, начатую в марте этого года за границей. В «Кратком биографическом очерке, написанном со слов графа Л.Н.Толстого женой его гр. С.А.Толстой 25-го октября 1878 года» С.А.Толстая сообщала: «В Иере умер брат Льва Николаевича, и он, сам заболев сильно кашлем, поехал в Италию — Рим, Неаполь и, наконец, в 1861 в Лондон. <...> Брюссель. Тут написал он "Поликушку", напечатанную уже в 1862 году в "Русском вестнике"» (ЛН, т. 69, кн. 1, с. 514). Толстой прибыл в Брюссель в начале марта, выехав из Лондона 5 марта 1861 г. по старому стилю, а покинул его в конце марта (28-го он был уже в Германии). Косвенными подтверждениями того, что дошедший до нас черновой автограф повести был написан в марте 1861 г. в Брюсселе, А.С.Петровский считал упоминание о лорде Пальмерстоне, которого автор «недавно видел» в Лондоне (речь идет о посещении Толстым английского парламента в конце февраля) и запись на обороте 47-го листа рукописи об Иоакиме Лелевеле, с которым Толстой познакомился в Брюсселе в марте 1861 г. (Юб., т. 7, с. 346).

Черновой автограф, хотя и не целиком сохранившийся, дает довольно полное представление о первоначальном этапе работы Толстого над повестью. По нему можно проследить формирование сюжета, изменения в расстановке действующих лиц и в их характеристике. Наибольшие изменения претерпел образ старика Дутлова. Сначала в связи с его пассивной ролью в сюжете в характере Дутлова подчеркивались черты, которые должны были вызвать жалость и сочувствие: «Семен Дутлов был мужичок невысокий, с кривыми от работы ногами, с раздвоенной полуседой бородой и с тонкими, но изнуренными чертами лица. Он был мужик степенный, молчаливый и рассудительный»; «Вся фигура и одежда его носила отпечаток аккуратности и довольства, расчетливо<сти>».

Уже пройдя эту сцену, Толстой снова вернулся к ней и сделал вставку на двух листах (6 и 7) с еще более подробным описанием внешности Дутлова. Эта вставка, хотя и не была вычеркнута в автографе, в копию не вошла. Из всех подробностей описанной здесь внешности Дутлова в окончательном тексте остались лишь огромные лапти и лутошка. Как видно из эпизода, следовавшего в черновом автографе сразу за сценой сходимки (что соответствует концу VI главы), Дутлов первоначально не нес весь груз ответственности за печальную судьбу племянника. Его голос не был решающим в семье, потому что он уже передал хозяйство старшему сыну Игнату. «Что было, отдали Игнату, — сказал старик, — а мое дело теперь Богу молиться, к концу готовиться. Игнат знает. Он вам хозяин, его и слушай». Помимо чисто экономических мотивов нежелания купить рекрута за Илюшку («Где же нам 1000 рублей, легко ли дело 1000 рублей. Где их возьмешь? Продай все, да хуже Шинтяка (самый бедный мужик в деревне), да и то не одолеешь», — возражает Игнат на просьбу матери спасти Илью от солдат-

чины) Толстой вводит мотивы психологические. Для этого потребовалось охарактеризовать членов семьи Дутловых и описать их взаимоотношения. Несомненной симпатией писателя пользуются молодожены Илюшка и Аксинья, которая «только недавно взята была из другой деревни, за 100 рублей куплена. Эта была первая красавица, игрунья, щеголиха и песенница, по всей деревне». «Игнатовая хозяйка была худая курносая крикливая баба», которую не любила даже ласковая ко всем старушка свекровь. Она уверила Игната, «что отец хочет отдать Илье все и что Илья с Аксиньей подводят старшего брата». «Больше чем черная кошка пробежала между братьями, они и жены их ненавидели друг друга». Поэтому Игнат уверяет, что «невозможно выручить 300 рублей на рекрута».

В первоначальном варианте и вставку Илью везет не старик Дутлов, а Игнат. Поверх текста эпизода на постоялом дворе Толстой написал: «Дутлова нет». Однако впоследствии Игнат везде заменен Дутловым. Колебался Толстой и в определении состава семьи Дутловых. В рассмотренном фрагменте, не вошедшем в окончательный текст, речь идет о трех братьях: старшем Игнате, среднем Василии и младшем Илье. В начале чернового автографа Илюшка (названный Лазуткой) является работником Дутлова, затем приемным, которого Дутлов собирался женить на своей дочери, и наконец племянником. Племянников у Дутлова то двое, то один. В окончательном тексте в эпизоде сходки (глава V) говорится о племянниках, но в дальнейшем фигурирует один Илья.

В черновом автографе много внимания уделено жене Илюшки, прототипом которой в значительной мере послужила яснополянская крестьянка Аксинья Базыкина. В дальнейшем сюжетная линия Дутловых была сильно сокращена, и на первый план вышла трагедия Поликея.

Устраняя в процессе работы над повестью лишние описания, подробные характеристики второстепенных персонажей, Толстой укрупнял фигуру старика Дутлова, который наряду с Поликеем становился вторым главным героем произведения. В окончательном тексте Дутлов сам принимает все решения, его душа предстает полем битвы разноречивых чувств.

Следующий этап работы Толстого над повестью относится к осени 1862 г. По свидетельству Софьи Андреевны, Толстой дал ей переписывать черновую рукопись в первые же дни после их свадьбы, состоявшейся 23 сентября 1862 г. 26 октября этого года С.А.Толстая писала своей сестре Т.А.Берс: «Списываю повесть “Поликушку”, которую тоже пошлем печатать» (ГМТ). Сохранившаяся копия в основном точно воспроизводит черновой автограф, но есть и различия. В копию не попало, хотя и не было вычеркнуто в автографе, подробное описание внешности Дутлова — вставка на 26-й лист автографа, над которой Толстой работал очень тщательно (выделяются четыре варианта этого фрагмента). Отказался Толстой и от другой вставки — занимавшего несколько страниц описания семейства Дутловых. Начало вставки зачеркнуто в автографе, середина утрачена, конец не зачеркнут, но в копии отсутствует. Есть и противоположный случай, когда в копии рукой С.А.Толстой написана фраза, которой нет в автографе. Возможно, имело место устное указание на этот счет или диктовка.

Некоторые ошибки копии Толстой заметил и внес правку, не обращаясь к автографу и создав новый вариант; большую часть различий он оставил без внимания. В копии рукой Толстого вписано название «Поликушка» и сделано разделение на главы. Правка, проведенная по всему тексту, лишь местами (в главах IX, XIII, XIV) значительна: большие куски текс-

та вписаны на полях, вычеркнуты фрагменты. Так, в начале гл. XIV Толстой убрал внутренний монолог Дутлова, размышляющего о том, как употребить подаренные барыней деньги: «Новый штурб купить, поставить рядом?.. Нет, теперь семья меньше стала, солдатка уйдет, и в одной просторно будет, еще тройку собрать, работника нанять?» У него не возникает мысли купить за племянника рекрута. «Вот Бог даст, думал он, попади жребий сыну, все бы отдал...» В других случаях добавлены отдельные уточняющие слова или фразы, поставлен знак абзаца. В целом копия мало отличается от текста, напечатанного в «Русском вестнике». Однако конец (большая часть гл. XV) был переписан заново в несохранившихся наборной рукописи или корректуре.

Повесть была предложена Толстым М.Н.Каткову в письме от 9 октября 1862 г. Сообщая о том, что не успевает закончить обещанных «Русскому вестнику» «Кзаков», Толстой спрашивал, нельзя ли вместо этого прислать «повесть листа в 3», написанную «года полтора назад». Посылая Каткову начало «Кзаков», Толстой писал 28 ноября 1862 г., что другая повесть («Поликушка») готова и будет прислана «тотчас же после этой».

В январе 1863 г. Толстой читал неопубликованную еще повесть в Москве. 5 января он записал в дневнике: «Поликушка мне не нравится. Я читал его у Берсов».

Вторая, февральская книжка «Русского вестника» с «Поликушкой» вышла в свет с опозданием. Катков писал Толстому 11 марта 1863 г., что «очаровательный» рассказ «Поликушка» «печатается во 2-й книжке, которая скоро выйдет» (ЛН, т. 37–38, с. 199). Печатание № 2 «Русского вестника» было дозволено цензурой 29 марта, а 30 марта в № 70 «Московских ведомостей» объявлено о его выходе.

По свидетельству С.М.Гейден (урожденной Дондуковой-Корсаковой), в основу сюжета «Поликушки» положен случай, рассказанный Толстому во время его пребывания в Брюсселе в 1861 г. 13 апреля 1888 г. С.М.Гейден вспоминала в письме к Толстому: «27 лет тому назад, в Брюсселе, видались мы с Вами чуть ли не каждый день <...> Надеюсь, что из Вашей памяти не совсем изгладилось воспоминание <...> о сестрах моих, из которых одна рассказывала Вам фабулу “Поликушки” — быть из наших мест» (Юб., т. 7, с. 345). Имение князей Дондуковых-Корсаковых село Глубокое находилось в Псковской губ. Воспользовавшись рассказанным случаем, Толстой взял обстановку жизни крестьян, дворовых и барыни из знакомых ему мест — Ясной Поляны и ее окрестностей. С.А.Толстая писала Н.В.Давыдову 24 сентября 1919 г.: «Тип Поликушки взят Львом Николаевичем с яснополянского дворового человека. Тип барыни, как мы рассудили с сестрой Татьяной Андреевной, взят с гр. Елизаветы Александровны Толстой <...> Она была сестра Татьяны Александровны Ергольской, жила в своем имении Покровском, Чернского уезда» (там же, с. 347; в Ясной Поляне хранится черновик этого письма).

В записной книжке Толстого встречаются имена и фамилии реальных людей, использованные писателем в повести: Поликей, Дутловы, Резун, Ермилены. Фигурируют некоторые из них и в других произведениях Толстого этого времени. Так, плотник Резун с похожей характеристикой говоруна и умного мужика является персонажем неоконченного «Дневника помещика». Семейство Дутловых, с сыновьями Игнатом и Илюшкой описано в «Утре помещика», в «Идиллии»; они же в «Тихоне и Маланье» именуются

Ермилиными. По свидетельству С.Л.Толстого, прототипами Дутловых была яснополянская семья Зябровых, называвшаяся также Ермилиными (Толстой С.Л. Ясная Поляна в творчестве Л.Н.Толстого. — Ясная Поляна. Статьи. Документы. М., 1942, с. 98). Использованы в «Поликушке» имена и других реальных лиц. У графини М.Н.Толстой в Покровском был приказчик Егор Михайлович, а у бабушки Толстого П.Н. Толстой — горничная Агафья Михайловна. В Ясной Поляне была также и лошадь по имени Барбан.

Флигель, в котором жил Поликей с семьей, напоминает, по словам С.Л.Толстого, помещение для дворовых в Ясной Поляне (там же, с. 99).

Следующий фрагмент из «Яснополянских записок» Д.П.Маковицкого свидетельствует о том, что в гл. XV повести, в сцене сна старика Дутлова, Толстой использовал рассказ одного из крестьян о встрече с домовым:

«Л.Н. вспоминал:

— В Угрюмах было четыре лошади. Когда они линяли, надо было их мазать. При них ночевал мужик. Он рассказывал, как пришел домовый в конюшню: “Сначала ударил лошадь по хребту, а потом навалился на меня и начал меня давить и душить”.

Я: Это описано в “Поликушке”» (ЛН. т. 90, кн.1. с. 207).

Первым на появление в печати «Поликушки» откликнулся А.А.Фет, прочитавший повесть 10 апреля. На следующий день он написал Толстому письмо с подробным разбором нового произведения. Оценка Фета, оговорившего предварительно право высказывать Толстому «свое мнение начистоту», была резко отрицательной. Речь в его отзыве шла не об отдельных недостатках в художественном исполнении — их он как раз не находил, а о неприятии произведения в целом. «Вам нечего радоваться, — писал он, — что Вы мастерски справились с тем или другим сюжетом. Это Вам Бог дал такой сильный живот. Но он же дал Вам нос художника. Зачем же Вы в угоду художнического искания *нового* позволяете себе искать его там, где претит». Фет выступал даже против самого незначительного расширения сферы изображения в литературе и упрекал Толстого за обращение к жизни дворовых. «Плесень народа не может иметь, то есть не должна иметь повествователя. А наши бывшие дворовые менее самых отвратительных негров (зри дядю Тома) имеют право на перо первоклассного писателя. Мужики — другое дело — они хоть варвары — но люди. Дворовые — не люди и никому не понятны в одежде претензии на людей. И каков же результат? Вы бились всеми силами стать на Божески недоступную точку, хотели быть отрешенным судьей, а стали как будто в отсталые ряды адвокатов. Это мне больно! Подумайте — Вы и адвокатура в поэзии. Возможно ли это. <...> Нет, Вы солнце, — ну и сияйте жарко, мягко, как хотите, но сияйте, а не стряпайте в темной закоптелой печи». Сравнивая «Поликушку» с «Казакками», в которых, по мнению Фета, «все человечно, понятно, ясно, ярко — сильно», он заключал: «В “Поликушке” все рыхло, гнило, бедно, больно <...>. Все верно, правдиво, но тем хуже. Это глубокий широкий след богатыря, но след, повернувший в трясину.

Скажу последнее слово. Я даже не против сюжета. А против отсутствия *идеальной чистоты*. <...> Самая вонь должна в создании благоухать, перешедши durch den Labirint der Brust <через лабиринт сердца> художника. А от “Поликушки” несет запахом этой исковерканной среды. Это какие-то вчерашние зады» (*Переписка*, т.1, с. 362, 363).

В ответном письме от начала мая 1863 г. Толстой не стал опровергать доводы Фета, объяснив, что не придает серьезного значения вышедшей из-под его пера повести: «Я живу в мире столь далеком от литературы и ее критики, что, получая такое письмо, как ваше, первое чувство мое — удивление. Да кто же это такое написал “Казачи” и “Поликушку”? Да и что рас-суждать об них. Бумага все терпит, а редактор за все платит и печатает. <...> “Поликушка” — болтовня на первую попавшуюся тему человека, ко-торый “и владеет пером”...».

Первый отзыв в печати появился 15 апреля 1863 г. в № 90 «Сына отече-ства» и был также неблагоприятным для Толстого. Анонимный автор ста-тьи «Что нового в журналах?», отдавая должное художественной стороне произведения («Как и все повести графа Л.Н.Толстого, она написана мастерским пером <...>; во всей повести вы найдете не одно место, от которого придете в восторг, — так хорошо передана сцена»), объявлял идею «Поли-кушки» ложной, ситуацию, изображенную в повести, нереальной и неесте-ственной, характер Поликея выдуманым, а его внезапное нравственное перерождение невозможным. Критик обнаружил полное непонимание замысла писателя и свел всю проблематику повести к идее перевоспитания вора. В заключение он обвинил Толстого в «клевете на жизнь».

В напечатанном через месяц «Одесским вестником» обзоре «Литера-турные листки. VIII» В.Чибисов (подпись В.Ч.) объединил в своем анализе «Поликушку» с рассказом А.П.Голицынского «Дьявольское наваждение» в качестве примеров того, что «мотивы рассказов теперь не — любовь, а — деньги, корысть, на почве которых обрисовываются характеры людей». Признав, что рассказ Толстого «блещет, в частности, живо схваченными красками и чертами быта, — и читается с интересом, благодаря мастерству изложения», критик отказал ему в значительности содержания: «... Затро-нуто любопытство, и только. Блестящие камешки, точно в калейдоскопе, занимают зрение, не дают ему пресытиться и влекут за собою все вперед и вперед...».

А кончишь — и невольно является вопрос: к чему потрачено столько таланта, наблюдательности и ума? Какая высшая цель руководит такой ра-ботой?» («Одесский вестник», 1863, 16 мая, № 53).

Более благосклонен к «Поликушке» был критик «Северной пчелы», чья статья «Русская критика и художественная этнография», как следует из подзаголовка (1) К а з а к и (Кавказская повесть 1852 года). Графа Л.Н.Толстого. «Русский вестник». 1863 г. № 1-й. 2) П о л и к у ш к а (Рас-сказ). Графа Л.Н.Толстого. «Русский вестник». 1863 г. № 2-й), имела в виду разбор двух произведений. Однако фактически вся рецензия посвящена «Казачкам», которым дана высокая оценка, и только в последней фразе речь идет о повести «Поликушка», названной по ошибке «Пастушка»: «Все нами сказанное о “Казачках” относится и к другому прекрасному очерку гр. Л.Н.Толстого “Пастушка” также в “Русском вестнике”» («Северная пчела», 1863, 19 сентября, № 247).

По достоинству оценил повесть И.С.Тургенев, вернувшийся в январе 1864 г. из-за границы в Россию. В письме к А.А.Фету из Петербурга от 25 января (6 февраля) этого года Тургенев делился своим впечатлением: «Про-чел я после Вашего отъезда “Поликушку” Толстого и удивился силе этого крупного таланта. Только материалу уж больно много потрачено — да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень страшно выходит. Но есть страни-цы поистине удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает — а ведь у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!» (Тургенев. Пись-ма, т. 5, с. 216).

В том же году Ап. Григорьев упомянул «Поликушку» вместе с «Казаками» в статье «Отживающие в литературе явления» («Эпоха», 1864, № 7). Приветствуя возвращение Толстого к художественному творчеству после периода увлечения педагогическими теориями, критик в качестве примера того, что мастерство писателя «все то же, что и в прежних его произведениях: тонкость анализа и чутье человеческой природы все те же — краски такие же», приводит сцену из «Поликушки»: «... Припомните — ну, хоть ночь — когда удавленник Поликушка смирно и смиренно висит себе на чердаке, а все живые в доме ходят под каким-то зловещим влиянием» (с. 7).

В апреле 1865 г. А.Пятковский, рецензируя «Сочинения графа Л.Н.Толстого. Две части. СПб., 1864—1865», отнес «Поликушку» вместе с «Детством» и «Отрочеством», Севастопольскими рассказами, «Рубкой леса», «Набегом», «Записками маркера» к «разряду произведений, представляющих верную и безыскусственную комбинацию разных житейских фактов» («Современник», 1865, № 4, отд. II, Новые книги, с. 324).

Критики, писавшие о Толстом в 70-е годы, почти не уделяли внимания «Поликушке». Повесть была упомянута в «Библиографических заметках» «Московских ведомостей» в связи с выходом «Сочинений графа Л.Н.Толстого, в восьми частях» (М., 1873), где она названа «эскизами из народного быта» (1874, № 2). Исключение составляет Н.К.Михайловский, обративший к разбору «Поликушки» в статье «Десница и шуйца гр. Толстого», чтобы объяснить противоречия в мировоззрении писателя. Не берясь подтвердить свои мысли анализом романа «Война и мир», так как «это потребовало бы слишком много времени и слишком большого труда», Михайловский писал: «К счастью, у гр. Толстого есть одна небольшая, но высокохудожественная повесть, содержащая в сжатом виде все нужные для меня элементы. К счастью также, наша критика, сколько мне, по крайней мере, известно, не занималась ею. Значит, я не рискую надоесть читателю. Повесть эта называется “Поликушка”...» («Отечественные записки», 1875, № 6, с. 330; Михайловский Н.К. Полн. собр. соч., т. 3. Изд. 4-е. СПб., 1909, с. 504).

Познакомив читателя с сюжетом повести и отметив мастерство в создании характеров Поликея, его жены и старика Дутлова, критик замечал: «Я рассказываю, так сказать, бегом; и несчастья семьи Поликушки, сбитые в кучу, могут показаться несколько аляповатыми. Но кто читал или прочтет “Поликушку” в подлиннике, тот этого не скажет» (там же, с. 331). Михайловский был убежден, что задача Толстого гораздо шире намерения рассказать трагический случай из жизни дворового: «Если смотреть на “Поликушку”, как на анекдот, т.е. как на рассказ об единичном, необыкновенном, исключительном, не подлежащем какому-нибудь обобщению случае, то можно, конечно, только сказать: да, очень странное стечение обстоятельств. Но широкий, преимущественно склонный к обобщениям ум гр. Толстого не годится для анекдотов: он их никогда не писал и, я думаю, не будет писать. <...> И в “Поликушке” следует видеть отражение некоторых задушевных, общих понятий автора. С точки зрения господствующих о гр. Толстом мнений, дело объясняется очень просто: недоверие к человеческому разуму, не способному понять целей Провидения, гордо помышляющему о своих собственных целях и терпящему в конце концов полное поражение» (там же, с. 332).

Михайловский соглашался с этим объяснением, но добавлял еще и свое, ради которого он и привлек к анализу «Поликушку». Признавая глу-

бокую противоречивость мировоззрения Толстого (отсюда «десница» и «шуйца» в названии статьи), критик видел «причины, толкающие его к противоречиям» (с. 329), в «столкновении потребностей гр. Толстого с его сознанием» (с. 330). Речь идет о том, что, принадлежа к так называемому «цивилизованному обществу», Толстой испытывает, как член этого общества, определенные потребности, но в то же время сознает ущербность этого общества и его глубокие противоречия с миром народной жизни. Идея противопоставления народа и людей образованных классов, пронизывающая, по мнению Михайловского, все творчество Толстого, лежит и в основе «Поликушки». «Мне кажется, — говорил Михайловский, — что корень несчастий, обрушившихся на семью Поликея, заключается для гр. Толстого в чувствительной и бестолковой барыне, в цивилизованном человеке, слабом и исковерканном, но самоуверенно вмешивающемся в жизнь народа» (там же, с. 333).

В 1882 г. Е.И.Утин в очерке «Глеб Успенский» избрал повести Толстого «Утро помещика» и «Поликушка» для иллюстрации своей мысли о том, что предшественникам Г. Успенского в воспроизведении народной жизни «недоставало одного из самых существенных, необходимых элементов для такого воспроизведения, без которого оно совершенно немислимо, это — близкого знакомства, знания этой жизни» («Вестник Европы», 1882, № 1, с. 286). О «Поликушке» Утин писал: «Повесть эта, по-видимому, взята прямо уж из народной жизни, но можно ли сказать, что она в действительности дает реальную картину этой жизни? Фабула повести такова, что она с одинаковым удобством могла бы быть применена к описанию любого общественного слоя. В ней нет никаких особенностей, которые приурочивали бы исключительно к изображению народного быта. Есть, правда, в повести одна или две сцены, удачно выхваченных из действительности, напр<имер> сцены галдящего мира, но почему мир только галдит, отчего в рассуждениях мужиков господствует такая бестолочь, отчего, словом, получается такая непривлекательная, дикая сцена, об этом в повести, воспроизводящей, по мысли автора, народный быт, нет и помину. Да, все это схвачено с натуры, творчество автора несомненно, но все схвачено только внешние черты, нисколько не подвигающие нас в знание народной жизни» (там же, с. 285–286).

С прямо противоположной оценкой выступил два месяца спустя критик «Русской мысли» (подпись «Х»; псевдоним не раскрыт). В рецензии «Новое произведение графа Л.Н.Толстого “Чем люди живы”» он писал: «Сказка взята из народного быта, в изображении которого гр. Толстой уже давно приобрел заслуженную славу неподражаемого мастера. По нашему мнению, теперь он делает новый шаг вперед в этом направлении. В прежних своих работах писатель поражал тою умелою и правдивою простотою, с какою он подходил к крестьянскому миру и освещал его в самых темных сторонах. Видно было, что он прекрасно знает и понимает этот мир и мастерски рисует его в пленительно простых рассказах; вспомните, например, “Поликушку”» («Русская мысль», 1882, № 3, с. 335).

В ноябре 1887 г. А.П.Ольденбург отметила выход «Поликушки» в серии книг для народного чтения: «Редакция “Русской мысли” весною нынешнего года начала свои издания рассказом Толстого “Поликушка”. Несмотря на то, что почему-то издатели сочли нужным сократить этот превосходный рассказ, он все-таки сохранил жизненную правду и производит глубокое впечатление» («Воспитание и обучение», 1887, № 11, с. 255. Подпись: А.О.).

Неодобрительно отозвался в 1890 г. о «Поликушке» К.Леонтьев, противопоставивший его более поздним толстовским «повестям из народного быта», написанным после «Анны Карениной». По его мнению, они «в смысле *веяния* народным духом — несравненно выше и правдивей, не говоря уже о том, что они гораздо изящнее». «Я прошу не верить мне на слово, — писал далее Леонтьев, — а потрудиться просмотреть только хоть начало ярко раскрашенной и рельефно расковыренной деревянной “Поликушки” и начало бледно и благородно-фарфоровых “Чем люди живы”, “Упустишь огонь...” или арабского рассказа “Вражье лепко”» (Леонтьев К. О романах гр. Л.Н.Толстого. Анализ, стиль и веяние (Критический этюд). Писано в Оптиной пустыни в 1890 г. М., 1911, с. 32).

В 1891 г. А.П.Чехов советовал двоюродному брату А.А.Долженко прочитать «Поликушку», «Казачьи» и «Холстомера»: «Очень интересно» (Чехов. Письма, т. 4, с. 226).

В этом же году С.М.Степняк-Кравчинский в незавершенной статье, предназначавшейся для американского периодического издания, кратко и обобщенно охарактеризовал ранние произведения Толстого, включая «Казачьи», «Поликушку» и «Семейное счастье» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 553).

А.М.Скабичевский в статье «Мужик в русской беллетристике (1847–1897 г.)», написанной по поводу выхода собрания сочинений Н.Е.Каролина-Петропавловского, сослался на «Поликушку» для подтверждения своей мысли о «реально-трезвом, чуждом малейшей сентиментальной идеализации» подходе к изображению народной жизни у беллетристов сороковых годов, к которым он причислял наряду с Тургеневым и Григоровичем Л.Толстого (см.: «Русская мысль», 1899, № 4, с. 14).

С.А.Венгеров в статье о Толстом для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона писал: «Трагический характер барская затея принимает в <...> рассказе “Поликушка”; здесь погибает человек из-за того, что желающей быть доброю и справедливою барыне вздумалось уверовать в искренность раскаяния, и она не то чтобы совсем погибшему, но не без основания пользующемуся дурной репутациею дворовому Поликушке поручает доставку крупной суммы. Поликушка теряет деньги и с отчаяния, что ему не поверят, будто он в самом деле потерял их, а не украл, вешается» (т. 65, СПб., 1901, с. 453).

При жизни Толстого повесть переводилась на английский, голландский, датский, испанский, итальянский, немецкий, румынский, сербскохорватский, финский, чешский, шведский языки.

Первый перевод был сделан в Германии в 1863 г., сразу после публикации в «Русском вестнике». Переводчик В.Вольфзон, известный пропагандист русской литературы в Германии, напечатал повесть под названием «Paul» в своем журнале «Russische Revue» (1863, № 7, S. 28–50; № 8, S. 105–147). Перевод сопровождался кратким предисловием, знакомившим немецкого читателя с Толстым. Через двадцать лет этот перевод был переиздан дрезденским издательством «Minden» в сборнике переводов Вольфзона «Russische Geschichten». Позднее «Поликушку» переводили на немецкий язык Г.Роскошный, Г.Брендель, Л.А.Гауфф, Р.Лёвенфельд, А.Рёль.

В 1875 г. появился датский перевод: «Polikuschkka». Overs. af W.Gerstenberg.— Udvalgte Fortaellinger af russiske Novellister; повторено в 1888 г.

Первое издание «Поликушки» на английском языке вышло в 1886 г.: «Polikushka». Transl. by N.H. Dole. London, 1886. Затем — в 1887 и 1888 гг. в том же переводе в составе сборника «The invaders and other stories» (London), а также в т. 7 Собрания сочинений Толстого («Complete works». New York, 1899). В других английских и американских изданиях переводчиками были Р.Р.Такер, К.Гарнет, Л.Винер.

Вскоре появился и первый отклик английской критики. Чарльз Эдвард Тёрнер замечал по поводу «Поликушки» в своей книге «Граф Толстой как романист и мыслитель»: «...Великая сила Толстого заключается в описании простой жизни. Каждое слово, которое он вкладывает в уста своих героев-крестьян, каждый их жест, их манера мыслить, их отношения между собой и к тем, кто стоит над ними, — все это настолько точно воспроизводит реальную жизнь, что даже те, кто незнаком с языком, верой и обычаями русского “мужика” или простого солдата, будут абсолютно уверены в полной правдивости изображения» (Charles Edward Turner. Count Tolstoi as novelist and thinker. London, 1888, p. 36–37).

Эдмунд Госс в предисловии к сочинениям Л.Толстого, изданным в 1890 г. в Лондоне, признавая «Поликушку» типичным произведением Толстого начала 1860-х годов, писал: «Хотя оно коротко и излагает лишь эпизод, автор щедро дарит нам поразительное количество типов, каждый из которых отчетливо очерчен. Сцена сдачи в рекруты демонстрирует мастерство, с которым вскоре в романе “Война и мир” будут изображены обширные пространства, кишашие массами людей. <...> Смесь тщеславия, жадности, гордости и глупости, которые бушуют в голове Поликушки, когда он едет, чтобы получить деньги, описана мастерски и в чисто толстовской манере» (Work While ye Have the Light. By Lyof Tolstoi. With introduction of Edmund Gosse. London, 1890).

В 1887 г. известный американский романист, публицист и критик Уильям Дин Хоуэлс в предисловии к переводу Севастопольских рассказов назвал «Поликушку» среди других произведений Толстого, чтение которых, по его мнению, «оставляет целую эпоху в жизни каждого мыслящего читателя» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 85). Он писал: «“Поликушка” — беглая зарисовка, фрагментарный, почти незавершенный рассказ, обладает совершенством, силой и неисчерпаемым запасом милосердия и сочувствия к человеку» (там же, с. 87).

В начале 1890-х годов два американских критика отдали предпочтение «Поликушке» перед более поздними моралистическими произведениями Толстого.

«В этом очерке Толстой не убеждает, не спорит, не нападает на что-либо или кого-либо и не впадает в социальную или моральную назидательность. Он только очень просто и очень убедительно рассказывает небольшую обыкновенную историю. Если бы Толстой удовлетворился простотой “Поликушки” или свежестью и энергией “Казачков”, или даже иронией “Смерти Ивана Ильича”, а не был захвачен пагубной идеей того, что его особая миссия заключается в преобразовании общества и перестройке вселенной, он был бы счастливейшим человеком и превосходным писателем» (The Lasso. 1891. November, p. 20–21; The Kingdom of Art. Willa Cather's first principles and critical statements 1893–1896. Lincoln. 1966, p. 377).

У.Д.Хоуэлс разделял это мнение: «... Я прочитал “Поликушку” и большую часть его рассказов с таким чувством единства с изображенными в

них людьми, какого я никогда не испытывал при чтении других художественных произведений <...> Простота чувств и кажущаяся неясность, неотчетливость, уклончивость таких повестей, как "Поликушка", крестьянский новобранец, гораздо более ценны для мира в целом, чем все его притчи...» (W.D. Howells. My Literary passion, criticism and fiction. New York and London, 1910, p. 187).

Одновременно с первым переводом на английский язык «Поликушка» вышел во Франции тремя изданиями в авторизованном переводе Гальперина-Каминского: «Polikuchka. Trad. avec l'autorisation de l'auteur par E.Halperine-Kaminsky» (Paris, 1886) и в переводе Цакни: «Un pauvre diable». Trad. par E.Tsakny.— «Dernières nouvelles» (Paris, 1886) (второе издание — в 1887 г.). Позднее «Поликушка» вошел в т.6 изданного в Париже в 1903 г. Собрания сочинений Толстого в переводе Бинштока: «Polikuchka». Trad. de J.W.Bienstock, révisée et annotée par P.Biroukov.

В 1887 г. «Поликушка» был переведен на голландский язык (с французского перевода Элеоноры Цакни): «Polikuschka. Roman». Vert. door A.J. van Dragt. Heerenveen, Land, 1887. Голландский критик Х.Вольфганг ван дер Мей в своем «Комментарии к Толстому» (журнал «Los en Vast», 1888), пересказав содержание повести, заметил: «Новелла показывает, что Толстой не всегда возвышает народ и не ставит себе целью идеализировать его. <...> Хотя народ живет более здорово и естественно, в нем можно найти и отрицательные черты, как, например, полное равнодушие к чужому горю». (Сообщено Эриком де Хаардом.)

В 1887 г. появились финский и шведский переводы: «Polikuska». Suom. Olga (Aalto). Helsingissä, J. ja G., 1887; «Polikaj».— Bilder ur ryska samhällslivet (Stockholm, 1887). В 1889 г. — перевод на чешский язык: «Polikuška. Povídka». Pfl. V.P.— Spisy (Praha, 1889); в 1892 г. — на испанский: «El ahorcado (Polikuska)» (Madrid, 1892); в 1894 — на итальянский: «Un povero diavolo».— Ultime novelle e piaceri viziosi (Milano, 1894); в 1907 г. — на румынский: «Un dezmostenit al soartei». Trad. de P.Ionescu.— Nuvele (Bucuresti, 1907); в 1910 г. — на сербскохорватский: «Поликушка. Приповетка». Прев. Н. Николајевућ (Нови Сад, Матица српска, 1910).

С. 132. *...хотел отстоять тройника Дутлова...* — Имеется в виду, что в семье Дутлова было трое мужчин призывного возраста.

С. 133. *Я недавно видел, как лорд Пальмерстон...* — Во время пребывания в Лондоне в феврале 1861 г. Толстой посетил заседание парламента, где слушал речь премьер-министра Великобритании Г.Д.Т.Пальмерстона.

...до Покрова нужно свезти рекрут в город. — Покров — христианский праздник Покрова пресвятой Богородицы, отмечается 1 октября ст. ст.

...ему бы надо двойниковый жребий кидать. — При определении очередности сдачи крестьян в рекруты учитывалось количество взрослых сыновей в семье. В первую очередь брали рекрутов из семей с тремя сыновьями (тройники), затем с двумя (двойники).

...нанковые пуговицы... — Пуговицы из нанки, хлопчатобумажной ткани, получившей название от китайского города Нанкина, где ее производили.

С. 137. *Месячины доставало...* — Месячина — в России XVIII — первой половины XIX в. продовольственный паек, выдававшийся ежемесячно дво-

ровым и крестьянам, не имевшим земельных наделов. Получавшие месячную должны были шесть дней в неделю работать на помещика.

...насосы спускал... — Лечил путем надрезов болезненные опухоли, образующиеся у лошадей на небе вследствие застоя крови.

С. 139. ...чильчак... — Конская болезнь, паралич ног или крестца.

...почечуй... — Геморрой.

Wage du zu irren... — Цитата из стихотворения Ф.Шиллера «Тэкла» (1802).

...полезна от запала... — Запал — болезнь типа воспаления легких, возникающая у загнанных или опоенных лошадей.

С. 146. ...на селищах... — Селище — остатки жилого места, полностью выгоревшее или уничтоженное, снесенное селение.

С. 148. ...постукивая лутошкой... — Лутошка — липка, с которой снята кора, содрано лыко.

С. 149. ...едет как дворник какой... — Дворник — содержатель постоянного двора.

С. 150. ...к Одесту... — К Одессе.

С. 151. ...двое подставных... — Т.е. резервных рекрутов на случай браковки очередных.

Еще, Бог даст, затылок... — Если после медицинского осмотра новобранец признавался годным к военной службе, ему брили волосы надо лбом (отсюда выражение «забрить лоб»), если же он признавался негодным, ему выбривали волосы на затылке.

С. 152. ...дохтору синенькую мужик дал... — Пятирублевую ассигнацию.

С. 162. ...как только-только прочтется кафизма... — Кафизма — раздел Псалтири, на которые она делится для удобства употребления при богослужении.

С. 163. ...боров... — Горизонтальная часть дымохода, соединяющая печь с дымовой трубой.

...делала спуск. — Спуск — мазь или пластырь из воска с маслом или салом.

С. 169. Юлия Пастрана — бородатая женщина, которую в 1850-х гг. привозили в Россию и демонстрировали публике.

С. 170. ...глядя на перемет над печкой... — Перемет — поперечная балка, соединяющая стропила или столбы.

С. 172. Две красненьких... — Две десятирублевые ассигнации.

С. 173. ...угощение охотнику. — Охотник — здесь: человек, идущий на что-то добровольно, в данном случае подставной рекрут, наймит.

С. 174. ...дотронувшись головою до земли... — Земь — земля, в значении дол, низ, пол. Ср. выражение «Пади наземь!», «Ударился оземь».

...связки котелок... — В Тульской губ. котелка — крендель, сваренный в котле.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ДЕКАБРИСТЫ

Впервые: «XXV лет. 1859–1884. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым». СПб., 1884, с. 216–251.

Рукописный фонд составляет 104 листа: четыре автографа и копия рукой С.А.Толстой с авторской правкой (наборная рукопись).

Печатается по наборной рукописи с исправлениями по автографам:

С. 180, строки 13–14: писателей-художников, описавших — *вместо:* писателей-художников, описывающих (по А₂)

С. 182, строки 38–39: раздался тот же смех, который слышался в возке и который, когда кто слышал — *вместо:* раздался тот же смех, который слышался в возке, который, когда кто слышал (по А₂)

С. 186, строка 30: Sie flechten — *вместо:* Sie pflegen (по А₂)

С. 188, строка 7: не знал, что ответить — *вместо:* не знал, что отвечать (по А₂)

С. 188, строки 15–16: И долго еще сидел — *вместо:* И долго он еще сидел (по А₂)

С. 188, строка 34: и первое бросается вам в глаза — накрытый стол — *вместо:* и первый бросается вам в глаза накрытый стол (по А₂)

С. 189, строки 25–27: Женщина должна быть как персик, как эта сибирячка — тогда она приятна. Женщины — моя страсть. — *вместо:* Женщины — моя страсть. (по А₂)

С. 190, строка 5: Спрашивайт у господа, которы — *вместо:* Спрашивайт у господа, которые (по А₂)

С. 190, строка 15: развернул бумагу и прочел — *вместо:* развернул бумагу, прочел (по А₂)

С. 190, строка 20: был чем-то знаменит — *вместо:* был чем-то знаменитым (по А₂)

С. 190, строка 39: Садятся — *вместо:* Сидят (по А₂)

С. 191, строка 22: Пучин — *вместо:* «Пучин» (по А₂)

С. 191, строка 45: Анастасья, Анастасья — *вместо:* Анастья, Анастья (по А₂)

С. 192, строки 6–7: И теперь так и вышло. — *вместо:* И теперь так вышло.

С. 192, строка 39: сановитого старичка — *вместо:* этого старичка (по А₂)

С. 193, строка 12: сел на диване — *вместо:* сел на диван (по А₂)

С. 193, строки 16–17: «умные» как эллипс — *вместо:* «умные» как прозвание (по А₂)

- С. 193, строки 17–18:* начали обсуживать — *вместо:* стали обсуживать (по А₂)
- С. 193, строка 34:* перевел — *вместо:* перевез (по А₂)
- С. 195, строка 6:* поехал на вечер — *вместо:* отправился на вечер (по А₂)
- С. 195, строки 14–15:* Натали Кринской — *вместо:* Наташей Кринской (по А₂)
- С. 195, строка 17:* Натали — *вместо:* Наташа (по А₂)
- С. 195, строка 30:* единственная дочь, самая богатая, самая красивая девушка — *вместо:* единственная дочь, самая богатая, самая красивая (по А₂)
- С. 195, строки 36–37:* а как была — *вместо:* и как была (по А₂)
- С. 195, строка 38:* сказала хозяйка дома — *вместо:* сказала хозяйка
- С. 196, строка 13:* молодой человек хорош — *вместо:* молодой человек так хорош (по А₂)
- С. 196, строки 23–24:* надо представиться — *вместо:* представиться (по А₂)
- С. 197, строка 28:* Кто этот — *вместо:* Кто это (по А₁)
- С. 197, строка 30:* морщины, приобретаемые — *вместо:* морщины, приобретенные
- С. 198, строка 4:* стоять обедню — *вместо:* стоять обедни (по А₁)
- С. 198, строки 21–22:* бывавших у Шевалье — *вместо:* бывших у Шевалье (по А₁)
- С. 198, строка 28:* платье это — *вместо:* платье его (по А₁)
- С. 199, строка 30:* спокойно опустился — *вместо:* спокойно спустился (по А₁)
- С. 200, строка 43:* одним общим — *вместо:* одною общею (по А₁)
- С. 202, строка 30:* собралась ехать — *вместо:* собиралась ехать (по А₁)
- С. 204, строка 15:* что меня не приготовил — *вместо:* что не приготовил меня (по А₁)
- С. 204, строка 29:* вставала и опять повторяла — *вместо:* опять вставала и повторяла (по А₁)
- С. 205, строка 24:* сказала она весело, ласково и так тонко — *вместо:* сказала она весело и ласково и так тонко (по А₃)
- С. 205, строка 35:* как был — *вместо:* как и был (по А₃)
- С. 205, строка 39:* коготки — *вместо:* ноготки (по А₃)
- С. 206, строка 6:* Соня, та будет хорошая жена — *вместо:* Соня-то будет хорошая жена (по А₃)
- С. 206, строка 13:* грустно сделалось — *вместо:* грустно стало (по А₃)
- В сборнике «XXV лет» были помещены еще два фрагмента, относящиеся к 1878 г. (см. т. 9 наст. изд.).

Сличение наборной рукописи с опубликованным текстом показало, что печатание происходило без авторской корректуры: появились искажения и неточности и нет ни одной поправки, которую можно было бы считать принадлежащей Толстому. В самой рукописи (со следами типографской краски и разными пометами корректоров и наборщиков) грамматические и стилистические изменения, внесенные редакторским карандашом. Слово «эллипс», например (от французского *ellipse*), для которого, не разобрав его в автографе, С.А.Толстая оставила в копии пропуск, было заменено этим посторонним лицом словом «прозвание». Цитата из Шиллера (гл. I)

переписана на полях вместо зачеркнутого в копии текста, при этом исправлена неточность Толстого: сделано, как у Шиллера, «himmlische» (небесные) вместо «unsichtbare» (невидимые); но появилась ошибка, которой у Толстого не было: «pflegen» вместо верного «flechten». Кроме того, при наборе и не слишком тщательной корректуре появились довольно многочисленные отступления от оригинала.

Эта же копия служила для набора «Декабристов» во второй части пятого издания «Сочинений гр. Л.Н.Толстого» (1886).

С.А.Толстая, занимавшаяся в то время издательскими делами (по доверенности, выданной Толстым 21 мая 1883 г.), 9 сентября 1885 г. отправила Н.Н.Страхову, с которым постоянно советовалась, набросок предисловия к этому тому. Оно начинается словами: «Благосклонный прием, который оказали читатели небольшим отрывкам из романа “Декабристы”, появившимся сперва в сборнике “XXV лет Литературного фонда” (СПб., 1884) и вновь являющимся в этом томе, подал мысль поместить тут же еще два неизданных отрывка, написанных более 25-ти лет назад» (Л.Н.Толстой и С.А.Толстая. Переписка с Н.Н.Страховым. Оттава, 2000, с. 183). Предполагалось напечатать черновики «Холстомера», относящиеся к началу 60-х годов. Однако около 20 сентября Толстой начал изменять эту повесть по копии, изготовленной Софьей Андреевной, завершил работу и «Холстомер» был опубликован в 3-й части пятого издания, вышедшей в ноябре 1885 г. Второй «отрывок» — «Деревенская идиллия» — в «Сочинениях» помещен не был.

«Декабристы» вошли и в шестое издание, которым С.А.Толстая занималась осенью того же года (в ноябре она ездила в Петербург по делам этого издания и для снятия запрета с 12-й части предыдущего). Упомянуты «Декабристы» в ее письме 22 октября 1885 г.: «Кое-что переписала для “Декабристов”, “Исповеди” и держала корректуры “Лошади” и “Стариков”. Дело подвигается тихо с изданием, все бумаги нет. <...> В субботу обещают бумагу. На той неделе отпечатают конец “Казачков”, “Декабристы” и начало 12-го тома» (Толстая С.А. Письма к Л.Н.Толстому. М.—Л., 1936, с. 332–333).

В «Сочинениях» было устранено около 20 погрешностей первой публикации (в соответствии с наборной рукописью — подтверждение того, что новый набор делался с нее). Но добавилось почти столько же новых. В наст. изд. эти разночтения, естественно, не учитываются; текст выверен по автографам и устранены *ошибки* копии¹.

Впоследствии три главы неоконченного романа «Декабристы» входили во все прижизненные собрания сочинений.

Публикация в сборнике сопровождалась редакционным примечанием: «Печатаемые здесь три главы романа под заглавием “Декабристы” были написаны еще прежде, чем автор принялся за “Войну и мир”. В то время он задумывал роман, которого главными действующими лицами должны были быть декабристы, но не написал его, потому что, стараясь воссоздать время декабристов, он невольно переходил мыслью к предыдущему времени, к прошлому своих героев. Постепенно перед автором раскрывались все глубже и глубже источники тех явлений, которые он задумывал описать:

¹ В подготовке текстов раздела «Неоконченное» принимала участие *Н.П.Великанова*.

семья, воспитание, общественные условия и проч. избранных им лиц; наконец, он остановился на времени войн с Наполеоном, которое и изобразил в "Войне и мире". В конце этого романа видны уже признаки того возбуждения, которое отразилось в событиях 14-го декабря 1825 года.

Впоследствии автор вновь принимался за "Декабристов" и написал два другие, печатаемые теперь начала (в конце статьи).

Таково происхождение предлагаемых отрывков романа, которому, по видимому, не суждено быть написанным. Автор никогда не предполагал их печатать, но, уступая нашей просьбе, предоставил их для издаваемого нами сборника. Ред. 3-го октября 1884 г.» («XXV лет», с. 216).

Видимо, это «примечание» переписывала С.А.Толстая в 1885 г. для своего издания: копия, сделанная ее рукой, находится на первом листе сохранившейся наборной рукописи. Последняя фраза при этом опущена; подпись изменена: «Изд.» Первоначально в копии стояло не сокращенное «Изд.», а полное — «Издательница».

М.А.Цявловский полагал, что в 1884 г. это примечание было «написано или Толстым или с его слов Софьей Андреевной» (*Юб.*, т. 17, с. 470). Скорее имело место последнее. Известно к тому же, что к публикации в сб. «XXV лет» имел отношение А.М. Кузминский, свояк Толстого, муж Татьяны Андреевны (его рукой переписаны отрывки 1878 г.), гостивший летом 1884 г. в Ясной Поляне.

При публикации в сборнике «XXV лет» часть третьей главы, где говорится о том, что сын декабриста Сергей, вместо того чтобы пойти в церковь, идет покупать себе новое платье, опущена. В копии это место зачеркнуто — вероятно, по цензурным соображениям — тем же карандашом, каким сделаны другие редакционные поправки. В издании «Сочинений» (1886 г.) эти страницы были восстановлены.

О начале работы над «Декабристами» Толстой писал в наброске предисловия к «1805 году»: «В 1856 году я начал писать повесть с известным направлением, героем которой должен был быть декабрист, возвращающийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала с славной для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года...».

Что именно было создано в 1856 г. — неизвестно; вероятно, в этом году, когда из Сибири стали возвращаться ссыльные декабристы, роман был только задуман.

Первым достоверным свидетельством работы стало письмо Толстого из Брюсселя А.И.Герцену в Лондон (где незадолго до этого они встречались) от 14 (26) марта 1861 г.: «Я затеял месяца четыре тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о приличии и своевременности такого сюжета. Тургеневу, которому я читал начало, понравились первые главы». «Месяца четыре тому назад» — это ноябрь 1860 г. Толстой находился тогда за границей. В сентябре этого года в Гвиере

умер брат Николай. «Страшно меня оторвало от жизни это событие», — сказано в дневнике 13 (25) октября. И в тот же день признание: «Пытаюсь писать, принуждаю себя, и не идет только оттого, что не могу приписывать работе того значения, какое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпенье работать». В работе находились «Казачки» («Беглец»), «Идиллия». Видимо, к «Декабристам» относится запись 16/28 октября: «Утро писал <...> Написал не больше половины главы. *Писем не писал. Завтра до завтрака писать письма и закончить главу и 3-ю, ежели успею*». 29 октября (10 ноября) в дневнике отмечено: «Лет 10 не было у меня такого богатства образов и мыслей, как эти 3 дня. Не пишу от изобилия».

В феврале 1861 г. в Париже Толстой читал главы «Декабристов» И.С.Тургеневу, о чем и сообщал А.И.Герцену. Тургенев так рассказывал об этом в письме 15 (27) февраля П.В.Анненкову: «На днях приехал сюда из Италии Толстой, не без чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата сильно на него подействовала. Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность» (*Тургенев. Письма*, т. IV, с. 199).

В письме Герцену от 28 марта (9 апреля) 1861 г. из Франкфурта-на-Майне Толстой вновь упоминал «Декабристов»: «Пишу только, чтобы вас поблагодарить за “Колокол” и добрый совет о романе. За слишком лестное мнение о мне не благодарю. Оно вредно. Огарева воспоминания я читал с наслаждением и очень был горд тем, что, не зная ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм». Письмо Герцена к Толстому, где высказан «добрый совет о романе», неизвестно. Воспоминания Огарева — «Кавказские воды (Отрывок из моей исповеди)» опубликованы в 1861 г. в шестой книге «Полярной звезды».

Осенью 1862 г. Толстой еще работал над этим романом. С.А.Толстая писала в своей автобиографии: «Вскоре после свадьбы Лев Николаевич кончил “Поликушку”, отдал окончательно повесть “Казачки” и отдал ее Каткову в “Русский Вестник”. Потом взялся за “Декабристов”, участь и деятельность которых очень его заинтересовала» (Толстая С.А. Автобиография. — «Начала», 1921, № 1, с. 44).

Т.А.Кузминская, вспоминая о приезде С.А. и Л.Н.Толстых на Рождество в Москву, писала: «Они часто ездили в концерты, театры и музеи. Нередко и меня отпускали с ними. Лев Николаевич, кроме выездов, посещал библиотеки, отыскивая разные мемуары и романы, где бы говорилось о декабристах. Он только что отдал в печать свое две повести: “Казачки” и “Поликушку”, как уже в нем зарождалось новое семя творчества. Он задумал писать “Декабристов”. Он идеализировал их и вообще любил эту эпоху. Но из маленького семени “Декабристов” вышел вековой величественный дуб — “Война и мир”» (Кузминская Т.А. *Моя жизнь дома и в Ясной Поляне*. М., 1986, с. 160). В другом месте Т.А.Кузминская приводит разговор Софьи Андреевны с матерью. С.А. рассказывала, что «Левочка за последнее время совсем охладил к школе. Его тянет к другой работе. Он хотел писать 2-ю часть “Казачков”, но, кажется, и это бросит. Задуманный роман о декабристах поглотил его всецело» (с. 166). Т.А. Кузминская приводит слова самого Толстого: «Я был у Аксакова, где встретил декабриста Завалишина; он так заинтересовал меня, что я и не заметил, как прошло время» (с. 167). Впрочем, мемуары Кузминской, содержащие эти ценные сведения, мало пригодны для точной датировки творческой работы Тол-

того. В частности, встреча с Д.И. Завалишиным, вернувшимся из Сибири в Москву лишь осенью 1863 г., не могла произойти раньше этого времени (см. ниже).

По словам Кузминской, Толстой бросил вторую часть «Казакон», так как перевесили «Декабристы»: «Лев Николаевич с одушевлением говорил о Муравьеве, Свистунове, Завалишине и прочих, какие материалы он достал, и говорил, что хотел ехать в Петербург посмотреть крепость, где они были заключены и повешены. “И так как надо было дать понятие, какие они были люди, откуда они, — говорил Лев Николаевич, — то я начал с 1805 года и подхожу к 1808 году. Но что выйдет из этого — не знаю”» (с. 247).

Рукописи дают довольно ясное представление о ходе работы. Основной автограф — на 20 листах большого формата; разделен на четыре нумерованных и еще одну нунумерованную главу. Первые две главы сохранились еще в одном автографе и представляют собою вторую редакцию текста. В обеих рукописях заглавия нет; обе начинаются словами: «Глава 1. Это было недавно...». Неполная вторая редакция хронологически вклинивается в процесс создания основного автографа. Жена декабриста, вначале названная Варя, Варвара Николаевна, во втором автографе получила имя Наталья Николаевна; это имя, кратко обозначаемое инициалами Н.Н. или Натали, устойчиво во второй половине основной рукописи. Содержатель гостиницы, в первом автографе фигурировавший как Швалье, во втором именуется Ложье, а в продолжении основного автографа — Шевалье. Ясно, что, продолжая сочинение, Толстой отказался от Ложье.

Большая рукопись пронумерована автором: 1–40; к ней присоединен выполненный на листах небольшого формата фрагмент, начинающийся словами: «Мое правило не вмешиваться в семейные дела...» (страницы пронумерованы 41–44). К этому тексту, созданному на заключительной стадии работы, сохранился и предварительный набросок: «М.И. пожалела, что первый день она не проведет в своей семье...» (см. т. 4 второй серии издания). Очевидно, что и сплошная пагинация основного автографа, и указания относительно переписки делались в одно и то же время. Указания были необходимы: начало копировалось со второго автографа (с Ложье); в копии везде Шевалье.

В разных местах автографа поперек текста и на полях заметки конспективного характера. Например: «Дочь практична. Мать задумчиво интересна, *grande dame*. У Шевалье спрашивает о семействе и делах»; «Стар<ик> одев<ается>, занят собою. Их вид. Сын дома завтракает. Пахтин и либерал... Марья Ивановна: Какой ты дурак. [обедают] Зовет обедать».

Уже в первой редакции задан сатирически-публицистический тон начала. Пространные периоды, напоминающие ораторскую речь, панорамность и объемность этого вступления дали основание исследователям сблизить его с началом «Двух гусаров», говоря о некоем общем стилистическом приеме. Публицистика Толстого не ограничивается начальной главой, а, прерывая собственно повествование, возникает и далее: рассуждение о либерализме, политических новостях, сатирические характеристики персонажей (И.П. Пахтин во второй главе). От публицистического вступления начала первой главы собственно повествование отделено фразой: «Но не о том речь», которая во второй редакции заменена на: «Но не в том дело». Далее в первой редакции следует: «В это же время [были прощены] возвращались из изгнания преступники 25 года. Один из этих изгнанников [есть герой настоящей истории] поздно вечером зимой 56 года...»

Во второй редакции текст сначала изменен так: «В это же время возвращались из Сибири политические преступники 25 года. Один из этих изгнанников поздно вечером зимой 56 года после 32-летнего отсутствия и путешествия, продолжавшегося два месяца, вернулся в Москву, на свою родину...». А затем окончательно исправлен: «Но не в том дело. В это самое время два возка и сани стояли у подъезда лучшей московской гостиницы. Молодой человек вбежал в двери узнать о квартире. Старик сидел в возке с двумя дамами...». Таким образом, повествование началось картиной, а не исторической справкой.

По первоначальному замыслу, в Москву возвращается Декабрист. Именно так, как бы придавая этому слову свойства имени собственного, называет его автор в первой редакции. То же перешло и во вторую, где затем с настойчивой последовательностью «декабрист» заменялся на «старика» или «старичка». В вариантах второй редакции сделана попытка заострить идеологический пафос романа, но затем автор от этого отказался, зачеркнув написанное: «Он сидел в возке с женой и дочерью и с жаром рассказывал им о том, что поляки никогда не могли бы завладеть Москвою при самых выгодных условиях и как бы они ни были сильны, потому что в них не было того славянства, которое сосредоточивает в себе все стороны человека» (вариант: «потому что в них не было того порабащающего свойства, которое было у римлян, у германцев, у русских»). В напечатанном тексте приехавший в Москву после долгого отсутствия старик рассуждает, «каков был Кузнецкий мост при французе».

В ноябре 1884 г. «Обществу для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературному фонду) исполнялось двадцать пять лет. Решено было издать юбилейный сборник. Л.Н. Толстой в 1858–1859 гг. был одним из организаторов общества, и редакционный комитет (в него входили В.П.Гаевский, А.А.Краевский, А.М.Скабичевский и К.К.Случевский) обратился с просьбой дать в сборник что-нибудь из неопубликованных произведений. Толстой дал «Декабристов» 1860–1863 гг. и два начала 1878 г.

Две первые главы были переписаны С.А.Толстой с автографа второй редакции, третья — с первого автографа: во втором автографе этого текста не было. В копии половина каждой страницы оставлена чистой — для исправлений. Толстой прочитал копию и внес поправки, в основном стилистического характера. Очевидно, что не возникло намерения переделывать, кардинально изменять текст, как это случилось год спустя с повестью «Холстомер» (см. т. 14 наст. изд.)

В дневнике Толстого 4/16 и 9/21 июня 1884 г. находятся две записи, относящиеся, по всей вероятности, к «Декабристам» 1878 г.: «Переписанный отрывок прочел и чуть подправил» и «Перечел отрывок, переписанный Кузминским».

20 декабря 1884 г. в «Правительственном вестнике», № 280 было помещено объявление о выходе в свет сборника Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым — «XXV лет» (СПб., 1884). Но книга появилась раньше, в ноябре (см. ниже отзывы современников; ценз. разр. на помещенных в книге портретах: 24 октября).

Прототипом главного героя «Декабристов» принято считать князя С.Г.Волконского. О встречах с Волконским во Флоренции в декабре 1860 — январе 1861 г. Толстой вспоминал спустя 40 лет, в 1904 году: «Его наружность, с длинными седыми волосами, была совсем как у ветхозавет-

ного пророка. <...> Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы» (*Гольденвейзер*, с. 141).

М.А.Цявловский в комментарии к *Юб.* изд. писал: «На то, что в лице П.И.Лабазова выведен кн. С.Г.Волконский, намекают слова о том, что декабрист, “бывший князь”, носил “одну из тех русских фамилий, которую всякий знает и всякий произносит с некоторым уважением и удовольствием, ежели говорит о лице, носящем эту фамилию, как о лице близком и знакомом”. Но, кроме внешности, у Лабазова нет ничего общего с кн. С.Г.Волконским. Правда, у П.И.Лабазова так же, как и у Волконского, есть жена и двое детей — сын и дочь, но Волконский по манифесту 26 августа 1856 г. приехал в октябре этого года с сыном в Москву, где уже с осени 1855 г. жила жена его с дочерью Еленой, вышедшей замуж в 1850 г. за Дм. Вас. Молчанова» (*Юб.*, т. 17, с. 471).

Вряд ли можно считать С.Г.Волконского несомненным прототипом П.И.Лабазова. Знакомство с С.Г.Волконским состоялось уже после начала работы, и главные черты толстовского героя — его портрет, манеры, привычки — были определены. Кроме того, в письме Герцену Толстой прямо писал, что «очень был горд тем, что, не зная ни одного декабриста, чутьем угадал свойственный этим людям христианский мистицизм». Одного декабриста к тому времени Толстой все же знал. Это был М.И.Пушин, брат И.И.Пущина, член «Священной артели», бывший на совещании у Рыльева перед восстанием 14 декабря 1825 г. После восстания М.И.Пушин был разжалован в солдаты и сослан. Толстой познакомился с М.И.Пушиным в 1857 г. во время путешествия по Швейцарии. Т.А.Ергольской 17/29 мая 1857 г. Толстой писал о кружке своих русских знакомых: «1) Пушин — старик 56 лет, *бывший разжалован* за 14 число, служивший солдатом на Кавказе; самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире, и притом высокий христианин; 2) его жена — вся доброта и самопожертвование, очень набожная и восторженная старушка, но еще очень свежая».

Фамилия «Лабазов» никак не ассоциируется с одной из «тех русских фамилий» (Волконский); в ней звучит скорее что-то купеческое (от лабаза). Совсем не так будут звучать фамилии русских аристократов в «Войне и мире».

Предположение Б.М.Эйхенбаума о том, что фамилия «Лабазов» образована от фамилии «Завалишин» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2. 60-е годы. Л.—М., 1931, с. 207), основана на прежней неправильной датировке написания «Декабристов». Д.И.Завалишин вернулся из Сибири 17 октября 1863 г., а Толстой познакомился с ним скорее всего в декабре этого года, когда приезжал в Москву. Между тем с фамилией героя Толстой определился уже в первой редакции (1860–1861).

Догадка Эйхенбаума по поводу прототипа жены Лабазова, Натальи Николаевны, по-видимому, верна. «Девическая фамилия Натальи Николаевны, *Кринская*, — писал Б.М.Эйхенбаум, — явно образована из фамилии жены Волконского — Марьи Николаевны Раевской (рай — крин)» (там же, с. 199). Это находит подтверждение в тексте: «Дочь Николая Кринского, тот, что при Бородино... — ну, известный». Как и у М.Н.Волконской, у героини Толстого двое детей — сын и дочь, выросшие и воспитанные в Сиби-

ри. (Сходство, однако, не абсолютно: романическая история замужества Кринской не имеет параллели в судьбе М.Н.Расвской.) М.Н.Волконская жила в Москве с дочерью Еленой с осени 1855 г., и Толстой вполне мог познакомиться с ней и с ее историей.

Прототипом для И.П.Пахтина, по мнению исследователей, послужил писатель и поэт Николай Филиппович Павлов, муж известной поэтессы и переводчицы Каролины Павловой. Б.М.Эйхенбаум полагал, что фамилия «Пахтин», вероятно, смысловая — образованная от слова «пахтаться», что, по Далю, значит «нянчиться, пестоваться, возиться, хлопотать». Друг Толстого Б.Н.Чичерин (упомянутый в первой редакции под именем Чиферин), знакомый с Н.Ф.Павловым в 40-х годах, так описывал его: «Самая его наружность имела в себе что-то необыкновенно привлекательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Так же изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порой сдержанная, порой оживляющаяся, иногда приправленная тонкой шуткой <...> И в мужском, и в дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он одинаково хорошо выражался на русском и на французском языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на свободе, с ним никто не мог сравниться; тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой природы: и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой мелочной подробности умело схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину» (Чичерин Б.Н. Воспоминания. В кн.: «Русские мемуары», М., 1990, с. 171–172). Безусловная положительность Павлова, которую отметил Чичерин, приобрела у Толстого черты приторности и пронизана беспощадной иронией.

Прототипом графа Северникова, по мнению Б.М.Эйхенбаума, послужил граф Ф.И.Толстой-американец. «Цыганы, карты и темперамент, с которым играет Северников, напоминают Турбина-отца, т.е. графа Ф.И.Толстого <...> фамилия *Северников* образована, вероятно, от прозвища “американец”, то есть от “Северной Америки”». Эйхенбаум полагал, что, хотя Толстой-американец умер в 1846 году и с вернувшимися декабристами встречаться не мог, Толстой использовал его как «типичную и интересную фигуру» (Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2, с. 192).

Фамилия Аксатовы заставляет вспомнить семью Аксаковых.

Первые отзывы о главах «Декабристов», напечатанных спустя двадцать лет после написания, появились немедленно.

В.В.Стасов писал Толстому уже 13 ноября 1884 г.: «Я сию секунду кончил Ваших “Декабристов” в Литературном Сборнике и не могу Вам сказать, в каком я восхищении. Но что это за беда такая, что Вы не хотите продолжать такой *chef d'oeuvre*!! <...> По-моему, эти немногие страницы — родные сестрицы всего самого совершенного, что есть в “Воине и мире” и в “Анне Карениной”, и мы все тут словно пьяны. Неужели этикие-то великие вещи должны оставаться недоконченными? Это мне напоминает греческие скульптуры в Британском музее — где рук нет, где ног, где туловища, где и головы самой, — но все-таки изумительное совершенство гля-

дит из каждой черты. И мне кажется, это сравнение верно, с которой стороны ни посмотри: что для греков были их богини, и Геркулесы, и герои всякие, что для них была вся эта чудесная скульптура, то для нас, нынешних, такие вещи, как вот эти Ваши страницы» (Лев Толстой и В.В.Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929, с. 68–69).

Восхищение выражал в письме Толстому (ноябрь–декабрь 1884 г.) И.Е.Репин: «Простите, не могу удержаться, чтобы не выразить Вам (как умею) своего восторга от тех счастливых минут жизни, которые доставило мне Ваше последнее произведение (“Декабристы”). Минуты эти постоянно повторяются, как только я вспоминаю эти живые страницы живой действительности, поставленной передо мною с такой спокойной ясностью, с таким самообладанием маститого художника, глубоко изучившего людей и жизнь, страстно любящего этих божиих созданий, даже с их слабостями. Как заразительна эта глубокая любовь автора! Как она увлекает читателя! Заставляет и его любить этих людей, прощать им. Что может быть выше этого чувства? Вот где сила искусства. А какое наслаждение смотреть на Наталью Николаевну! Как она успокаивает, дает силу, бодрость и веру в жизнь. Какая драгоценность!» (И.Е.Репин и Л.Н.Толстой. I. Переписка с Л.Н.Толстым и его семьей. М.—Л., 1949, с. 11).

Читатели «Декабристов» пытались противопоставить этот роман тому, чем занят был Толстой в 1884 г. И.Е.Репин писал В.В.Стасову (14 ноября 1884 г.): «Да, Толстой (“Декабристы”) — это гениальный отрывок! Какое спокойствие, образность, сила, правда! Да что говорить!.. Только чуть не плачешь, что человек, которому ничего не стоит писать такие чудеса жизни, не пишет, не продолжает своего настоящего призвания, а увлекся со всей глубиной гения в узкую мораль, прибегая даже к филологии для убедительности неосуществимых теорий... Жаль! Жаль и жаль!» (И.Е.Репин и В.В.Стасов. Переписка. Т. 2. М., 1949, с. 86).

29 января 1885 г. И.Н.Крамской, прочитав отрывки из романа «Декабристы», писал Толстому: «Перед Вами искренний человек свидетельствует, что такие вещи, как “Декабристы”, “Война и мир”, “Казачи” и т.д. и т.д., делают *меня лично* гораздо более человеком, чем рассуждения» (Крамской И.Н. Письма, т. II. М., 1937, с. 328).

Славянофил Н.М.Павлов воспринял написанную двадцать лет назад повесть очень злободневно. Он писал издателю «Русского архива» П.И.Бартеневу, что начало «Декабристов» «написано каким-то (его же слогом выражаясь в отзыве о растопчинских афишках) ерническим тоном» (Гусев, IV, с. 358).

В «Неделе», 1884, № 48, 25 ноября, появилась статья редактора газеты П.А.Гайдебурова:

«Собственно сборник вышел блестящим. Главный блеск сосредоточен на двух именах двух литературных антиподов, графа Льва Толстого и г-на Салтыкова-Щедрина, из которых оба за последнее время молчали, первый — с “Исповеди”, второй — со времени прекращения “Отечественных записок”. Если взять совокупную литературную деятельность обоих писателей, это действительно антиподы. Толстой весь — в вечности, в принципиальных философских вопросах, то в Библии, то в живой книге народной, массовой стихийной жизни, то на богомолье, то читает Конфуция. Даже там, где он наблюдает игру деталей и случайностей, он ищет основу и начало <...> Совсем не то Щедрин. Это не философ, а *хозяйин*. Он хозяйничает, с раннего утра и до поздней ночи бегая по хозяйству, которое идет не так,

как ему хочется; тысяча забот, тысяча хлопот, иногда самых мелких и ничтожных, осаждают его, раздражают, злят, нередко выводят из себя. <...> Таков Щедрин, взятый “по совокупности”. Но в сборнике он является философом <...>

Граф Толстой явился в сборнике, наоборот, без *философий*, хотя и не совсем таки *без*. Их мы пропустим, ибо они уж чересчур глубоки и доказывают, что “все ничто в сравнении с вечностью”, даже 12-й год, даже 56-й.

Отрывок графа Толстого назван “Декабристы” и содержит три первые главы <...> брошенного автором романа. Мы читаем о том, как возвращается в Москву прощенный декабрист, как общество, охваченное движением 56-го года, принимает его, и как сам декабрист — барин, либерал и “старый ребенок” — вступает в это волнуемое пред реформами общество. Центр рассказа, как и всегда у автора, не общество, а отдельное лицо, не общественное течение, а дела личные, семейные, родственные, неизвестными путями сплетающие жизнь массы, которая тоже тайными способами обратно влияет на отдельные жизни. Жизнь совокупного народа не объясняется, даже не изображается, а только передается впечатлением ее несомненного присутствия и тяготения над людьми. Главным героем отрывка является старый декабрист, и он нарисован так, как это умеет сделать только один граф Толстой» (с. 1680).

В статье 1903 г. «О благодущии Некрасова» В.В.Розанов писал: «В “Декабристах” Толстого есть наблюдения, мелочные, едкие, но эпически спокойно переданные, которые выразились в своих последствиях, в гневных последствиях, не ранее как лет через десять после написания этого очерка. Вся “Исповедь” Толстого десятилетия зрела...» («Мир искусства», 1903, т. IX. № 1–2, с. 61). Спустя четыре года Розанов продолжил свои рассуждения в статье «На закате дней. Л.Толстой и быт» («Русское слово», 1907, 5 октября. № 228): «... обычный способ его работы — *не сочинять, а видеть, любить и описывать*, или видеть, любоваться и тоже описывать, — об этом свидетельствуют такие его отрывки, как начатый и не продолженный роман “Декабристы”. Кстати, о последнем, так *удачно* начавшемся романе, мне пришлось услышать мнение самого Толстого, хотя и не мне сказанное: “Декабристы не были серьезными людьми. Это не были серьезные характеры. 14 декабря было эпизодом их жизни, пожалуй, их возраста и настроения, а не плодом какой-нибудь страшной решимости, какую принимает убежденный человек как вывод из всей жизни. И я перестал писать роман, видя, что для него нет сюжета, не может хватить содержания”».

Критик А. Амфитеатров в том же 1907 г., оценивая прошедшую эпоху, сравнивая героя толстовского романа с декабристами Н.А.Некрасова («Дедушка», «Русские женщины»), писал: «...Настроению эпохи нужны были гражданские идеалы, а не действительность, нужны были возвышающие обманы, а не обыденная истина, — и до настоящего декабриста, моющегося в Сандуновских банях, никому не было дела, а декабрист, которому сын фантастически омыл ноги, всем оказался нужен, близок, дорог. Быть может, потому отчасти и остался неоконченным роман Толстого в 1861 году, потому и застрял он на первой главе, что гениальный художник сразу увидел, что прямолинейный реализм его придется уж очень не ко времени. Нет никакого сомнения, что если бы начальная глава “Декабристов” появилась в печати, когда была написана, а не четверть века спустя, она вызвала бы сильную и неприятную для Толстого бурю — не за декабриста только, конечно, но за весь сатирический и “реакционный” тон. Перечитав

эту главу, я нарочно снял с книжной полки для сравнения «Взбаламученное море» Писемского. <...> Отрицательный тон грубоватого и неглубокого ворчуна Писемского показался мне детским лепетом сравнительно с отрицательным замыслом и первым приступом к нему глубочайшего скептика — Толстого» (Амфитеатров А. Литературный альбом. СПб., 1907, с. 306–307).

В 1885 г. в «Journal de St.-Petersbourg» был напечатан французский перевод «Декабристов».

Перевод на английский язык вышел в 1886 г.: «The Decembrists». Translated by N.H. Dole. London, 1886. Повторен в Собрании сочинений, вышедшем в Нью-Йорке в 1899 г. Позднее, в 1904 г. в Лондоне и Бостоне печатался перевод Л. Винера.

В 1888 г. появился перевод «Декабристов» на немецкий язык: «Die Dekabristen» Übers. v. H. Roskoschny. Leipzig. Cressner u. Schramm. 1888. Повторен берлинским издательством в 1891 г. в одной книге с «Альбертом» и «Люцерном». В 1906 г. в составе «Избранных сочинений» был напечатан перевод Р. Лёвенфельда.

В 1889 г. — во Франции: «Les décembristes». Trad. par E. Halpérine-Kaminsky. — Le chant de cygne. Paris, 1889. В том же году вышел перевод Б. Цейтлина и Э. Жубера. В составе Собрания сочинений (1903) помещен перевод Ж. В. Бинштока, просмотренный П. Бирюковым.

На испанский язык — в 1892 г.: «Los Decembristas». — El canto del cisne. Madrid, 1892.

На чешский язык «Декабристы» были переведены в 1902 г. К. Штепанком: «Děkabristé». Přel. K. Štěpánek. — Spisy. Sv. 7. Praha, 1902.

С. 179. ...уничтожение черноморского флота... — Черноморский флот был затоплен в Севастопольской бухте 27–28 августа 1855 г. при отходе русских войск после сдачи Севастополя

...Москва встречала и поздравляла... — Чествования севастопольских моряков состоялись в Москве 17–28 февраля 1856 г.: давались обеды, балы, гулянья. При встрече первых эшелонов моряков у Серпуховской заставы главный организатор торжеств откупщик-миллионер В. А. Кокорев сам преподнес им хлеб-соль на серебряном блюде и поклонился им в ноги. Здесь же морякам предлагалась традиционная русская чарка водки и угощение от купечества. По поводу этих торжеств М. П. Погодин написал сочувственную статью, о которой Толстой записал в дневнике: «Погодина с наслаждением прибил бы по щекам. Подлая лесть, приправленная славянофильством. Новая штучка» (13 мая 1856 г.).

...дальновидных девственниц-политиков... — Имеются в виду камер-фрейлина гр. А. Д. Блудова и фрейлина А. Ф. Тютчева (дочь поэта Ф. И. Тютчева), впоследствии Аксакова. С обеими Толстой был знаком. В великосветских салонах, как и в славянофильских кругах, к которым были близки обе фрейлины, с энтузиазмом восприняли начало Восточной войны. А. Ф. Тютчева писала в дневнике накануне войны, что война эта — «в осуществление того предсказания, которое предвещает на 54 год освобождение Константинополя и восстановление храма Св. Софии. Возгорится страшная борьба, гигантские и противоречивые силы вступят между собой в столкновение: Восток и Запад, мир Славянский и мир Латинский, Право-

славная церковь в борьбе не только с Исламом, но и с прочими христианскими исповеданиями, которые, становясь на сторону религии Магомета, тем самым изменяют собственному жизненному принципу. <...> Россия сражается не за материальные выгоды и человеческие интересы, а за вечные идеи. Потому невозможно, чтобы она была побеждена, она должна в конце концов восторжествовать» (Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1990, с. 52).

...мечтаний о молебне в Софийском соборе... — В соборе Ая-София в Константинополе; восстановление православных святынь провозглашалось задачей России в этой войне.

...потерю двух великих людей... — Речь идет об А.Н.Карамзине — сыне писателя и историка Н.М.Карамзина. А.Н.Карамзин командовал гусарским полком. 16 мая 1854 г. он повел два эскадрона гусар на безнадежно рискованную операцию под Каракалом в малой Валахии и был убит в бою. А.Ф.Тютчева так писала об этом в дневнике: «Несчастный Андрей защищался отчаянно, он и несколько офицеров были изрублены саблями у своих пушек, доставшихся затем врагам. Много людей погибло, остальные должны были искать спасения в бегстве. Тело Андрея не было найдено. Все ужасно в этой смерти, которая даже не искупается славой» (Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 1990, с. 63). Другой «великий человек» — М.М.Виельгорский, председатель комиссии по наблюдению за провиантской и госпитальной частью в Севастополе, куда прибыл в мае 1855 г. Умер от тифа в Севастополе 22 ноября 1855 г.

...на юбилее московского актера... — 26 ноября 1855 г. состоялся щепкинский обед — в честь пятидесятилетнего юбилея деятельности актера М.С.Щепкина. Перед обедом была прочитана статья С.Т.Аксакова о Щепкине. На обеде с речами выступали М.П.Погодин, С.М.Соловьев, С.П.Шевырев и др. К.С.Аксаков произнес тост: «Да создастся на Руси общественное мнение».

...целовальник... — Имеется в виду В.А.Кокорев. Его речь, подготовленная к обеду литераторов 28 декабря 1857 г. в купеческом собрании (по поводу царского рескрипта 20 ноября 1857 г. об освобождении крестьян) встретила цензурные трудности. После обеда у Кокорева 1 января 1858 г. обеды с речами были запрещены.

С. 180. *...журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием...* — Судя по первой редакции — «Русский вестник» Каткова: «...когда появились объявления журналов “Русско-го Вестника”, развивающего европейские начала на европейской почве».

...появилось вдруг столько журналов... — Рост числа новых журналов и других периодических изданий во второй половине 50-х годов был поистине удивительным. Если в 1851 г. их было 7, в 1856 г. — 10, то в 1859 г. — 38, а в 1860 — 43. Часть названных журналов соответствует реально издаваемым в это время: «Вестник» — «Русский вестник», «Слово» — «Русское слово», «Беседа» — «Русская беседа». Журналов «Наблюдатель» и «Звезда» в то время не существовало, но продолжала выходить «Звездочка» (изд. А.О.Ишимова, с 1850 г. вторая часть именовалась «Лучи. Журнал для девиц»); в 1859 г. В.Кремпин начал выпускать журнал «Рассвет»; журнал «Орел» выходил с 1859 г.

...наука бывает народна и не бывает народна... — Poleмика о «народности науки» велась в 1856 г. между «Русской беседой» и газетой «Московские ведомости».

...описавших роуцу и восход солнца ∞ дурное поведение многих чиновников... — Толстой имел в виду лирику А.А.Фета, романы И.С.Тургенева и И.А.Гончарова, «Губернские очерки» М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Пишущий эти строки ∞ был одним из деятелей того времени. — Толстой участвовал в вылазке из осажденного Севастополя в ночь на 11 марта и пробыл на 4-м бастионе с 30 марта по 15 мая 1855 г.

...написал о Крымской войне... — Имеются в виду Севастопольские рассказы, которые печатались в «Современнике» в 1855–1856 гг.

...прибыл в центр государства, в ракетное заведение... — Толстой приехал в Петербург из Севастополя 21 ноября 1855 г., был принят в Петербургское ракетное заведение, где и состоял до 11 мая 1856 г.

С. 182. ...Шальме... — Обер-Шальме, модная московская портниха-француженка (упоминается в «Войне и мире»).

С. 186. *Sie flechten* ∞ *irdische Leben*. — Строки из стихотворения Ф.Шиллера «*Würde der Frauen*» — «Доблесть женщины» (1795).

С. 188. ...2-н Шевалье... — Гостиница с рестораном Ипполита Шевалье существовала в Москве в Старогазетном переулке. По воспоминаниям А.А.Фета, Л.Н.Толстой с женой, приехав зимой 1863 г. из Ясной Поляны в Москву, «остановились в гостинице Шеврие, бывшей Шевалье».

С. 190. ...написал «Энеиду». — «Энеида» — поэма римского поэта Вергилия.

С. 193. ...эллипс... — От фр. *ellipse* — опущение, пропуск слова или названия. С.А.Толстая, копируя автограф, не разобрала слово; редакторы сб. «XXV лет» поставили: прозвание (повторено в *Юб.*, т. 17, с. 22); Н.Н.Гусев предлагал иной вариант: прозвище (пометы на личном экземпляре *Юб.*, хранящемся в библиотеке ГМТ).

...«один из стаи славных»... — Неточная цитата из стихотворения А.С.Пушкина «Перед гробницею святой...» (1831).

С. 197. ...во время «Иже херувимской». — «Иже херувимская» — духовная песнь православной церкви, называемая так по первым словам текста «Иже херувимы».

С. 198. ...простоять двенадцать Евангелий... — То есть службу православной церкви в страстной четверг, когда читается составленное из двенадцати отрывков Евангелия жизнеописание Христа.

С. 200. ...его издание... — И.С.Аксакову в 1859 г. была разрешена газета «Парус» (закрыта цензурой после второго номера), а с 15 октября 1861 г. газета «День» (выходила еженедельно до 1865 г.).

С. 202. ...с венгеркой и генералами в одно общее презрение... — В литературе 1840–1850-х годов венгерка (переставшая быть военной формой) часто упоминалась в ироническом смысле как излюбленная одежда деревенских помещиков-консерваторов (см. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М., 2000, с. 269–273).

ИДИЛЛИЯ

Впервые: «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого», под ред. В.Г.Черткова. Т. II, М., 1911, с. 153–173, 245–249, по не вполне исправной копии. Затем по автографу: *Юб.*, т. 7, с. 64–81, 82–86.

Рукописный фонд составляет 24 листа.

Печатается по автографам.

Работа над «Идиллией» относится к 1860–1861 гг. Были созданы две редакции. Одна, более обширная, состоящая из пяти глав, не имеет названия в рукописи. «Оно заработки хорошо, да и грех бывает от того» — видимо, подзаголовок и вписан Толстым позднее. Другая редакция, озаглавленная «Идиллия», с подзаголовком «Не играй с огнем — обожжешься», была начата без разделения на главы, однако вторую главу Толстой уже обозначил. Рядом с заглавием помета С.А.Толстой: «Написана до 1862-го года». Эта редакция содержит всего две главы. Публикатор и автор комментария к «Идиллии» в Полном собрании сочинений Л.Н.Толстого в 90 томах А.С.Петровский обозначил более обширную редакцию как вторую, но поместил ее в т. 7 перед более краткой, которую считал первой. Вероятно, решающую роль в этом выборе сыграл объем рукописей. Однако очевидно, что большая рукопись создавалась раньше и ее следует считать первой редакцией.

Во-первых, она имеет более черновой вид, носит следы большой авторской правки, проводившейся в процессе писания. Меньшая рукопись явно беловая. Везде четко, полностью выписано имя героини: Маланья, Маланька; в черновике часто была одна буква М., как и Андрюшки, Андрюхи — А. Те же события, что и в большей рукописи, изложены сжато, авторской правки намного меньше.

Во время создания большей рукописи замысел Толстого еще не получил названия. В меньшей название и подзаголовок написаны до текста, продуманно, аккуратно. На обложке меньшей рукописи рукой С.А.Толстой помечено: «Идиллия. Гр. Л.Н.Толстого. 2-й вариант». На последнем, 18-м листе, во фразе: «С тех пор и забыла думать о дворнике», ею же исправлена смысловая описка Толстого: над словом «дворнике» надписано: «гуртовщик»; однако на предыдущей странице и еще раз ниже остался «дворник» (исправлено в наст. изд.).

Очевидно, что к первому черновику Толстой возвращался неоднократно и, конечно, пользовался им, когда создавал «2-й вариант». Более темными чернилами, жирным пером зачеркнуты целые фрагменты, в частности все начало первой главы — в полном соответствии с новым началом во втором автографе. Но эта правка не создала в черновике новой редакции в силу незавершенности и даже противоречивости. Зачеркнутые позднее отрывки сохранены в тексте (обозначены квадратными скобками).

На л. 7 черновика зачеркнут конец фразы: «баб уж такой подлый, что страх». Последнее предложение во второй рукописи: «Это бы все ничего было, только насчет баб такой подлый, что страх». Зачеркивание на л. 7 — явный знак того, что до этого места дошло переписывание, перделка.

Последующий текст — лишь в первом автографе, причем исправлений здесь мало и несколько зачеркиваний. Конец изложен конспективно; появились заметки поверх написанного, крупными буквами и теми же чернилами, что зачеркивания. На обороте л. 10 от слов «Особенно с того раза» до слов «а на другой день в валы греби» написано: «Андрюха решил сердчать». На обороте л. 11 от слов «Мужики за ними копнят вилами» до слов «Расчет возьму» надпись: «С вечера приехали». На обороте л. 12 почти через всю страницу от слов «Не мил мне никто» в первой верхней строке до слов «села на колени к Андрюхе» надпись: «Заставила его борша водить. И что смешного, что бедный ушел, заплакал. Она пришла к нему». На оборо-

те л. 13 от слов «Баб возить заставили» до слов «успевай соскакивать» надпись: «Все чище, чище».

Возникновение замысла «Идиллии» относится, по-видимому, к маю 1860 г. 25 мая Толстой записал в дневнике: «Андреева мать много рассказывала. Как она побиралась и у богомолочек хлебушка попросила — слезы. Главное, от кого она понесла Андрея. “Положи ноги в телегу. Утешь мои телеса”. Отпечатала». В этой записи содержится зародыш ключевого эпизода «Идиллии» — встречи Маланьи с гуртовщиком в лесу и тайны рождения ее старшего сына.

По свидетельству С.Л.Толстого, мысль повести «Идиллия» подана Толстому рассказом яснополянской крестьянки, матери Андрея Ильича Соболева, «служившего много лет в Ясной Поляне во время опеки над малолетними Толстыми и позднее» (Толстой С.Л. Ясная Поляна в творчестве Л.Н.Толстого. — Ясная Поляна. Статьи и документы. 1942, с. 97, 98).

Обдумывание замысла продолжалось за границей, куда Толстой отправился 2 июля 1860 г. С большой долей уверенности к «Идиллии» могут быть отнесены следующие дневниковые записи этого года:

26 июля/7 августа: «Мысль повести. Работник из всех одолел девку или бабу. Формы еще не знаю».

27 июля/8 августа: «Форма повести: смотреть с точки мужика; уважение к богатству мужицкому, консерватизм; насмешка и презрение к праздности; не сам живет, а Бог водит». Запись вполне приложима к первой редакции, где повествование ведется от лица человека из крестьянской среды.

17/29 августа: «Дорогой пришла мысль о простоте рассказа, — живо представляя слушателя — Андрея». Эту запись с самой первой, от 25 мая, объединяет имя героя, а с записью от 8 августа — продолжающиеся поиски формы повествования.

Непосредственно перед 1/13 апреля 1861 г. в дневнике упомянуто имя главного прототипа произведения: «Что прошло в эти 4 месяца, трудно записать теперь — Италия, Ницца, Флоренция, Ливурно. Попытка писания Акс<иньи>». Таким образом, работа над «Идиллией» (и близким по замыслу сюжетом — «Тихон и Маланья») удостоверена дневником. Прототипом Маланьи в «Идиллии», «Тихоне и Маланье», как и в повести «Поликушка» (жена Ильи), послужила яснополянская крестьянка Аксинья Базыкина, которой Толстой был увлечен в течение нескольких лет.

Н.Н.Гусев, признававший, что замысел «Идиллии» возник у Толстого в 1860 г., время ее создания относил к 1862 г. «на основании внешнего вида бумаги», на которой написаны две редакции «Идиллии» и почти все рукописи «Тихона и Маланьи». Листы из расшитой тетради с двумя круглыми пробоинами слева, нелинованные, почти квадратного формата, характеризованы как вырванные из конторской книги, которой не могло быть с Толстым за границей (см.: Гусев, II, с. 471). Но это не конторская книга, а особого вида тетрадь.

В 1885 г., занимаясь пятым изданием «Сочинений», С.А.Толстая намеревалась включить в него отрывок «Деревенская идиллия» (вместе с «Декабристами» и с «Историей одной лошади»). В кратком предисловии «От издательницы», отправленном 9 сентября этого года для просмотра Н.Н.Страхову, говорится: «Второй отрывок, “Деревенская идиллия”, есть картина из деревенского быта» (Л.Н.Толстой и С.А.Толстая. Переписка с Н.Н.Страховым. Оттава, 2000, с. 184). Завершенный Толстым «Холстомер», отрывки из «Декабристов» появились в пятом и шестом изданиях

«Сочинений»; «Деревенская идиллия» напечатана не была. В ГМТ сохранилась копия двух редакций «Идиллии», выполненная С.А.Толстой. В обеих рукописях подзаголовки: «Не играй огнем — обожжешься» (несколько измененный подзаголовок Толстого ко второй редакции); «(Из деревенского быта)», данный, по-видимому, С.А.Толстой. Ею же сделана помета: «Написано до 1862 года».

С. 207. *...только по сказкам числится...* — Имеются в виду ревизские сказки — именные списки всего наличного населения.

...Дунаиха, за то что она первая хороводница... — В народной игровой песне «Как пошел же Дунай / Он на игрища гулять» вторым действующим лицом является девушка (см.: Русская народная поэзия. Обрядовая поэзия. Л., 1984, с. 57).

С. 208. *...на сына другую землю принял...* — Т.е. взял для обработки еще один надел земли.

...уберется в ленты, галуны... — Галун — золотая, серебряная или мишурная тесьма.

С. 209. *Петра и Павла отпраздновали...* — День этих святых апостолов отмечается 29 июня ст.ст.

...вальками стучать... — Валек — приспособление, с помощью которого раскатывали при стирке белье, в виде плоской деревянной дощечки с поперечными зарубками и рукоятью.

...целовальник... — При казенной и откупной системе продажи вина сиделец в питейном заведении.

...подвязали брусницы... — Брусница — точильный камень.

С. 210. *...коты на веревочке...* — Коты — женская обувь, полусапожки, ботинки, башмаки с высокими передами или круглые, как будто с отрезными голенищами, с алой суконной оторочкой.

...на 10 десятинах. — Десятина — русская единица земельной площади до введения метрической системы мер, равная 1,092 гектара.

С. 211. *...в самые Петровки...* — В пост перед праздником св. апостолов Петра и Павла.

...камердин... — Искаженное «камердинер».

...синенькую, красенькую давал. — Синенькая — пятирублевая, красенькая — десятирублевая ассигнация.

...напихали хоботья... — Хоботье — мякина, избитый цепом хлебный колос, от которого отвеяно зерно.

С. 212. *...юнкер...* — Унтер-офицер из дворян.

С. 213. *...пуще станового боялся.* — Становой пристав — полицейский чиновник.

...рубашонка посконная... — Из поскони — крестьянского рубашечного холста.

...работнику лядащему... — Хилому, тощему.

С. 214. *...гладуху такому...* — Гладух — толстяк, здоровяк, крепыш.

С. 215. *...затяглых много.* — Тягло — мера земли и подать с нее. Тяглый крестьянин — обложенный податью, податной, тот, который тянет полное тягло, за две души — за себя и за жену. Крестьянин, если был здоров, оставался тяглым с женитьбы до 60 лет. Затем он шел на полтягла или на четверть тягла, или смещался с тягла совсем.

С. 217. *...хворосту на падрину рубить...* — Падрина — подстожье, подстилка под хлебный скирд.

...в тавлинке... — В берестяной табакерке.

С. 219. ...подобрала паневу на голову... — Панева — шерстяная юбка, красная, синяя, клетчатая или полосатая, которую носили замужние женщины и просватанные девушки.

...рубаха александринская... — Из александрейки, красной бумажной ткани с пропиткой другого цвета (белой, синей, желтой).

С. 221. ...на гумно... — На крытый ток, где молотят зерно.

...к овину... — Овин — строение для сушки хлеба в снопах.

С. 222. ...чересседельню свил... — Чересседельня — ремень, держащий оглобли.

С. 224. ...десятского пошет... — Десятский — помощник старосты, избираемый от десяти дворов.

С. 225. По щетку лошадь на пашне вязнет... — Щетка — часть ноги лошади над копытным сгибом.

ТИХОН И МАЛАНЬЯ

Впервые: «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого», под ред. В.Г.Черткова. Т. II. М., 1911, с. 139–152, 241–246, по не вполне исправной копии, не полностью. Затем по рукописям, частично — с вариантами: *Юб.*, т. 7, с. 87–98, 100–104, 111–116; *ЛН*, т. 37–38, с. 598.

Рукописный фонд составляет 40 л.

Печатается по копии рукой С.А.Толстой, с вставками и правкой Толстого, и по автографам. В части текста, дающейся по копии, внесены следующие исправления по автографу:

С. 229, строка 27: рученьки, ноженьки — *вместо*: ручонки, ножонки.

С. 230, строки 7–8: про соседей, про прохожих солдат — *вместо*: про соседа, про прохожих солдат.

С. 230, строки 11–12: посматривал — *вместо*: посматривая.

С. 231, строки 39–40: с солдаткой и еще с двумя бабами — *вместо*: с солдаткой и двумя бабами.

С. 232, строка 22: надо чем позабавиться — *вместо*: надо чем-нибудь позабавиться.

С. 235, строка 21: фельдъегарь — *вместо*: фельдъегерь.

С. 235, строка 34: о чем речь — *вместо*: о чем идет речь.

Сохранились две основные рукописи. Более ранняя — автограф Толстого, без названия, с очень значительной правкой (печатается полностью во второй серии наст. изд.). Вторая — частично (первые два листа — четыре страницы, несколько строк на л. 3 и 4, последние абзацы, от слов: «Потолковав с мужиками о лугах») автограф; остальное — запись С.А.Толстой под диктовку и копия ее рукой, с последующей правкой Толстого. Перед репликой: «Спасибо, Тишинька» на полях помета С.А.Толстой: «диктовано». Главное различие между двумя рукописями — разные редакции начала и дописанный Толстым во второй рукописи конец. Вторая озаглавлена самим Толстым «Тихон и Маланья». Это единственная рукопись, имеющая заглавие. Можно с уверенностью утверждать, что это начало произведения, чего нельзя сказать обо всех других фрагментах (поэтому она дается в начале, хотя является хронологически позднейшей).

Время создания второго начала можно определить довольно точно: после женитьбы, т.е. после 23 сентября 1862 г. Была закончена первая глава, о чем свидетельствует цифра 2 в конце, обозначившая переход ко второй главе. Однако на этом писание остановилось. Причиной отказа от дальнейшей работы были скорее всего обстоятельства личной жизни. Толстой, по-видимому, вынужден был принять во внимание непреодолимое чувство ревности, охватившее Софью Андреевну после того, как она увидела прототип Маланьи — яснополянскую крестьянку Аксиныю Базыкину, многолетнюю любовную связь с которой Толстой прервал только перед женитьбой. Судя по дневниковой записи С.А.Толстой от 16 декабря 1862 г., работа над повестью была прервана в первой половине декабря (см.: Толстая С.А. Дневники в двух томах. Т. I. М., 1978, с. 44). Та же Аксиныя под собственным именем возникнет в конце 1880-х годов в повести «Дьявол» и вызовет те же чувства у жены Толстого, когда она в 1909 г. случайно обнаружит рукопись.

Черновой автограф и все другие наброски, относящиеся к «Тихону и Маланье», располагаются между двумя временными вехами: после того, как Толстой оставил работу над второй редакцией «Идиллии», и до того, как осенью 1862 г. написал новое начало и приступил к созданию копии. Сочинение представляет собой попытку по-новому, более подробно и развернуто изложить сюжет «Идиллии». Оба произведения имеют общих героев, детали обстановки и быта. В обоих действие происходит летом, на Петров день, в пору сенокоса. Скорее всего отрывок, начинающийся фразой: «Всю ночь напролет слышны были песни, крики, говор и топот на улице», мог стать прямым продолжением основной рукописи, то есть 2-й главой. В Мисоедове, как называлась деревня в черновике, происходит действие двух отрывков, связанных между собою по содержанию, о плотниках: «Это было в субботу в самые Петровки» и «Прежде всех вернулись в деревню плотники...». Автограф, начинающийся словами «Как скотина из улицы разбрелась...», — второй полулист, оторванный от фрагмента «Это было в субботу...»; при публикации в наст. изд. они объединены. Но в целом сочинение, широко задуманное и далеко не завершенное, сохранилось в виде разрозненных набросков.

По свидетельству Д.П.Маковицкого, Толстой перечитал свою неоконченную повесть в октябре 1906 г. в связи с предложением тульского вице-губернатора дать какую-нибудь рукопись для благотворительного вечера. «Софья Андреевна спросила Л.Н. о тех рассказах, которые она ему положила на стол: прочел ли их. Там был рассказ «Тихон и Маланья» 1862 г.

Потом Л.Н. говорил про «Тихона и Маланью»:

— Как я тогда расплывался — писал на страницах, что можно было сказать в двух словах. Удивительно, что я это писал. — И не согласился отдать рассказ, потому что так наивен, многословен. — Приятно было читать. Там видна моя любовь и хорошее отношение к народу» (ЛН, т. 90, кн. 2, с. 287–288).

С. 227. ...тележный ящик... — Кузов, обшитый лубом, дранью.

...чалая... — Серая, с примесью другой шерсти.

...тронулась на изволок... — Изволок — отлогая гора; некрутой, длинный подъем.

С. 228. ...скинул петли постромок... — Постромка — ременная пристяжь в конской упряжи.

...*рассупонил*... — Супонь — ремень, стягивающий хомутные клешни под шеей лошади. Супонить лошадь — затянуть и закрепить супонь.

Карего-то променял что ли? — Карий (караковый) конь — темногнедой, почти вороной, с подпалинами, с желтизной на морде и в пахах.

Саврасую-то тоже купил что ль? — Саврасый конь — светлогнедой с желтизной.

С. 229. *Осьминника два ли*... — Осьминник — поземельная мера, равная четверти десятины.

...*свекловичу* — *что ли всё полют*. — Свекловица — сорт красной или белой свеклы, пригодной для варки сахара.

С. 230. ...*чтобы пудовиками ворочать*... — Пудовик — пудовая гирия.

С. 231. ...*заново вымытых онучах*... — Онуча — обвертка на ногу вместо чулка, под сапоги и лапти, род портянок.

...*в красной занавеске*. — Занавеска — длинный женский передник с лифом, а иногда и с рукавами.

...*замчной солдат*... — Захожий.

...*гарусная занавеска*... — Гарус — сученая белая или цветная шерстяная пряжа.

С. 232. ...*в поддевах*... — Поддевка — полукафтанье или безрукавный кафтанчик, поддеваемый под верхний кафтан.

...*наймусь в выборные*... — Выборный — у крестьян то же, что сельский староста (не волостной), старший на селе, нарядчик.

...*так-то мы летось земского о завалили*... — Земский — волостной, приказный или общинный писарь, старший писарь при вотчинной конторе или при бурмистре, начальнике вотчины.

С. 235. ...*подскакал фельдъегарь*... — Фельдъегерь — рассыльный, гонец, курьер при высшем правительстве, в военном звании.

С. 236. ...*с исправником*... — С начальником уездной полиции.

...*сел фолетором наш Сенька*. — Фореитор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом (гуськом).

С. 237. ...*поехал в денное*... — Денное — дневная пастьба.

С. 238. ...*стукнул последний раз в пристенок*... — Пристенок — игра в бабки, козны или в деньги, которые бросают в стену; чья ставка ляжет ближе к чужой, тот ее выиграл.

...*собрал свои ладышки*... — Ладышки — лодыжки, кости для игры.

...*отставшего стригуна*... — Стригун — годовалый жеребенок, у которого в эту пору остригают гриву.

С. 239. ...*ошарила на печи серничек*... — Лучинку, обмокнутую кончиком в растопленную серу, для добычи огня.

...*калясь зеленой травой*... — От глагола «калять» (тул.) — марасть или гадить.

С. 240. ...*и офень*... — Офеня — коробейник, мелочной торговец, развозящий или разносящий товар по малым городам, селам, деревням.

С. 241. ...*ходила по отаве*... — По траве, выросшей после косьбы.

...*подвязали сволюки*... — Сволок — вал.

С. 242. ...*сошники он перелайл и поперил*... — Сошник — лемех, железный треугольник, насаженный на ногу сошного полоза. Попереть — сильно напереть и сдвинуть.

...*до Ильина дни*. — До 20 июля ст. ст.

...не убрал ∞ полусаженя... — Полусажень — линейка длиной в полтора аршина, т.е. около одного метра, с нанесенными на ней делениями, служащая для измерения.

...к углу иструба. — Иструб — сруб, срубленная вчерне изба, без крыши.

С. 243. ...свою новую поярковую шляпу. — Сделанную из поярка, шерсти с овцы первой стрижки.

С. 244. ...на перемета разрезали. — На жерди.

<ОТРЫВКИ РАССКАЗОВ ИЗ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ>

Впервые: 1-й отрывок — *Юб.*, т. 7, с. 106–109; 2-й отрывок — Л.Н.Толстой. Избранные произведения. М.—Л., 1927, с. 124–126.

Рукописный фонд составляет 5 л.

Печатается по автографам.

Точное время работы Толстого над этими текстами установить невозможно: какие-либо упоминания о них в дневнике отсутствуют. Содержание позволяет отнести их к началу 1860-х годов, времени создания «Идиллии» и «Тихона и Маланьи». Не исключено, что задумывалась большая повесть из народной жизни, как она и названа в дневниковых записях 1860 г. (см. комментарий к «Идиллии»). О близости отрывков к этим произведениям говорит и наличие общих персонажей, прототипами которых стали яснополянские крестьяне. Федор и Сергей Резуновы из первого отрывка, Резун из «Тихона и Маланьи», плотник Федор Резун из «Поликушки» могли быть частично списаны с яснополянского крестьянина Сергея Резунова, «бойкого и самостоятельного мужика, с задорным характером» (*Юб.*, т. 5, с. 345), по словам С.Л.Толстого. Одного и того же прототипа имели старик Семен из второго отрывка и Фоканыч из «Тихона и Маланьи». О приезде барина рассказывается во втором отрывке и в «Тихоне и Маланье» («Прежде всех в селе узнали у Копыла, что в ночь приехал барин»).

Датировку второго отрывка уточняет упоминание в нем института мировых посредников, введенного указом от 25 марта 1861 г. В Тульской губернии мировые посредники начали действовать в мае—июне этого года. Толстой сам служил мировым посредником. Та часть отрывка, где говорится о негодовании дворянства, которое возбудил своей деятельностью помещик, основана на автобиографическом материале. То же можно сказать и о попытках помещика полюбовно договориться с крестьянами.

В отрывках отразились те же поиски формы повествования, которые побудили Толстого перейти от сказа в двух редакциях «Идиллии» к нейтральному повествованию в «Тихоне и Маланье». В первом отрывке повествование ведется от лица человека, близкого описываемой среде, и стилизовано под крестьянскую речь, во втором — нейтральный повествователь.

С. 247. ...чтобы больше двойников и тройников было... — Т.е. семей с двумя и тремя совершеннолетними сыновьями.

...велел отсыпное выдавать... — Отсыпное — паек, мясина, отпускаемые мерой.

С. 248. ...замашки стелила. — Замашки — посконный холст из конопли.

С. 249. ...*в Троицу*... — В Троицын день, праздник, установленный православной церковью в честь догмата Св. Троицы, один из двенадцатых праздников, отмечается на 50-й день после Пасхи.

С. 250. ...*содрал с него на косушку*. — Косушка — мера жидкости, равная четверти штофа или половине бутылки, то же, что шкалик.

К посредственнику ездил. — К мировому посреднику.

...*когда царская межжевка придет*... — В связи со слухами о начавшейся по воле Александра II крестьянской реформе крепостные крестьяне повсюду не доверяли помещикам и надеялись на справедливый раздел земли самим царем.

...*кошедатраная межжевка*... — От слова «кош», в южных говорах селенье, станица.

С. 251. ...*ниже Положения*... — Имеются в виду условия раздела крестьян с помещиками, предложенные правительственной программой освобождения крестьян. Существовали разные варианты решения этого вопроса: бесплатное освобождение без земли, выкуп личности крестьянина с полным земельным наделом, выкуп только земельной оседлости, т.е. усадьбы.

...*предлагал оставить барщинскую работу, только оценив ее в деньги*... — Для освобождения крестьян был установлен срок в несколько лет, в течение которого они считались «временнообязанными» и должны были продолжать работу на помещика.

СОН

Впервые: Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений: В 15 т. Под ред. К.Халабаева и Б.Эйхенбаума. Т. III. М.—Л., 1928, с. 501–502.

Сохранились три автографа и копия рукой С.А.Толстой (в общей сложности 5 листов).

Печатается по рукописи.

Истоки «Сна» — в размышлениях об искусстве и жизни, о поэзии и действительности, о любви и семье, которые сильно занимали Толстого в 1857–1859 гг. и отразились в сочинениях тех лет: «Из записок князя Нехлюдова. Люцерн», «Альберт», «Семейное счастье». В дневнике 23 ноября 1856 г. характерная запись: «Как хочется поскорее отделаться с журналами, чтобы писать так, как я теперь начинаю думать об искусстве, ужасно высоко и чисто».

Н.Н.Гусев считал, что разговор о стихотворениях в прозе, когда Толстой дал И.С.Тургеневу эту мысль, происходил в Париже в марте 1857 г.: «к 1857 году относится стихотворение в прозе, написанное самим Толстым и озаглавленное “Сон”» (*Гусев, II*, с. 180).

31 декабря 1857 г. о трех последних днях этого года сказано: «Писал Николенькин сон. Никто не согласен, а я знаю, что хорошо». Более раннюю дневниковую запись, 24 ноября: «Дописал сон недурно» — следует отнести к повести «Альберт» («Погибший»). Видимо, сюжет «Сна» имел какое-то отношение к брату Николаю Николаевичу: живя эту зиму в Москве, Толстой часто встречался с братьями. Это была первая редакция — полторы страницы текста на листе тонкой заграничной бумаги. Здесь много исправлений по ходу письма и при повторном обращении к рукопи-

си (см. т. 4 второй серии). Следующий автограф — в письме В.П.Боткину, отправленном в Рим 4 января 1858 г. Замысел и стиль прояснялся, исправлений уже немного. Толстой просил Боткина показать посланное Тургеневу («прочтите это ему и решите, что это такое, дерзкая ерунда или нет») и противопоставлял свое сочинение политической злобе дня («небывалый кавардак, поднятый вопросом эмансипации»): «Я устал от толков, споров, речей и т.д. В доказательство того при сем препровождаю следующую штуку, о которой желаю знать ваше мнение. Я имел дерзость считать это отдельным и конченным произведением, хотя и не имею дерзости печатать». Ответ ни Боткина, ни Тургенева неизвестен.

Находясь 11–17 марта 1858 г. в Петербурге, Толстой читал А.А. и Е.А.Толстым только что законченные «Три смерти» и, видимо, рассказывал про «Сон». Вернувшись в Москву, написал А.А.Толстой 24 марта: «Не могу сыскать Сна, чтобы прислать вам. Другую же вещьцу <«Три смерти»> отдал переписывать и пришлю на днях». Скорее всего, в этой связи возник третий автограф «Сна», который впоследствии был использован при работе над «Войной и миром».

Спустя пять лет, в конце февраля — начале марта 1863 г. Толстой принял попытку напечатать «Сон». Видимо, к этому произведению относится дневниковая запись 23 февраля 1863 г.: «Перебирал бумаги — рой мыслей и возвращение или попытка возвращенья к лиризму. Он хорош. Не могу писать — кажется — без заданной мысли и увлеченья». Во всяком случае, в ближайшее к этой дате время лишь одна вещь — «Сон» — была отдана в печать.

Текст выполненной С.А.Толстой копии не совпадает ни с одним автографом: возможно, имела место диктовка, или какой-то источник не дошел до нас (см. во второй серии варианты последнего автографа 1858 г.). Подпись в копии: Н.О. И далее письмо (тоже рукой С.А.Толстой), адресованное И.С.Аксакову, редактору газеты «День»:

«Милостивый государь

Иван Сергеевич,

Посылаю для напечатания в Вашей газете мой первый литературный опыт, разумеется, если вы найдете это удобным. Прошу вас покорно дать ответ по следующему адресу:

В Тулу. Наталье Петровне Охотницкой. До востребования».

Н.П.Охотницкая — жившая в Ясной Поляне при Т.А.Ергольской обедневшая дворянка.

Ответ Аксакова от 28 марта 1863 г. сохранился: «Статька ваша “Сон” не может быть помещена в моей газете. Этот “Сон” слишком загадочен для публики, его содержание слишком неопределенно, и может быть вполне понятен только самому автору. Для первого литературного опыта слог, по моему мнению, недурен, но сила вся не в слоге, а в содержании» (ГМТ).

Так в 1863 г. завершилась история стихотворения в прозе «Сон», которое Толстой считал законченным произведением, хотя и не пожелал опубликовать под своим именем.

Позднее текст еще раз изменялся, но в составе уже другого произведения — «Война и мир». Ненапечатанный «Сон» превратился в сочинение неоконченное.

В 1865 г. при работе над ранней редакцией второй части романа, опубликованной в 1866 г. под заглавием «1805 год», «Сон», с небольшими поправками в последнем автографе (главная из них: замена «я» на «он», хотя

сделано это лишь на первой странице, дальше так и осталось «я»), вошел в ту главу, где рассказывается о падении Николая Ростова. Но при дальнейшей работе над романом вся глава оказалась выпущена. Видно, впрочем, что содержанием «Сна» Толстой очень дорожил и еще раз намеревался его воплотить: в главе о Пьере, ночующем в доме умершего своего «благодетеля» Баздеева. И на этот раз дело не дошло до печатного текста.

Между тем, начав «Войну и мир» во вдохновенном творческом порыве, сознавая, что принялся за грандиозное создание, которое призвано покорить всех («толпа» во «Сне»), Толстой остро ощущал несоизмеримость, противоречие между искусством и жизнью, даже если эта жизнь освещена любовью, возможной, желанной (как во «Сне»), или свершившейся. Спустя год после женитьбы, 6 октября 1863 г. в дневнике записано: «Я ею счастлив, но я собой недоволен страшно. Я качусь, качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, а хочу и люблю бессмертие».

ОТЪЕЗЖЕЕ ПОЛЕ

Впервые: *Юб.*, т. 5, с. 214–218.

Сохранилось 9 листов с рукописями «Отъезжее поле»: три автографа с началами повести.

Печатается по автографам.

Характер замысла яснее всего раскрыт в дневниковой записи 30 сентября 1865 г.: «Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания событий — Braddon, мои Казаки, будущее; 2) в картине нравов, построенных на историческом событии — Одиссея, Илиада, 1805 год; 3) в красоте и веселости положений — Пиквик, Отъезжее поле и 4) в характерах людей — Гамлет, мои будущие...». Согласно словарю В.И. Даля, «отъезжее поле — псовая охота в дальности от жилья своего, в пустошах, где ночуют табором, станом». Предполагалась, стало быть, «красота и веселость положений» во время охоты, описание деревенской помещичьей жизни. Ни одной охотничьей сцены в рукописях нет, хотя герой — страстный охотник, и говорится про сборы на охоту. В записных книжках 1856–1857 гг. много заметок этого рода. Во всех трех автографах заглавие: «Отъезжее поле».

Записи о работе над повестью находятся в дневниках 1856–1857 и 1865 гг. Но датировать автографы на основании дневника не представляется возможным. Достоверные данные нисходят лишь в рукописях. Во втором начале на л. 1 об. есть текст: «Человек этот, Иван Телошин, как его звали в свете, был женат на богатой кузине кн. Вас. Илар. В осень 1863 года Телошин почувствовал...». Ясно, что это не могло быть написано раньше осени 1863 г. Дополнительные доводы для датировки — на л. 3 этого же автографа. Здесь развернут разговор Телошина с женой о ее брате, живущем постоянно в деревне — развитие фрагмента, первоначально набросанного на отдельном листке (зачеркнут). На обороте этого листка всего шесть строк текста Толстого, остальное заполнено примитивными детскими рисунками, вернее, линиями, штрихами; точно такие же — на л. 3 основного автографа. Очевидно, что «рисунки» эти могут принадлежать одному человеку — трехлетнему сыну Толстого Сергею, оказавшемуся в кабинете отца. Таким образом, два автографа со вторым началом могут

быть уверенно приурочены к 1865 г., когда и в дневнике Толстого отмечено писание «Отъезжего поля».

Первое начало, открывающееся словами: «Это было [еще до Тильзитского мира] в 1807 году [от Рождества Христова]», на основании почерка и бумаги может быть отнесено к концу 1863 или началу 1864 г.: на такой же бумаге сделаны копии «Зараженного семейства» и написаны ранние автографы «Войны и мира». Начальная фраза первого наброска поразительно соотносится с одной из рукописей будущего романа, открывающейся словами: «Это было между Тильзитом и пожаром Москвы...».

Писание «Отъезжего поля» удостоверено дневником 1856–1857 гг., но самих рукописей нет. Очевидно, прав был С.Л. Толстой, предполагавший, что часть автографов «Отъезжего поля» погибла (*Юб.*, т. 5, с. 325).

Тем большую ценность приобретают заметки в дневнике и записных книжках, относящиеся к раннему периоду, раскрывающие зарождение и развитие замысла.

Летом 1856 г. в Ясной Поляне, сам увлеченный охотой, Толстой 22 августа, закончив «начерно» «Юность», записал: «...Придумал О<тъезже> П<оле>, мысль которого приводит меня в восторг». На следующий день: «Начал О<тъезже> П<оле>».

В записной книжке заметки к повести начались с июля. Многие обозначены: «К “Отъезжему полю”».

«...Аккуратный становой имеет тайную страсть буянить. Не охотник. Буян чужой. — Ты граф, а я князь. На закате солнца сафирная вершинка, половина в зеленях, паутина, былинки озими трясутся от ветра. Арапник цепляет за ноги зайца. Жена станового поет русские песни. Старичок граф один в леску неудачно любезничает с бабой. — Музык<ант> с ним, играют в карты. Бабы овец стригут».

«Думаю, собаки про меня думают, что я умный».

«...По мягкой пашне только слышно побрякивание ошейников».

«...Глупый теленок. Туманное утро — солнце круг».

«...Один выговаривает племяннику за то, что его собак поил, а племянник поет тирридиндин, тирридиндин для лютой скорби, ну, что вы глупости стервецу страшные. Племянник говорит другому из кучеров: ваш барин сердитый, у него глаза вылуплены. Отколлот штуку, острит племянник».

Коробочник не имел счастья видеть волка».

«...Лошадь пофыркивает».

Затем в сентябре—октябре того же 1856 г.:

10 сентября. «Чинovníк, верящий в нынешний свет, молодой, веселый, встречается в дальней деревне и ссорится с достоинством, говоря, что состояние первое.....

Старушка в гробу завязана».

«Лакей с барином травят лисицу».

«...Встречаешь 2 мальчишек в сапогах, с голыми ногами, один в картузике с галуном, несут в поле яблоки».

«...Посылает бабу, листья на скамейке. Отвечает с выражением. Не боюсь, если что?»

23 сентября. «Девка кокетничает, как будто неловка, вертится, завязывает щеку молодому человеку, собака лежит на солнце, смотрит на муху».

7 октября. «Пахнет яблоком в чулане и печеным хлебом».

«В туман тихо слышно звяканье. <...> стадо кажется лесом».

«Возвращаться домой темно, мга, на горизонте неясные очертания крыш и деревьев деревни».

15 октября. «“Ангел водки!” Барышни собрались для компании графа, попадья всех заняла, шутиха. Играют, что болит? по какому цвету. Попадья желтый, желтая пупавка, поповка, пуп».

Возможно, и некоторые другие записи 1856–1857 гг. относятся к «Отъезжему полю»; поскольку рукописи не сохранились, судить об этом предмете чрезвычайно трудно.

15 октября 1856 г., находясь в Покровском у сестры, Толстой «много болтал о своих планах об Отъезж~~ем~~ поле». Сам он тогда целую неделю провел на охоте в отъезжем поле.

В начале следующего, 1857 г. продолжалось обдумывание повести. 12 января среди произведений, которые следует «писать, не останавливаясь, каждый день», на первом месте поставлено «Отъезжее поле». То же — в дневниковой записи 22 марта/3 апреля, сделанной в Париже во время первого заграничного путешествия: «Думаю начать несколько вещей вместе. Отъезжее поле и Юность¹, и Беглеца». В мае в Швейцарии отмечено писанье. 27 мая/8 июня: «Писал Отъезжее поле мало, но идет порядочно». 31 мая/12 июня в записной книжке подчеркнуто задание: «Писать Казака и Отъезжее Поле, не останавливаясь для красоты, а только чтобы было гладко и не бессмысленно».

Одновременно в записную книжку вносились заметки, помеченные самим Толстым к «Отъезжему полю».

20 апреля/2 мая. «Помещики дают обещания и для них чудеса совершаются».

24 апреля/6 мая. «Семейство Пальчиков, работы, занятия, самоотвержение друг для друга, вечная деревенская жизнь, prestige образования».

4/16 мая. «14-летняя девочка, влюбляется. Она развита не по годам. Ему стыдно, неловко. Она: не понимает, так чиста». Сюжет этот обозначен в одном из автографов 1865 г.

10/22 мая. «Старик главный Пущин и чахоточный племянник».

28 мая/9 июня. «Барин соглашается легко с либеральными идеями, но что ему делать?»

«Жена умерла прежде, старик сделался угрюм, подозрителен, боится, что он в тягость, и перед смертью только размяк».

«Уезжают гости, ночь в саду — барышня влюбленная провожает. Приживалка».

25 июня/7 июля в дневнике отмечено: «О~~т~~ъезжее~~е~~ П~~о~~ле~~е~~ бросил», а на другой день: «Передумал О~~т~~ъезжее~~е~~ П~~о~~ле~~е~~ и начал иначе».

27 июня/9 июля из Люцерна Толстой сообщал В.П.Боткину: «Я занят ужасно, работа — бесплодная или нет, не знаю — кипит». Спустя две недели в дневнике (11/23 июля) обобщающая запись: «О~~т~~ъезжее~~е~~ П~~о~~ле~~е~~ — комизм живейший, концентрировать — типы и все резкие».

Продолжались заметки в записной книжке:

4/16 июля. «Из-за карт выходит старый помещик, музыка играет, ногами поталкивает».

«Собаки сыты и свежи».

Возможно, к «Отъезжему полю» относятся и заметки 7/19 июля:

¹ Имеется в виду «вторая половина» «Юности».

«Солнце блестит на его глянцеви́том сертуке на сильных плечах».

«У старичка волнистые широкие чистые сапоги и ужасно чистый старый сюртук».

Запись 8/20 июля прямо отнесена к «Отъезжему полю»: «4 брата и сестра».

18 августа, уже в Ясной Поляне, Толстой записал: «Отъезжее поле совсем обдумалось...». И затем 28 августа: «Читал 2-ую часть "Мертвых душ", — аляповато. О<тъезжее> П<оле> надо одно писать. И тетеньку туды».

Тетенька — Т.А. Ергольская, о которой мечталось что-то написать давно, еще в 1851 г. (см. т. 1 наст. изд.). На другой день, однако, иное настроение и писательское самочувствие: «Все мысли о писаньи разбегаются, и Казак, и Отъезжее поле, и Юность, и Любовь. Хочется последнее — вздор. На эти три есть серьезные матерьялы».

В записной книжке 1857 г. заметки к «Отъезжему полю» продолжались до октября.

20 августа. «В редком лесу гоняют, никто не знает что».

«Праздник для мужиков. За сапоги».

«Как глупы молодые люди. Полуулыбаются. Недобрые люди».

«Щелин брата доказывает незаконные с кучером».

«Все хорош, добр, пошел по мужикам, — ты злодей».

23 сентября. «Две старушки толкуют о воле Божьей, ничего без воли Божьей».

Октябрь. «Страх аду, молодой невинный ужас».

Спустя восемь лет, работая над романом «Война и мир», где такое большое место занимают сцены деревенской жизни, в том числе охоты, Толстой вспомнил «Отъезжее поле». 9 октября 1865 г., находясь в Покровском, отметил в дневнике: «Писал О<тъезжее> П<оле>. Выходит неожиданно». Тонкая почтовая бумага с овальной печатью (в ней — литеры *И.Т.*) была взята у сестры — в яснополянских рукописях такой бумаги нет. Но заключительный фрагмент второго начала писался в Ясной Поляне, на другой бумаге.

В дальнейшем Толстой не возвращался к этому произведению.

С. 253. *В приспешной...* — Приспешная, или приспешня — кухня, поварня.

С. 255. *Уставные грамоты...* — Введенные Положением 19 февраля 1861 г. бумаги, определявшие отношения помещика с временнообязанными крестьянами (размер надела и повинности за пользование им).

Блажен... Кто постепенно жизни холод С годами вытерпеть умел. — Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина: «Блажен, кто смолоду был молод, // Блажен, кто вовремя созрел, // Кто постепенно жизни холод // С летами вытерпеть умел» (гл. 8, строфа X).

С. 256. *...назад в остров...* — В небольшой, отдельно стоящий лес.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО

- «Альберт» («Погибший») — 282, 309, 344, 354
- «Анна Каренина» — 313, 329, 341
- «Власть тьмы» — 303
- «Война и мир» — 261, 262, 300, 302, 311–313, 317, 327, 330, 335–337, 340–342, 346, 355–357, 359
- «Военные рассказы» — 308
- «Воспитание и образование» — 298
- «Вражье лепко, а Божье крепко» — 329
- «Два гусара» — 282, 293, 303, 338, 341
- «Два старика» — 335
- «Декабристы» — 179–206, 261, 262, 333–346, 348
- «Деревенская идиллия». См. «Идиллия».
- «Детство» — 270, 299, 327
- «Детство и Отрочество» — 313
- «Детство. Отрочество. Юность» — 270
- «Дневник помещика» — 273, 324
- «Дьявол» — 351
- «Записки маркера» — 327
- «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-юрт» — 270
- «Зараженное семейство» — 357
- «Идиллия» — 207–226, 262, 346–350, 324, 335, 337, 346–351, 353
- Избранные произведения Л.Н.Толстого (1927) — 353
- «Из записок князя Д.Нехлюдова. Люцерн» — 279, 309–311, 344, 354
- «Исповедь» — 335, 342, 343
- «Казаки» («Беглец», «Беглый казак», «Казак», «Кавказский роман») — 7–131, 261–321, 324–327, 329, 330, 335, 337, 338, 342, 356, 358, 359
- «Как умирают русские солдаты» — 284
- «Метель» — 305, 314
- «Молодость» (зам.) — 270
- «Набег» («The invaders») — 270, 314, 317, 327, 330, 333
- «Отрочество» — 271, 299, 327
- <Отрывки рассказов из деревенской жизни> — 247–251, 262, 353, 354
- «Отрывок дневника 1857 года» — 278
- «Отъезжее поле» — 253–256, 261, 262, 274, 278, 280, 356–359
- Переписка с русскими писателями — 259, 277, 279, 280, 293, 299, 301, 325
- «Плоды просвещения» — 303
- «Поликушка» — 132–176, 261, 262, 298, 301, 303, 309, 321–332, 337, 348, 353
- Полное собрание сочинений (Юбилейное издание) — 260–262, 271, 272, 278, 284, 298, 300, 322, 324, 336, 340, 346, 347, 350, 353, 356, 357
- Полное собрание художественных произведений Л.Н.Толстого: В 15 т. (1928) — 354
- Посмертные художественные произведения — 346, 350
- «Рассказы Япишки» (зам.) — 270, 273, 274, 283
- «Роман русского помещика» — 261, 271
- «Рубка леса» («Дневник кавказского офицера») — 272, 327
- Севастопольские рассказы (Souvenirs de Sébastopol) — 180, 305, 316, 317, 327, 330, 346
- «Семейное счастье» — 261, 280, 293, 301, 309–311, 329, 354, 359
- «Смерть Ивана Ильича» — 318, 330
- «Сон» — 252, 261, 262, 354–356
- Сочинения гр. Л.Н.Толстого в двух частях. Изд. Ф.Стелловского. СПб., 1864 — 261, 310, 322, 327
- Сочинения гр. Л.Н.Толстого. Издание третье. Ч. 1–8. М., 1873 — 327
- Сочинения гр. Л.Н.Толстого. Издание пятое. Ч. 1–11. М., 1886 — 335, 336, 348, 349
- Сочинения гр. Л.Н.Толстого. Издание шестое. Ч. 1–12. М., 1886 — 335, 336, 348, 349
- Сочинения гр. Л.Н.Толстого. Издание десятое. Ч. 1–14. М., 1897 — 268
- «Тихон и Маланья» — 227–246, 262, 324, 350–353
- «Три смерти» — 283, 309, 317, 348, 355
- «Упустишь огонь — не потушишь» — 329
- «Утро помещика» — 261, 318, 324, 328
- «Ходите в свете, пока есть свет» («Work While ye Have the Light») — 315, 330
- «Холстомер» — 262, 303, 329, 335, 339, 348
- «Чем люди живы» — 328, 329
- «Четыре эпохи развития» — 270
- «Юность» — 273, 274, 311, 314, 357
- «Юность. Вторая половина» — 274, 280, 358, 359
- «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяца» — 321
- «1805 год» — 302, 311, 336, 355, 356

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- А., критик газеты «Северная пчела» — 308, 309, 326
 «Заметки о русских журналах» — 308
 «Русская критика и художественная этнография» — 308, 309, 326
- Агафья Михайловна* (1808–1896), горничная гр. П.Н.Толстой, бабки Толстого; впоследствии экономка в Ясной Поляне — 325
- Айхенвальд* Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик — 313
 «Силуэты русских писателей» — 313
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823–1886), публицист и общественный деятель — 337, 346, 355
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, критик, поэт — 345
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791–1859), прозаик, мемуарист, критик, журналист — 309, 345
- Аксаковы*, семья — 341
- Александр I* Павлович (1777–1825), император — 195
- Александр II* Николаевич (1818–1881), император — 179, 190, 354
- Алексеев* Никита Петрович, полковник, командир батареи, в которой Толстой служил на Кавказе — 267, 286, 290
- Алексеева* Галина Васильевна, литературовед — 315
- Америка* — 303, 341
- Амстердам* — 317
- Амфитеатров* Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, публицист, литературный и театральный критик, драматург — 343, 344
 «Литературный альбом» — 343, 344
- «Анастасья, Анастасья, отвори-ка ворота»*, песня — 191
- Английский клуб*, старинный аристократический клуб в Москве — 180, 191, 197
- Анненков* Павел Васильевич (1813–1887), литературный критик, мемуарист — 277, 306, 307, 337
 «Современная беллетристика» — 306, 307
- Аполлон Бельведерский* — 301
- Астраханская степь* — 18
- Астрахань* — 272
- Ахматова* Елизавета Николаевна (1820–1904), прозаик, переводчица — 302
- Базыкина* Акулина Александровна (1836–1920) — 287, 323, 348, 351
- Байрон* (Вугон) Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт-романтик — 311, 315, 316
 «Байрон в переводе русских поэтов» — 310
- Балте* (Balte) Фред М., критик — 317
- Бальзак* (Balzac) Оноре де (1799–1850), французский писатель — 302
- Бартенев* Петр Иванович (1829–1912), историк, археолог — 342
- Батюшков* Федор Дмитриевич (1857–1920), литературный и театральный критик, историк литературы, журналист, общественный деятель — 304
- Бах* (Bach) Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор, органист — 16
- Берлин* — 317
- Бестужев* (псевд. Марлинский) Александр Александрович (1797–1837), писатель, декабрист — 14, 90, 270, 308, 319
 «Аммалат-бек» — 14, 90, 319
- Берс* Андрей Евстафьевич (1808–1868), отец С.А.Толстой — 301
- Берс* (урожд. Иславина) Любовь Александровна (1826–1886), мать С.А.Толстой — 337
- Берс* Татьяна Андреевна. См. Кузминская Т.А.
- Берсы*, семья — 324
- «Библиотека для чтения»*, ежемесячный журнал, издавался в Петербурге в 1834–1865 гг. — 293, 305, 306
- Библия* — 155, 285, 320, 342
- Бишток* (Bienstock) Ж.В., переводчик — 316, 331, 344
- Бирюков* Павел Иванович (1860–1931), друг и биограф Толстого — 271, 300, 316, 331, 344
- Бичер-Стоу* (Beecher-Stowe) Гарриет (1811–1896), американская писательница — 325
 «Хижина дяди Тома» — 325
- Блудова* Антонина Дмитриевна, гр. (1813–1891), фрейлина, мемуаристка — 179, 344
- Борисов* Иван Петрович (1822–1871), орловский помещик — 301, 302

- Борисова* (урожд. Шеншина) Надежда Афанасьевна (1832–1870), жена И.П.Борисова, сестра А.А.Фета — 301
- Бородино*, место исторического сражения в 1812 г. русской армии с французами — 194, 340
- Бостон*, город в США — 344
- Боткин* Василий Петрович (1811/12–1869), очеркист, критик, переводчик — 278–280, 282, 296, 299, 302, 355, 358
- Брендель* В.Г., переводчик — 329
- Британский музей* в Лондоне — 341
- Брокгауза и Ефрона Энциклопедический словарь* — 313, 329
- Брэддон* (Braddon) Мэри Елизабет (1837–1915), английская романистка — 300, 356
- Брюссель* — 314, 322, 324, 336
- Буживаль* — 303
- Булгаков Федор Ильич* (1852–1908), журналист, историк литературы, художественный критик — 314
«Граф Л.Н.Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» — 314
- Бунин Иван Алексеевич* (1870–1953), прозаик, поэт, переводчик — 303
- Валахия*, область на юге Румынии — 179, 345
- Варшава* — 193
- Великанова* Наталья Павловна, литературовед — 335
- Великобритания* — 331
- Венгеров Семен Афанасьевич* (1855–1920), историк русской литературы и общественной мысли, библиограф — 313, 329
- Вергилий* (Vergilius) Марон Публий (70–19 до н.э.), римский поэт — 190, 346
«Энеида» — 190, 346
- Вересаев* (наст. фам. Смилович) Викентий Викентьевич (1867–1945), прозаик, литературовед, поэт-переводчик — 313, 314
«И да здравствует весь мир» — 313, 314
«Вестник Европы», историко-политический журнал, издавался в Петербурге в 1866–1918 гг. — 328
- Виардо-Гарсиа* (Viardot-García) Мишель Полина (1821–1910), французская певица, композитор — 302
- Видуэцкая* Ирма Павловна, литературовед — 262
- Вильгорский* Михаил Михайлович, гр. (1822–1855) — 179, 345
- Винер* Лев Соломонович (род. в 1862 г.), историк литературы, переводчик — 314, 330, 344
- В.* — *кин*, корреспондент газеты «Голос» — 306
«Современные повести и современные герои (Письмо к редактору “Голоса”)» — 306
- Вовчок* Марко (наст. имя Мария Александровна Вилинская-Маркович; 1833–1907), украинская и русская писательница — 309
- Вогюэ* (Vogüé) Эжен Мельхиор де, виконт (1848–1910), французский писатель и историк литературы — 316, 317
«Современные русские писатели. Толстой — Тургенев — Достоевский» — 316, 317
«Le roman russe» («Русский роман») — 316
- Воздвиженская*, укрепление на правом берегу р. Аргуна к югу от Грозной (Кавказ) — 83
- «*Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа*», предначинательная молитва — 33, 35, 54, 57, 66
- Волконская* Елена Сергеевна. См. Молчанова Е.С.
- Волконская* (урожд. Раевская) Мария Николаевна, кн. (1805–1863), жена декабриста С.Г.Волконского — 340, 341
- Волконский* Сергей Григорьевич, кн. (1788–1865), декабрист; знакомый Толстого — 339, 340
- Волконский* Михаил Сергеевич, кн. (1832–1909), сын С.Г.Волконского — 340
- Вольфзон* Вильгельм, переводчик — 329
«Russische Geschichten» — 329
- Воронка*, речка близ Ясной Поляны — 214
- Воронцов* Михаил Семенович, кн. (1782–1856), наместник на Кавказе в 1844–1856 гг. — 297
- Воронцова* (урожд. Трубецкая) Мария Васильевна, кн. (1819–1895) — 297
«*Воспитание и обучение*», журнал, издавался в Петербурге в 1877–1881 гг. — 328
- Восток* — 20, 316, 344
- Восточная война*. См. Крымская война
«*Время*», ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге в 1861–1863 гг. — 299, 304, 305
- «*В понедельник я влюбился*», песня — 96

- Гаевский* Виктор Павлович (1826–1888), критик, историк литературы — 339
- Газетный переулоч.* См. Старогазетный переулоч
- Гайдебуров* Павел Александрович (1841–1893/1894), издатель, публицист, драматург — 342, 343
- Гальперин-Каминский* (Halpérine-Kaminsky) Илья Данилович (1858–1936), переводчик на французский язык русской художественной литературы — 331, 344
- Гарнет* Констанция, переводчица — 330
- Гауфф* (Hauff) Л. А., переводчик — 317, 329
- Гейден* Софья Михайловна (урожд. кж. Дондукова-Корсакова), дочь кн. М.А. Дондукова-Корсакова — 324
- Гербель* Николай Васильевич (1827–1883), поэт-переводчик, издатель-редактор, библиограф — 310
- Геркулес*, латинская форма имени Геракла, героя греческой мифологии — 342
- Германия* — 322, 329
- Герстенберг* (Gerstenberg) Вильгельм, переводчик — 317
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), писатель, философ, общественный деятель — 336, 337, 340
- Гете* Иоганн Вольфганг (1749–1832) — 280
- Гиер.* См. Иер
- Глубокое*, имение кн. Дондуковых-Корсаковых в Опочечком уезде Псковской губернии — 324
- Гоголь* Николай Васильевич (1809–1852) — 302, 318, 359
«Мертвые души» — 359
- Голицынский* Александр Петрович (1817 или 1818–1874), писатель — 326
«Дьявольское наваждение» — 326
- Головачев* Аполлон Филиппович (1831–1877), критик, публицист — 308
- Головин* Константин Федорович (1843–1913), прозаик, публицист, литературный критик, мемуарист — 312
«Русский роман и русское общество» — 312
- «Голос», газета, издавалась в Петербурге в 1863–1884 гг. — 306
- Гольденвейзер* Александр Борисович (1875–1961), пианист, педагог, композитор — 339, 340
«Вблизи Толстого (Записки за пятнадцать лет)» — 259, 339, 340
- Гомер*, древнегреческий эпический поэт — 279–281, 356
«Илиада» — 279–281, 356
«Одиссея» — 279, 356
- Гончаров* Иван Александрович (1812–1891), писатель — 293, 302, 346
- Госс* (Gosse) Эдмунд, критик — 315, 330
- Государственный музей Л.Н. Толстого* (ГМТ) в Москве — 259, 296, 298, 323, 346, 349, 355
- Гребенской полк* — 298
- Гребень*, принятое у казаков название крайнего с севера лесистого хребта Большого Кавказа в пределах Чечни — 18, 283
- Григорович* Владимир, переводчик — 317
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1899/1900), писатель — 301, 309, 329
«Рыбаки» — 301
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), литературный и театральный критик, поэт — 299, 309, 327
«Заметки свистуна. Новости и слухи» — 299
«Отживающие в литературе явления» — 299, 309, 327
«Русская изящная литература в 1852 году» — 299
- Грозная*, крепость на Кавказе, на левом берегу р. Сунжи, притока Терека — 39, 77, 129
- Громова-Опульская* Лидия Дмитриевна, литературовед — 262
- Гурда*, оружейный мастер — 52
- Гусев* Николай Николаевич (1882–1967), секретарь Толстого в 1907–1909 гг., биограф, историк литературы, мемуарист — 294, 308, 342, 346, 348, 354
«Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год» — 259, 294, 308, 348, 354
«Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год» — 259, 342
- Гюго* (Hugo) Виктор Мари (1802–1885), французский писатель — 15
«Собор Парижской богоматери» («Notre Dame de Paris») — 15
- Давыдов* Николай Васильевич (1848–1920), юрист, мемуарист, знакомый Толстого — 324
- Дагестан* — 320
- Далгат* Уздиат Башировна, литературовед — 320

- Даль Владимир Иванович* (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф — 341, 356
 «Толковый словарь живого великорусского языка» — 341, 356
- «День»*, еженедельная газета, издавалась в Москве в 1861–1865 гг. — 346, 355
- Диккенс (Dickens) Чарлз* (1812–1870), английский писатель — 310, 356
 «Посмертные записки Пиквикского клуба» — 356
- Дилетант*. См. А.
- Дистерло Роман Александрович*, критик — 311
 «Граф Л.Н.Толстой как художник и моралист» — 311
 «Дневни лист», сербскохорватская газета — 318
- Долженко Алексей Алексеевич* (1865–1942), двоюродный брат А.П.Чехова — 303, 329
- Дондуковы-Корсаковы*, княжеский род — 324
- Дон Жуан* (Дон Хуан; Don Juan), легендарный образ — 275
- Достоевский Михаил Михайлович* (1820–1864), прозаик, переводчик, издатель, старший брат Ф.М.Достоевского — 304
- Достоевский Федор Михайлович* (1821–1881) — 304, 309, 311, 313, 318
 «Записки из Мертвого дома» — 311
 «Идиот» — 313
- Доул (Dole) Натан Х.*, переводчик — 314, 330, 344
- Дружинин Александр Васильевич* (1824–1864), писатель и критик — 288, 293, 294
- Дутловы*, яснополянские крестьяне — 324
- Дюкан (Du Camp) Максим* (1822–1894), французский писатель — 302
 «Утраченные силы» — 302
- Дюма (Dumas) Александр* (1802–1870), французский писатель (Дюма-отец) — 84, 291, 320
 «Три мушкетера» — 84, 291, 320
- Евангелие* — 186, 197, 346
- Европа* — 280
- Егор Михайлович*, приказчик М.Н.Толстой в Покровском — 325
- Екатерина II Алексеевна* (1729–1796), императрица — 53, 320
- Ергольская Татьяна Александровна* (1792–1874), троюродная тетка Толсто-го и его воспитательница — 272, 295, 298, 324, 340, 355, 359
- Ермилины*. См. Зябровы
- Ермолов Алексей Петрович* (1777–1861), русский генерал, главнокомандующий в Грузии в начале Кавказской войны — 106, 270
- Еруслан Лазаревич*, богатырь, персонаж волшебной сказки — 301
- Железноводск*, населенный пункт в Ставропольском крае — 271
- Жубер (Jaubert) Э.*, переводчик — 344
- Жуковский Василий Андреевич* (1783–1852), поэт — 279
 «Журнал для всех», издавался в Петербурге в 1896–1906 гг. — 313
- Завалишин Дмитрий Иринархович* (1804–1892), декабрист — 337, 338, 340
- Запад* — 20, 344
- «Заря»*, журнал, издавался в Петербурге в 1869–1872 гг. — 311
- «Звездочка»*, журнал для детей, издавался в Петербурге в 1842–1863 гг. — 345
- Земля Войска Донского*, официальное название в 1786–1870 гг. территории, населенной донскими казаками — 16
- Зябровы*, семья яснополянских крестьян — 324, 325
- Иван IV Васильевич Грозный* (1530–1584) — 18, 283
- Иванов-Разумиш П.В.* (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов; 1878–1946), критик, публицист, историк литературы — 314
- Иенсен (Jensen) Магнус*, переводчик — 317
- Иер (Hyeres)*, город во Франции на берегу Средиземного моря — 295, 322, 336
- Иерусалим* — 320
 «Иже херувимская» — 197, 346
 «Из-за лесуку, лесу темного...», народная песня — 118, 290
 «Из села было Измайлова», народная песня — 93, 267, 288
- Ильин день*, 2 августа (20 июля), Православная церковь чтит память пророка Или — 242, 352
- Ионеску (Ionescu) Пауль*, переводчик — 331
- Иркутск*, город в Сибири — 186, 197

- «История русской литературы XIX века». Под ред. Д.Н.Овсяннико-Куликовского — 314
- Италия — 322, 337, 348
- Ишимова Александра Иосифовна (Осиповна; 1804/1805–1881), детский прозаик, переводчица — 345
- «Кабэн» («Огненный кнут»), японский журнал — 318, 319
- Кавказ — 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 52, 79, 90, 91, 106, 270, 272, 275, 276, 288, 291, 294, 295, 301, 305, 306, 308, 315, 316, 318–320, 340
- Кавказская линия, историческая кордонная линия по рекам Кубань, Малка и Терек, передовые линии по Лабе и Сунже, по северную сторону Главного и Андийского хребтов — 319
- Кайслер (Kayssler) Леопольд (1828–1901), немецкий журналист и переводчик — 302
- «Как за садом, за садом ходил, гулял молодец», народная песня — 119, 121, 290
- «Как пошел же Дунай», народная песня — 349
- Калинов луг, близ Ясной Поляны — 210, 214, 225
- Калиостро Александр, гр. (1743–1795), знаменитый авантюрист — 190
- Каменный мост, в Москве — 183
- Камергерский переулок. См. Старогазетный переулок
- Каракал — 345
- Каралык — 298
- Карамзин Андрей Николаевич (1817–1854), сын Н.М.Карамзина — 179, 345
- Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), историк, писатель — 345
- Карбавонец, воевода — 200
- Каронин С. (наст. фам. Петропавловский Николай Елпидифорович; 1853–1892), писатель-народник — 329
- Катков Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, издатель — 266, 296–299, 324, 337, 345
- Кендэлл (Kendall) Л.Е., переводчица — 314
- Кизляр, город в Терской области, на левом берегу р. Старый Терек — 47, 298
- Киргиз-Кайсацкая степь, в Средней Азии — 18
- Кларан, местечко на берегу Женевского озера в Швейцарии — 277
- «Книжный вестник», журнал, выходил в Петербурге в 1860–1867 гг. — 311
- Кокорев Василий Александрович (1817–1889), русский капиталист — 179, 344, 345
- «Колокол», первая русская революционная газета, издавалась в Лондоне (1857–1865) и Женеве (1865–1867) — 337
- Константинополь, историческое название Стамбула — 344, 345
- Конфуций (Кун-цзы; ок. 551 — 479 до н.э.), древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства — 342
- Копыловы, яснополянские крестьяне — 353
- Кочак, ручей близ Ясной Поляны — 214, 241
- Кочкальковский хребет, продолжение одного из отрогов Андийского хребта, тянется вдоль правого берега р. Мичик от Большой Чечни — 18, 263
- Краевский Андрей Александрович (1810–1889), издатель, журналист — 339
- Крамской Иван Николаевич (1837–1887), русский живописец — 342
- Кремль, в Москве — 196, 197
- Кремтин Валериан Александрович (1825–1889), полковник, издатель — 345
- Крымская война, русско-турецкая (1853–1856) война — 344, 346
- Кузина Лия Николаевна, литературовед — 262
- Кузминская (урожд. Берс) Татьяна Андреевна (1846–1925), младшая сестра С.А.Толстой, писательница, мемуаристка — 298, 300, 323, 324, 336–338
- «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — 337
- Кузминский Александр Михайлович (1843–1917), судебный деятель, сенатор, муж Т.А.Кузминской — 336, 339
- Кузнецкий мост, улица в Москве — 182, 339
- Кумыкская плоскость, равнина в северо-восточном углу Кавказского перешейка, у подошвы Андийского хребта — 41, 289
- Кумыцкая плоскость. См. Кумыкская плоскость.
- Кунцево, с середины и до конца XIX века дачная местность к западу от Москвы — 299
- Кулер Джеймс Финимор (1789–1851), американский писатель — 68, 309, 320
- «Следопыт» — 68, 309, 320

- Курприн Александр Иванович** (1870–1938), прозаик — 303, 304
«Анафема» — 304
- Лёвенфельд (Löwenfeld) Рафаил** (1854–1910), литератор, переводчик — 317, 329, 344
«Graf Leo Tolstoj. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung» (Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание) — 317
- Лелевель (Lelewel) Иоахим** (1786–1861), историк — 322
- Леонтьев Константин Николаевич** (1831–1891), писатель, публицист, литературный критик — 329
«О романах гр. Л.Н.Толстого. Анализ, стиль и веяние (Критический этюд). Писано в Оптиной Пустыни в 1890 г.» — 329
- Лермонтов Михаил Юрьевич** (1814–1841) — 64, 270, 304, 308, 309, 315, 320
«Герой нашего времени» — 309
«Дары Терека» — 64, 320
- Лернер Николай Осипович**, литературовед — 268
- Ливорно** (Ливурно), город и порт в Центральной Италии — 348
«Литературное наследство» — 259, 261, 271, 296, 300, 303, 314, 315, 317, 318, 322, 324, 325, 329, 330, 351
«Литературные памятники» — 261, 267
- Лова** завод кабардинских лошадей, считавшийся одним из лучших на Кавказе — 91
- Лондон** — 303, 314–316, 322, 330, 331, 336, 344
«Лучи», ежемесячный «журнал для девиц», издавался в Петербурге в 1850 — 1860 гг. — 345
- Люцерн**, город в Швейцарии — 358
- Магомет** — 345
- Мадрид** — 318
- Маковицкий (Makovický) Душан** (Душан Петрович; 1866–1921), врач и друг Толстого, мемуарист — 271, 325, 351
«Яснополянские записки» — 271, 325, 351
- Марков Евгений Львович** (1835–1903), публицист, критик, прозаик — 309, 310
«Народные типы в нашей литературе» — 309, 310
- Мей Х. Вольфганг ван дер**, критик — 331
«Комментарий к Толстому» — 331
- Мельников Павел Иванович** (псевд. Андрей Печерский, 1818–1883), писатель — 280
- Менгден** (рожд. Бибикова; в первом браке Оболенская) Елизавета Ивановна (1822–1902), переводчица — 303
- Мережковский Дмитрий Сергеевич** (1865–1941), прозаик, поэт, критик, переводчик — 313
«Толстой и Достоевский» — 313
- Миллер Орест (Оскар) Федорович** (1833–1889), фольклорист, историк литературы, критик, публицист — 311
«Русские писатели после Гоголя» — 311
«Мир искусства», журнал, издавался в Петербурге в 1899–1904 гг. — 343
- Мирский В. См. Соловьев Е.А.**
- Михайловский Николай Константинович** (1842–1904), публицист, литературный критик, социолог — 327, 328
«Десница и шуйца гр. Толстого» — 327, 328
- Молчанов Дмитрий Васильевич** (ум. 1857), зять С.Г.Волконского — 340
- Молчанова** (урожд. Волконская) Елена Сергеевна (1835–1916), дочь С.Г.Волконского — 340, 341
- Моод (Maude) Луиза** (ум. 1938), переводчица, жена Э.Моода — 314
- Моод (Maude) Эйльмер** (1858–1938), переводчик на английский язык и издатель Толстого — 314
- Морозов Василий Степанович** (1849–1914), яснополянский крестьянин, ученик школы Толстого в 1859–1862 гг. — 298
- Москва** — 7, 12, 13, 16, 42, 128, 179, 182, 185, 188, 193–197, 201, 202, 204, 207, 245, 253, 269, 272, 274, 277, 283, 291, 293, 294, 296, 298, 299, 301, 314, 319, 324, 337–341, 343, 346, 354, 355, 357
«Москвитянин», научно-литературный журнал, издавался в Москве в 1841–1856 гг. — 299
«Московские ведомости», газета, издавалась с 1756 г. — 253, 300, 324, 327, 345
- Муравьев-Апостол Матвей Иванович** (1793–1886), декабрист — 338
- Нанкин (Наньцзин)**, город в Китае — 331
- Наполеон I** (Наполеон Бонапарт; 1769–1821) — 180, 336
- Наполеон III** (Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873) — 180

- «Начала», историко-литературный журнал, издавался в Петрограде в 1921–1922 гг. — 337
- Неаполь, город и порт в Южной Италии — 322
- Неврод (Нимрод), упоминаемый в Библии представитель Вавилонского царства, характеризуемый как «ловец перед господом», откуда представление о нем как об охотнике, сделавшее его имя нарицательным — 285
- «Неделя», газета, издавалась в Петербурге в 1866–1901 гг. — 342, 343
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт — 259, 282, 343
- «Дедушка» — 343
- «Русские женщины» — 343
- «Неманья», сербскохорватское издание — 318
- Нерчинск, город, основанный как острог в Читинской области на р. Нерча — 191
- Николаевич Н., переводчик — 331
- Николай, архиепископ Мирликийский, христианский святой и чудотворец; память его Православная Церковь отмечает 22 (9) мая и 19 (6) декабря — 244
- Николай I Павлович (1796–1855), император — 294
- Ницца, город во Франции на Средиземном море — 255, 348
- Ницше (Nietzsche) Фридрих (1844–1900), немецкий философ — 312
- Ногаи. См. Ногайская степь
- Ногайская, или Моздокская степь, территория в Предкавказье, в междуречье Терека и Кумы, в северной части Дагестана — 18, 21, 58, 59, 110, 298, 319
- Ноулсон (Knowlson) Т., критик — 316
- «Leo Tolstoy. A biographical and critical study» — 316
- Нью-Йорк — 197, 314, 316
- Обер-Шальме Мари-Роз (ум. 1812), хозяйка модного магазина в Москве в Глинищевском переулке — 180, 346
- «Обзор», сербскохорватское периодическое издание — 318
- «Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (Литературный фонд) — 339
- Огарев Николай Платонович (1813–1877), публицист, поэт, революционер — 337
- «Кавказские воды (Отрывок из моей исповеди)» — 337
- Оголин Александр Павлович, штабс-капитан батареинной № 4 батареи 20 Артиллерийской бригады — 288
- «Одесский вестник», газета, издавалась в 1828–1893 гг. — 326
- Одесса — 150
- Одест. См. Одесса
- Ольденбург Анна Павловна, литературный критик — 328
- «Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого» — 259, 268, 283, 285, 287, 289–292, 294, 298
- «Орел», иллюстрированный литературный журнал, издавался в Петербурге в 1859 г. — 180, 345
- Орехов Алексей Степанович (ум. 1882), камердинер Толстого, впоследствии управляющий имением Ясная Поляна — 298
- Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург — 302, 305, 309
- «Отечественные записки», ежемесячный журнал, издавался в Петербурге в 1839–1884 гг. — 307–311, 327, 328, 342
- Охотницкая Наталья Петровна (ум. 1876), вдова офицера, компаньонка Т. А. Ергольской — 355
- Павлов Николай Михайлович (1836–1906), славянофил — 342
- Павлов Николай Филиппович (1803–1864), писатель и поэт — 341
- Павлова (урожд. Яниш) Каролина Карловна (1807–1893), поэтесса, переводчица — 341
- Пальмерстон (Palmerston) Генри Джон Темпл (1784–1865), виконт, премьер-министр Великобритании в 1855–1858 гг. — 133, 322, 331
- Париж — 188, 196, 197, 274, 277, 279, 296, 302, 337, 354, 358
- «Парус», еженедельная газета, издавалась в Москве в 1859 г. — 346
- Пастрана Юлия, волосатая женщина, в 1850-х гг. приезжала в Россию и показывалась публике — 169, 332
- Пасха, праздник Светлого Христова Воскресения — 209, 354
- Перрис (Perris) Г. (1866–1920), английский критик, журналист — 315, 316
- «Leo Tolstoy. The grand mujik» («Великий мужик») — 315, 316
- Петербург — 14, 179, 180, 201, 254, 262, 272, 274, 283, 293, 326, 335, 338, 346, 355
- Петербургское ракетное заведение — 180, 346
- Петр III Федорович (1728–1762) — 190

- Петр и Павел*, первоверховные апостолы, их память Православная церковь отмечает 12 июля (29 июня) — 209, 211, 227, 238, 241, 349, 351
- Петровский* Алексей Сергеевич (ум. 1958), литературовед — 322, 347
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), русский публицист и литературный критик, философ-материалист — 310
«Прогулка по садам российской словесности» — 310
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель — 302, 309, 344
«Взбаламученное море» — 344
- Пластова* Татьяна Юрьевна, литературовед — 262
- Погодин* Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель — 345
- Покров* Божией Матери, один из главных русских праздников, установлен 14 (1) октября в память о спасении Константинополя от сарацинов — 133, 209, 222, 236, 249, 331, 344
- Покровское*, имение Е.А.Толстой (урожд. Ергольской), позже В.П.Толстого, Чернского уезда Тульской губернии — 324, 325, 358, 359
- Полонский* Яков Петрович (1819–1898), поэт, критик — 299, 304, 305
«По поводу последней повести графа Л.Н.Толстого «Казачи» (Письмо к редактору «Времени»)» — 304, 305
- Полюша* — 240
- «Полярная звезда»*, альманах, издавался в Лондоне (1855–1862) и Женеве (1868) — 337
- «Правительственный вестник»*, ежедневная петербургская газета (1869–1894), заменившая «Северную пчелу» — 339
- Пречистенка*, улица в Москве — 199
- Прусик* (Prusik) Борживой (Борис Федорович; 1872–1928), чешский литератор, критик и переводчик — 318
- Псалтирь*, Книга псалмов, одна из библейских книг Ветхого Завета — 162, 207, 332
- Псковская губерния* — 324
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799–1837) — 193, 255, 304, 305, 309–312, 315, 346, 359
«Евгений Онегин» — 255, 359
«Кавказский пленник» — 310, 311
«Перед гробницею святой...» — 193, 346
«Цыганы» — 304, 305, 310–312
- Пуцин* Иван Иванович (1798–1859), декабрист, член Северного общества — 340
- Пуцин* Михаил Иванович (1800–1869), декабрист, брат И.И.Пуцины — 277, 340, 358
«Встреча с А.С.Пушкиным за Кавказом» — 277
- Пятигорск*, город в Ставропольском крае, в составе Кавказских Минеральных Вод — 271
- Пятковский* Александр Петрович (1840–1904), литературный критик, публицист — 310, 327
- «Развлечение»*, литературно-юмористический журнал, издавался в Москве в 1859–1918 гг. — 299
- «Рассвет»*, ежемесячный «журнал наук, искусств и литературы для взрослых девиц», издавался в Петербурге в 1859–1862 гг. — 345
- Резунов* Сергей Федорович, яснополянский крестьянин — 324, 353
- Резунов* Федор, яснополянский крестьянин — 353
- Репин* Илья Ефимович (1844–1930), живописец — 342
И.Е.Репин и В.В.Стасов. Переписка — 342
Репин и Толстой. I. Переписка с Толстым и его семьей — 342
- Рель* (Roehl) В.А., переводчик — 329
- Рим* — 322, 355
- Рождество* Христово Православная церковь празднует 7 января (25 декабря) — 337, 357
- Розанов* Василий Васильевич (1856–1919), писатель, публицист, философ — 313, 343
«На закате дней» — 313, 343
«О благодущии Некрасова» — 343
- Роллан* (Rolland) Ромен (1866–1944), французский писатель, музыковед, общественный деятель — 317
- Ролстон* (Ralston) Уильям (1828–1899), английский историк литературы, критик, переводчик — 302
- Роскошный* (Roskoschny) Г., переводчик — 317, 329, 344
- Российская национальная библиотека* — 259, 268, 277
- Россия* — 15, 16, 18, 63, 76, 89, 102, 106, 130, 179, 180, 184, 193, 199, 200, 255, 274, 279, 280, 290, 296, 300, 307, 326, 331, 332, 336, 345, 346

- Ростопчин* (Растопчин) Федор Васильевич, гр. (1763–1826), государственный деятель, в 1812 г. главнокомандующий в Москве — 342
- Русанов* Гавриил Андреевич (1846–1907), помещик Воронежской губернии, знакомый Толстого, мемуарист — 275
- «*Русская беседа*», журнал, продолживший три книги «Московского Сборника», издавался в Москве в 1856–1860 гг. — 180, 345
- «*Русская литература*», журнал — 268
- «*Русская мысль*», литературно-политический журнал, издавался в Москве в 1880–1918 гг. — 328, 329
- «*Русские ведомости*», одна из крупнейших русских газет, издавалась в Москве в 1863–1918 гг. — 314
- «*Русский архив*», ежемесячный историко-литературный сборник, издавался в Москве в 1863–1917 гг. — 342
- «*Русский вестник*», литературно-политический журнал, издавался в 1856–1906 гг., до 1887 в Москве — 261, 263, 265, 267, 296–301, 308, 321, 322, 324, 326, 329, 337, 345
- «*Русское слово*», литературный журнал, издавался в Петербурге в 1859–1866 гг. — 180, 310, 313, 343, 345
- Руссо* (Rousseau) Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ — 310, 312, 318
- Рылеев* Кондратий Федорович, (1795–1826), поэт-декабрист — 340
- Саводник* Владимир Федорович (1874–1940), историк литературы, критик — 312
- «*Очерки по истории русской литературы XIX века*» — 312
- Салтыков* (псевд. Н.Щедрин) Михаил Евграфович (1826–1889), писатель-сатирик, публицист — 280, 305, 342, 343, 346
- «*Губернские очерки*» — 346
- Санд* (Sand) Жорж (наст. имя Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван; 1804–1876), французская писательница — 309
- Сандуновские бани*, в Москве — 343
- «*Санкт-Петербургские ведомости*», старейшая русская газета, издавалась в Петербурге с 1728 г. — 306, 307
- Саратов*, город на Волге — 272
- Сахаров* Иван Иванович, переписчик — 295
- «*Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа*» — 267
- «*Сборник сведений о кавказских горцах*» — 321
- Свистунов* Петр Николаевич (1803–1889), декабрист — 338
- Священное Писание*. См. Библия
- Севастополь*, город в Крыму — 179, 180, 202, 284, 344–346
- Северная Америка* — 341
- «*Северная почта*», еженедельная газета, официальный орган Министерства внутренних дел, издавалась в Петербурге в 1862–1868 гг. — 300
- «*Северная пчела*», политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге в 1825–1864 гг. — 308, 326
- Семеновский полк*, старейший полк русской гвардии — 193
- Сербия* — 200
- Серпуховская застава*, в Москве — 344
- Сехин* Епифан (Епишка, Япишка; ум. в конце 1850-х гг.), гребенской казак — 267, 270, 272–274, 283, 302
- Сехин* Лука Алексеевич (Лукашка, Марка), племянник Епифана Сехина — 270
- Сибирь* — 186, 189, 190, 192, 195, 197, 201, 202, 336, 338–341
- Сион*, юго-западная часть Иерусалима, принятое в эпосе название всего города — 59, 292, 320
- Сираянаги* Суюко (1884–1950), японский писатель, публицист — 318, 319
- «*Толстой как литератор*» — 318, 319
- «*Сиротинушка, сиротинушка, добрый молодец...*», народная песня — 267
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), литературный критик и историк литературы — 312, 329, 339
- «*История новейшей русской литературы. 1849–1890*» — 312
- «*Мужик в русской беллетристике (1847–1897)*» — 329
- Скайлер* (Schuyler) Юджин (1840–1890), переводчик — 314, 315
- Скотт* В., издатель — 318
- Случевский* Константин Константинович (1837–1904), поэт — 339
- Соболев* Андрей Ильич, вольноотпущенный крестьянин, приказчик в Ясной Поляне — 348
- Соболева*, мать А.И.Соболева — 348
- Соболька*, казачка станицы Старогладковская — 288

- «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» — 302
- «Современник», литературный журнал, издавался в Петербурге в 1836–1866 гг. — 270, 277, 282, 308, 310, 327, 346
- «Современный мир», журнал, издавался в Петербурге в 1906–1918 гг. — 313, 314
- Соколова Майя Анатольевна, литературовед — 262
- Соловьев Евгений Андреевич (псевдоним — В. Мирский; 1867–1905) — 313
- Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк — 345
- Софийский собор, храм св. Софии в Константинополе — 179, 344, 345
- Спиноза (Spinoza, d'Espinosa) Бенедикт (Барух; 1632–1677), нидерландский философ-материалист, пантеист — 317
- Ставрополь, город на Северном Кавказе, основанный как крепость в 1777 г. — 14, 16
- Ставропольская губерния — 298
- Старогазетный переулок, в Москве — 196, 199, 319, 346
- Старогладковская, станица Терской области, на левом берегу Терсека — 267, 270, 286, 288
- Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства — 303, 341, 342
- Стелловский Федор Тимофеевич (ум. 1875), издатель, владелец типографии, литографии и нотного магазина — 261, 310, 322
- Стенник-Кравчинский (наст. фам. Кравчинский) Сергей Михайлович (1851–1895), писатель — 303, 329
- Стокгольм — 317
- Столыпин Аркадий Дмитриевич (1821–1899), приятель и сослуживец Толстого по Севастополю — 298
- Страхов Николай Николаевич (1828–1896), философ, публицист, литературный критик — 311, 335, 348
- «Наша изящная словесность» — 311
- Статьи о «Войне и мире» — 311
- Сук-су, селение в Терской области — 73
- США — 303, 314
- «Сын отечества», исторический, политический и литературный журнал; издавался в Петербурге в 1812–1844 гг.; возобновлен в 1847–1852 гг. — 326
- Такер (Tucker) Р.Р., переводчик — 330
- Таяма Катай, японский писатель — 318
- Тверская улица, в Москве — 182
- Терек — 17, 18, 21, 24, 25, 31–33, 35–38, 41, 49, 52, 57, 58, 64, 69, 71, 72, 81, 91, 97, 98, 112, 117, 268, 275, 276, 283, 286, 288, 302, 320
- Тёрнер (Turner) Чарлз Эдвард, критик — 315, 330
- «Count Tolstoi as novelist and thinker» («Граф Толстой как романист и мыслитель») — 315, 330
- Терская линия, цепь казачьих станиц по р. Терек — 17, 295
- Тильзитский мир, заключенное в 1807 г. в Тильзите соглашение между Россией и Францией — 357
- Тифлис, официальное название г. Тбилиси в 1845–1936 гг. — 320
- Толстая Александра Андреевна, гр. (1817–1904), фрейлина императорского двора, двоюродная тетка Толстого — 296, 300, 355
- Толстая (урожд. Ергольская) Елизавета Александровна, гр. (1790–1851) — 324
- Толстая Елизавета Андреевна, гр. (1812–1867), сестра А.А.Толстой — 355
- Толстая Мария Николаевна, гр. (1830–1912), сестра Толстого — 358
- Толстая (урожд. Горчакова) Пелагея Николаевна, гр. (1762–1838), бабка Толстого по отцу — 325
- Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна, гр. (1844–1919) — 261, 269, 298–301, 317, 322–324, 333–337, 339, 346–351, 354, 355, 356
- «Автобиография» — 337
- «Дневники в двух томах» — 351
- «Краткий биографический очерк, написанный со слов графа Л.Н.Толстого женой его гр. С.А.Толстой 25-го октября 1878 года» — 322
- «Письма к Л.Н.Толстому» — 335
- «Толстовский сборник. 2000» — 315
- «Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников» (1960) — 259, 275
- «Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников» (1978) — 259, 304
- «Лев Толстой и В.В.Стасов. Переписка» — 303, 341, 342
- «Л.Н.Толстой и С.А.Толстая. Переписка с Н.Н.Страховым» — 262, 267, 335, 348
- Толстой Николай Николаевич, гр. (1823–1860), старший брат Толстого — 277, 322, 337, 354
- «Охота на Кавказе» — 277

- Толстой Сергей Львович* (1863–1947), сын Толстого — 325, 348, 353, 356, 357
«Ясная Поляна в творчестве Л.Н. Толстого» — 325, 348, 353
- Толстой Сергей Николаевич*, гр. (1826–1904), брат Толстого — 293–295, 298, 301
- Толстой Федор Иванович*, гр. («Американец»; 1782–1846), родственник Толстого, гвардейский офицер — 341
- Тробель* (Graebel) Гораций (1858–1919), секретарь У. Уитмена — 315
«With Walt Whitman in Camden» — 315
- Троица*, Пятидесятница, праздник Пресвятой Троицы установлен в память сошествия Святого Духа на апостолов на 50-й день по Воскресении Христовом — 249, 354
- Трухменская степь*, в северо-восточной части Ставропольской губернии — 18, 185
- Тула* — 355
- Тульская губерния* — 332, 353
- Тур* Евгения (наст. имя Салиас-де-Турнемир Елизавета Васильевна, гр.; 1815–1892), писательница — 307, 308
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883) — 260, 277, 280, 296, 301–303, 305, 309, 310, 314, 315, 318, 326, 329, 336, 337, 346, 354, 355
«Накануне» — 310
Предисловие к роману Максима Дюкана «Утраченные силы» — 302
- Тютчев Федор Иванович* (1803–1873), поэт — 308, 344
- Тютчева Анна Федоровна* (1829–1889), дочь Ф.И. Тютчева, фрейлина — 179, 344, 345
«При дворе двух императоров» — 344, 345
- Угрюмы* Крапивенского уезда Тульской губернии — 325
- Уизерс* (Withers) Стенли, корреспондент Толстого из Голландии — 318
- Уитмен* (Whitman) Уолт (1819–1892), американский поэт — 315
«Листья травы» — 315
- Улита*, казачка станицы Старогладковская — 288
- Уральск*, город на р. Урал — 298
- Успенский Глеб Иванович* (1843–1902), писатель — 305, 328
- Успенский собор*, в Московском Кремле — 183
- Утин Евгений Исаакович* (1843–1894), адвокат, публицист, литературный критик — 328
«Глеб Успенский» — 328
- Фет* (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892) — 282, 293, 294, 296, 301, 302, 304, 314, 325, 326, 346
- Флоренция*, город в Центральной Италии — 339, 348
- Фокановы*, яснополянские крестьяне — 353
- Франкфурт-на-Майне*, город в Германии — 337
- Франция* — 303, 344
- Х.*, литературный критик — 328
«Новое произведение графа Л.Н. Толстого “Чем люди живы”» — 328
- Хаард* Эрик де, литературовед — 318, 331
- Хаджи-Мурат* (кон. 90-х гг. XVIII в. — 1852), один из правителей Аварского ханства, наиб Шамиля — 321
- Халабаев Константин Иванович*, литературовед — 354
- Харамбашич* (Harambasić) Август (Hetmanov S.J.), переводчик — 318
- Хоуэлс* (Howells) Уильям Дин (1837–1920), американский писатель — 315, 330, 331
«My Literary passion, criticism and fiction» — 330, 331
- Христос* (Иисус Христос) — 337, 346, 357
- Хьюэт* Конрад Бюскен, историк литературы — 318
- Цабель* (Zabel) Евгений, критик — 317
«Граф Л.Н. Толстой. Литературно-биографический очерк» — 317
«Очерки литературной России» — 317
- Цакни* (Tsakny) Элеонора, переводчица — 331
- Цейтлин Б.*, переводчик — 344
- Цяловский* Мстислав Александрович (1883–1947), литературовед — 336, 340
- Червленная*, станица на левом берегу Террека — 53, 271, 281
- Чернов* Егор, крестьянин д. Ломиново, один из лучших учеников яснополянской школы в 1862 г. — 298
- Черные горы*, лесистые передовые хребты северной части Большого Кавказа — 18

- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889), революционер-демократ, ученый, писатель, литературный критик — 307
- Чертков* Владимир Григорьевич (1854–1936), друг Толстого, издатель его сочинений — 346, 350
- Честертон* (Chesteron) Гилберт Кис (1874–1936), английский писатель — 316
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904), писатель — 260, 303, 329
- Чечня* — 41, 53, 58
- Чибисов* В., критик, публицист — 326
«Литературные листки» — 326
- Чичерин* Борис Николаевич (1828–1904), юрист, историк, философ — 283, 341
- Швейцария* — 340, 358
- Шевалье* Ипполит, владелец гостиницы и ресторана в Старогазетном переулке в Москве — 7, 10, 14, 182, 184–186, 188–190, 192, 197–199, 204, 283, 319, 334, 338, 346
- Шевырев* Степан Петрович (1806–1864), критик, историк литературы, поэт — 345
- Шекспир* (Shakespeare) Уильям (1564–1805), драматург, поэт — 190, 282, 305, 309, 356
«Антоний и Клеопатра» — 282
«Гамлет» — 305, 356
- Шиллер* (Schiller) Иоганн Фридрих (1759–1805), поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения — 139, 186, 332, 334, 335, 346
«Доблесть женщины» — 186, 334, 335, 346
«Тэгла» — 139, 332
- Шклявер* С., переводчик — 317
- Штайнер* (Steiner) Эдвард, критик — 316
«Tolstoy the man» («Толстой как человек») — 316
- Штепанек* (Štěpánek) К., переводчик — 344
- Щеглов* В.Г., критик — 312, 313
«Граф Л.Н.Толстой и Фридрих Ницше» — 312, 313
- Щелин* Дмитрий Матвеевич (1801–1866), помещик Крапивенского уезда Тульской губернии — 359
- Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863), актер — 179, 345
- Эдельсон* Евгений Николаевич (1824–1868), критик — 305, 306
- Эйхенбаум* Борис Михайлович (1886–1959), литературовед — 340, 341, 354
«Лев Толстой. 60-е годы» — 340, 341
- Эллис* (Ellis) Генри, английский писатель, врач — 315
«The New spirit» — 315
- Энгельгардт* Николай Александрович (род. 1866) — 312
«История русской литературы XIX столетия» — 312
- «*Эпоха*», ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге в 1864–1865 гг. взамен прекратившегося журнала «Время» — 309, 327
- Янаги* Томико, литературовед — 319
- Япония* — 318
- Ясная Поляна*, имение Толстого, Крапивенского уезда Тульской губернии — 275, 283, 286, 291, 296, 298, 321, 324, 325, 336, 337, 346, 348, 355, 357, 359
«*Ясная Поляна*», педагогический журнал Толстого — 296, 298, 300, 322
«*Яснополянский сборник*» — 303
«*XXV лет. 1859–1884. Сборник общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым*» — 262, 333–336, 339, 341–343, 346
- «*Academy*», английское библиографическое издание — 314, 315
«*Athenaeum*», английский литературно-критический еженедельник, издавался в Лондоне — 314
«*Auteurs célèbres*», книжная серия, издавалась во Франции — 316
- Burchvliet F. van*, переводчик — 317
- Cather Willa*, американский критик — 330
- Duuren J. van*, переводчик — 317
Dragt A. J. van, переводчик — 331
«*Dziennik Warszawski*», польская газета — 314
- «*Journal de St.-Petersbourg*» — 303, 314, 344
- Keuchel G.*, переводчик — 317

- «*The Lasso*», американский журнал — 330
- «*Litterarische Fantasien en Kritieken*» — 318
- «*Los en Vast*», голландское периодическое издание — 318, 331
- Lycée Frédéric* (наст. имя F.Lapidoth), голландский критик — 318
- «История развития Толстого» — 318
- «*Minden*», издательство в Дрездене — 329
- «*Revista generale*», румынский журнал — 318
- «*Revue des deux mondes*», французский журнал, издавался в Париже — 302
- Rósna Miklós.*, переводчик — 319
- «*Russische Revue*», немецкий журнал — 329
- «*Le Temps*», французская газета, издавалась в Париже — 302, 303
- «*Udvalgte Fortaellinger af russiske Novellister*» — 329
- «*The world's classics*», книжная серия, издавалась в Лондоне — 314

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Л.Н.Толстой. Брюссель. Фотография И.Жерюзе. 1861 г.

«Казачи». Седьмое начало. Автограф.....	9
«Казачи». Первое начало. Автограф.....	19
Страница «кавказского романа». Автограф.....	95
«Поликушка». Копия с поправками Л.Н.Толстого.....	135
«Поликушка». Страница автографа.....	153
«Декабристы». Первая страница автографа.....	181
«Декабристы». Страница автографа.....	203
«Тихон и Маланья». Страница автографа.....	233
Содержание журнала «Русский вестник», № 1 за 1863 г. с первой публикацией повести «Казачи».....	265

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1853–1863 гг.

Казачи (Кавказская повесть 1852 года).....	7*	263
Поликушка.....	132	321

НЕОКОНЧЕННОЕ

Декабристы (Роман)	179	333
Идиллия	207	346
Тихон и Маланья	227	350
<Отрывки рассказов из деревенской жизни>	247	353
Сон.....	252	354
Отъезжее поле	253	356

КОММЕНТАРИИ

Условные сокращения	259
Произведения 1853–1863 гг.	263
Неоконченное	333
Указатель произведений Л.Н.Толстого	360
Указатель имен и названий	361
Список иллюстраций	374

* В первом столбце указана страница текста, во втором — комментарий.

Печатается по решению
Научно-издательского совета
Российской академии наук

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ

Художественные произведения

Том четвертый
1853–1863

Зав. редакцией *А.И. Кучинская*
Редактор издательства *Е.В. Белова*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Оригинал-макет изготовлен в ИМЛИ РАН
Т.И. Мишутиной

ЛР № 020297 от 23.06.1997

Подписано к печати 15.06.2001
Формат 60×90 1/16. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 23,6. Усл.кр.-отт. 24,6. Уч.-изд.л. 27,7
Тираж 1500 экз. Заказ № 1583

Издательство “Наука”
117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП “Типография “Наука”
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-02-022631-9



9 785020 226319

